

Константин Николаевич Леонтьев

В своем краю

Константин Леонтьев

В своем краю[1]

РОМАН В ДВУХ ЧАСТЯХ

Часть I

I

«**К**аких страданий не переносит человек! **К**О, Боже! Чего не терпит он в жизни — болезни, обиды, сомнения, нужду, обманы! И если бы от этого была польза другим; но нет: и другой страдает, и третий! Все мы друг друга гоним и тесним, все боремся из-за хлеба и крыши!.. Вот я теперь врач: я имею право решать участь семейств; я могу спасать людей; могу иметь чины; лет через 20 уже буду не бедный мещанин Руднев, незаконный сын крестьянки, а доктор Руднев — генерал от медицины.

Приятно, конечно, быть доктором! Но остаться здесь, в Москве; ждать-ждать, работать и не видеть, не чувствовать своей работы в куче других алчных работников! Не лучше ли производить меньше, да на своем стан-

ке, чем быть фабричным».

Руднев глядел на свою жалкую комнату: в воздухе пахло соседней кухней; сальная свеча догорала в черепке: диван, прорванный до того, что один товарищ принял паклю, которая из него вылезла, за собаку и отскочил от нее; окурки и сор на полу; на самом — старый халат...

Не лучше ли в глуши? В глуши, ему казалось, легче сохранить драгоценную теплоту своих помыслов — единственное благо, в которое он верил.

Стрелой промчались первые годы его жизни, и уже сколько горя, сколько мелких, но для него тяжелых испытаний!

Картины прошлого? Но где они, эти милые картины? Отца он вовсе не помнил, и слава Богу! мать помнил только в самом первом детстве. И хорошо было это первое детство! Разве он не помнил сам немного, и разве не рассказывал ему кой-кто, какой он был дикий, слабый, боязливый и сердитый мальчик? Коров и собак боялся, спать около белой печки боялся, гостей боялся. Другие дети, красные, толстые, шумят, играют, воют, иг-

ры, драки затевают; а он бледен и одинок, как церковная свечка в уголку!

— Недотыка! Недотрога! — зовут его дети, ноги ему подставляют; покажут ему издали пушок или палец: он уже кричит и плачет.

— Какой несносный! — говорят уездные отцовские родные.

— Вася, вот тебе новый стулик; у тетиных детей у всех есть стулики, вот и тебе...

Вася рад; сел на стулик и от радости ни слова!

— Что ж ты тетю не благодаришь, свинья какая! — говорит одна старушка.

— Эх, матушка, — отвечает другая, — еще благодарности от этого хамья ждать. На то и мать его мужичка; ведь отец-то его, тем что женился перед смертью на ней, благородства не придал!..

Вырос дитя стройным отроком; а все бледен как воск и нежен как девушка, и глаза печальные. Кто, имея душу, видел его раз, тот не забывал его лица, его бровей, как нарочно потемнее и поотчетливее начерченных; его темных волос, которые сами поднимались холком над выпуклым лбом.

Вот он уже прилежный ученик: тетради его как бисером нанизаны; с золотой доски не сходит; от всякой шалости подальше; в свободное время вырезывает и скоблит линейки, тетради шьет, рисует, карты чертит. Тетради свои он не дает всякому, а кому и дает, всегда скажет: «Я ничего не прошу для себя, и вы меня оставьте!» Иной товарищ схватит тетрадь да ему в шею или по щеке!

Нередко он возбуждал зависть и злость товарищей тем уважением, которое ему оказывали учителя. Учитель математики, который всем говорил «ты» и «осел» или кричал: «ступай, осел, ступай; что ты начертил, вместо барометра, соху какую-то; ступай к отцу в деревню пахать!» — этот учитель звал Руднева «вы» и «г. Руднев», хотя по закону Вася был менее, чем кто-нибудь, «господин»; уже заранее кивал головою и закрывал от радости глаза, когда фаворит его выходил и начинал: «два параллелепипеда, равных основанием и равной высоты». И никогда не скажет, как другие с грубой поспешностью, какой-то «пирипид», а так чисто и твердо: «параллелепипед!» Зато, при случае, товарищи и не ща-

дили его и прозвища ему другого не было, как то бранное имя, которое напоминало ему его незаконное рождение, страдания его матери, его податное сословие. И если гнев и отчаяние заставляли его изредка изменять своим тихим привычкам, он кидался на силачей и с невыразимой смелостью шел на побои и терзания... Его душили, топтали, драли за волосы до того, что дня два гребенкой было больно тронуть.

Кончилось это, стал он студентом; отдохнул бы! Но тут он в первый раз узнал настоящую нужду, стал часто болеть, едва успевал управляться с непривычными занятиями. На воображение его раздирающим образом действовали трупы синие, зеленые, худые, раздутые водой, удавленники, замерзшие пьяные женщины, одинокие старички и старушки, которых никто не требовал для похорон и которых терзали на куски для студентов... Он должен был прожить целый год в борьбе с самим собою, чтобы привыкнуть к постоянно-му созерцанию смерти во всех ее самых грязных, самых скучных видах; прожить года три в мучительном полубезверии; томиться то

страхом небесного наказания, то стыдом от своего малодушия и боязни; сносить всю тоску мнительности больного и не привыкшего к научным тайнам человека, который начинает везде видеть яд и смерть вокруг себя — и в воздухе неудобного жилья, и в заразительном воздухе больниц, и в дешевой, кой-как приготовленной, пище, и в сидячих трудах, и в оттепели, и в морозе, и в зною, и в дожде... Нет, Боже, Боже мой! это уже слишком много для одного!

От товарищей он бежал — что ему в них? Одни — веселые ремесленники; другие — люди светские; третьи — такие же жалкие, каким он сам себе казался; иные глупы, иные молодцы, но бесстыдны, кощунствуют и издеваются над трупами.

Когда кто-нибудь из них звал его в театр, он говорил: «В театр? Для чего. Чтобы увидеть там краски, горы, море, прекрасные глаза, слышать музыку, вернуться домой и сказать себе: "это только театр!» Однако у Руднева был один верный друг — дядя, и не родной брат отцу, а двоюродный; близкие родные все отняли у него, что после отца осталось; а этот

дядя жалел его еще тогда, когда он был у матери на руках, и с матерью был дружен; студентом Руднев каждое лето ездил в его деревушку. В деревне этой было всего тридцать пять душ, и вид ее вблизи был, конечно, слишком беден и невесел; дом дяди — просторная, старая изба; сад — две десятины; два три сарая; изломанная повозка на дворе... Но, если Руднев мало помнил веселого, зато помнил много покойного и трогательного, и все, что он помнил покойного и трогательного, было в деревне у дяди — прудок, в котором они уживали рыбу с матерью, огни деревенские, березник редкий и печальный над страшной рытвиной, промытой к Пьяне весенними ручьями, луга перед сонной Пьяной, на которой летом расцветают белые и желтые водяные лилии; доброе, розовое, почти девичье лицо матери; стан ее, слишком рано растолстевший от сидячей жизни; игра любимых его коклюшек в немой и ослепительный зимний полдень; ласковый голос матери в шутивную минуту: «Васюта! Притвори-ка дверь, а то маленько вет — рененько!» и голос умирающей: «Вася, мой Вася! пожила бы я

еще с тобой, ангел мой!» Там и дядя, и старый Таврило — летом огородник, зимой столяр и плотник — один весь от рождения набекрень, другой крючком от старости — рассказывали ему про мать.

— Родился ты в городе, в самое Крещение, — говорил дядя. — Что за страданье было! Покойный брат сидит в столовой и рыдает как баба, усач-то этакий! «Я погубил ее, я погубил ее, окаянный грешник! Иоанн Креститель, угодник ты Божий! Ты главу свою положил еси за ны! Погуби в этот святой день твой и мою главу, старого грешника; да сохрани, угодниче, душу сироты невинной, сироты безгрешной! Я, говорит, соблазнил ее: я — грешник поганый. Во всем-то я грешен, как посмотрю — и в прелюбодеянии, и в гневе, и в любостыжании, и в гордости грешен!» А народ с иордани валом валит мимо окон и слышит, как она стонет: «Вот, говорят, душегуб Руднев, кого-нибудь из своих дерет!» Я подошел, взял его за руку и говорю: «Успокойтесь, братец, не гневите Всевышнего. Он даде — Он и отнимет... Он даде — Он и отнимет!» — «Братец, — говорит он, — за что же ее душа

смертный грех на себя взяла?» — «Очистится, братец, — я говорю, — очистится. Я послал уже за отцом Дмитрием; он прямо с иордани сюда». И представь себе, Вася, едва перешагнул порог от. Дмитрий, так она и разрешилась благополучно. Так брат вбежал к ней, упал около кровати на колени и ну, молча, земные поклоны класть, и ну, поклоны класть, и ну, земные поклоны класть!..

Да! Старый отец любил молодую мать! Но как? Хоть она и звала его своим благодетелем, хоть и рыдала навзрыд по нескольку раз в год над его могилой; но не сама ли раз она, не остерегшись детской внимательности, сказала при нем дяде: «Как не болеть мне, родной, как не болеть — ведь на мне разве печка только не была!» И Гаврило тоже — он помнит, сам на корточках сеет в грядку у заднего крыльца жалкие ноготки и бархатки, которыми пренебрегает всякий хороший садовник — сеет эти никому не нужные цветы, как нарочно, чтобы еще больше разжалобить отрока-страдальца, и ворчит, и ворчит...

— Маменька ваша! Маменьку вашу все мы помнить будем... Чего только она и за себя, и

за народ ни приняла на свою голову! Хмельной из города приедет, она норовит первая выйти, пусть на ней злость сорвет. Бил он ее, бил! Под диван раз ногами засовал. Самый последний Ирод проклятый, мужик сельский, пастух деревенский, и тот свою дуру-бабу, кичку рогатую, больше жалеет, чем ваш батюшка вашу матушку жалел, когда хмелен бывал. А она, сердечная, ни гу-гу! Вот после его смерти, царство ей небесное, на волю меня отпустила, да разве я пойду куда отсюда? Ни за какие мильоны и от живой бы не ушел, и от могилы ее не уйду! Разве она мало нас всех жалела? Никто бранного слова от нее не слышал! Вот разве девчонки? Так ведь вошкариц этих если не бранить, так что же это будет? Раз, уж вдовья была, здесь жили, уехали в Саров на трое суток Богу молиться и приказала Матрешке да покойнице Ольгушке: «Ночуйте — одна у меня в комнате, а другая у Владимира Алексеича, чтобы клопы не оголодали». А они, дуры, побоялись врозь ночевать, да обе вместе в кухне и спали. Приехали господа; клопы оголодали, да всю ночь спать им с дороги не дали. Так еще бы и за это вошка-

рицу не бранить. Я и тогда сказал: «Дайте-ка, матушка, я их крапивой пострекаю сзади-то; у них шкура больно нежна стала!» — Разве они клопов боялись? Да ведь она, девчонка-то, спит как бревно! Разве ее клоп проймет? В кухне им прусаки все руки поизъели, а все сопели, всю ночь сопели! Однако маменька ваша не приказали крапивой сечь, а только дурами их назвали да посмеялись.

Все это он слышал в Деревягине; и если само Деревягино было жалко и сухо, то вся окрестная сторона, напротив того, оживлялась лесами и рощами, множеством сел, усадеб и простых деревень; народ в их краю был нарядный, сытый и красивый; куда ни оглянись, везде белелись церкви из-за зелени; сколько разных помещиков жило в их стороне! Руд — неву до них самих не было дела; но приятно невидимкой чуют жизнь неподалеку от себя... и самое Деревягино выигрывало от таких окрестностей. Все знакомые имена!., (и даже дорогие, пока Руднев не существует для их обитателей)... В четырех верстах от них пышное Троицкое, на самом берегу Пьяны: бор большой; дом большой,

кирпичный с белыми украшениями, с маркетами и террасами, ковры цветников сбегают к реке из парка; фонтаны бьют все лето; по холмам шире другого уездного города раскинулись избы; сколько новых срубов! Сколько картинных уголков! Здесь живет уже лет десять г-жа Новосильская с тремя детьми, и дядя часто бывает у них; и хотя сам Руднев, конечно, не поедет к ней в дом, но за церковной оградой Троицкого стоит простая деревянная решетка над его матерью, которую он так любил, что до сих пор весь содрогался, встречая вдруг на улице слишком полную и румяную молодую женщину. В кустах Троицкого он часто охотился прежде с дядей в «нахлопку» с борзыми и навсегда привязался к охоте. За Троицким, верстах в 12-ти, скромное и чистое Куреево, где живет всем известный в их стороне человек — предводитель Лихачев, получая от дворян большой оклад за свою службу. В Курееве — большой осинник и два дикие флигеля с красными крышами друг против друга; налево — предводитель, а направо его младший брат — статный молодец в поддевке с надменным выражением лица. Даль-

ше бор большой; а за бором в Чемоданове большой дом г-жи Забелиной, грозной старухи, вдовы трех мужей. На столбовой дороге — щегольское, новое жилище красавицы и губернской щеголихи — Протопоповой... Избави Боже от знакомства с ними! Но картины их деревень уже не вырвать из сердца!

Туда, к доброму дяде, поедет он теперь, и все лучшие места при столичных больницах не соблазнят его! Теперь он жаждет только одного: отдохнуть на чистом воздухе и привести в порядок свои мысли; а там, пускай придет и смерть в своем углу, как смерть дерева в лесу, правильно и привольно погибшего от старости!

II

«Как сильно пахнет свежим тесом в этой новой пристройке! Что за воздух везде — и в пристройке, и в саду, и в лугах, и над рекой, и на мирном и таинственном гумне за овином! Как мало нужно человеку, чтобы прожить век в неспешном труде и пламенном и торжественном молчании. Где смрадные трупы, где ужасная квартира, измученный студент? Ку-

да исчезло все это?» Здесь хоть и тесно, но все удобно и свежо. Его пристройка на углу; два окна в огород, а третье с видом на Пьяну. Своей рукой, распевая песни, прибил он простые полки к стене; растрепанные книги его пока в порядке, и сам он едва ли когда подходит к ним; взглянул с уважением издали и отвернулся к окну. Для будущих бедных больных уже готов шкафчик с пустыми коробками и банками; у окна стол для аптечной работы. — И посмотрите, здесь все можно найти! Все необходимое, простое здесь доступно человеку. Вот, вместо сифона — пузырь с деревянной трубочкой домашней работы; нашлась где-то лейка и большая фарфоровая чашка без ручки вместо ступки и настоящая медная ступка. Дядя долго рылся в вещах покойной матери, отыскал там костяную ложечку и маленькую терку и сказал: «Это для корешков. Не знаю, как по вашей науке, а я полагаю, что ископаемое царство вреднее трав. Я думаю так: где находится болезнь, там и трава растет нужная. Вот по Пьяне лихорадочки живут, а по межникам полыни множество и трифоль в болотцах. У мужика натура крепкая, и

простым пособишь!» Весы и разновес подарил ему уездный аптекарь, чтобы не забывал его, когда войдет в силу. Сломало ветром сук у яблони; дядя погоревал, а столяр отрубил от сука кусок, выточил змейку, покрыл лаком, раскрытую пасть выкрасил красной краской, глаза сделал, укрепил ее хвостом на пьедестале, вдел в рот весы и сюрпризом поставил на аптечный стол. И вешать ловче, и красиво, и случайная эмблема Эскулапа, и дружба столяра! Во всем этом слы — шал Руднев живую душу, все эти мелочи принимали сами собою, без всякого усилия мечтательных мыслей, в благородном сердце огромные размеры... Какое чистое пламя любви и человечности загоралось в отдыхающей душе!

Уж скоро два месяца живет он так и думает. Дядя не мешает ему. Дядя сам всегда скромно жил и скромно живет до сих пор; молодости он не знал, зато и старость в нем незаметна. А какой он маленький, слабый, кривобокий! Сам сознается, что товарищи в детстве его дразнили: «фик-фок на крив бок!» А он нисколько и не горюет об этом. Горевали прежде — кто знает! Верно, не очень силь-

но. Самый вздох, с которым он, опускаясь сейчас на скамью заднего крыльца, раскрыл свою любимую книгу — разве это вздох настоящего страдальца? Нет! настоящему страдальцу впопыхах и вздохнуть нет времени; настоящий страдалец — тот, чье достоинство рушится в прах в озлобленной, сухой и суетной борьбе! Крик тому наедине с самим собою, скрежет зубами, а не вздох с раздумьем и глубиной! Посмотрите на дядю — торопился ли он когда? Посмотрите, какой он удобный, опрятный, смирный. Едва встал, сейчас помылся, выбрился и пригладился: хохолок фамильный, рудневский, кверху — это значит достоинство; виски вперед — означает любезность; сюртук коричневый надел, в зеркало старинное посмотрелся, и лицо не стало грустнее от того, что «фик-фок на крив бок!» Ничуть не бывало! Еще ободрился, как увидел себя; ободрился, взял трубку и вышел к старосте, и затвердили одно и то же на целый час.

— «А что, Тимофей, сено выкосили?» — «Выкосили». — «Выкосили, не выкосили...» — «Даст Бог погодушку, не даст Бог погодушки...» — «Не любит мокроты сено!» — «Беда

как не любит сено мокроты». Точно это — новость какая для них. И тут не спешат; между каждым вопросом и ответом помалчивают и подозрительно глядят друг на друга; староста как бы невинно бороду выставил вперед: «на, вот — я весь тут чист и свят перед тобой!» А дядя курит трубку.

Уйдет староста; дядя по биркам считает или на работы смотреть пойдет; или табак сам себе растирает, или сядет читать.

— Дядя! что это вы читаете — «Памятник Веры» или «Театр света»?

— «Памятник Веры» читаю.

— Ведь он на четных страницах «Памятник Веры» и на нечетных — «Дневник Российских достопамятностей». Так вы где?

— «Памятник Веры» читаю.

— О ком?

— Преподобного отца нашего Мартиниана.

— Почитайте-ко громко — я послушаю. Что он делал, Мартиниан. Посмотрим.

«Святой Мартиниан с осьмнадцати лет водворился в пустыне близ города Кесарии Палестинския. Во всем городе чудились пустынноческому житию молодого и прекрасного

юноши. Одна прелестница потщеславилась перед мерзкими подругами своими, что она искусит и преодолет его воздержность. С сим дьявольским намерением в один дождливый вечер прибежала к пещере в рублище, но с узлом нарядного платья, и жалостно возопила к пустыннику: "Праведниче Божий! спаси меня; я сбилась с дороги, не знаю теперь, куда идти; не отдай меня на растерзание зверям». Пустынник должен был дать ей у себя пристанище. Передняя пещера была предоставлена ей в ночлег, а внутренняя осталась для хозяйна. Ангел сатанин начал тревожить мысли возненавидевшего м!р. Пустынник на самом рассвете хотел бежать от соблазнительного предмета, но вдруг увидел пришелицу в городском наряде и пришел в оцепенение. Коварная, пользуясь его недоумением, начала истощать всякое красноречие, чтобы соблазнить невинного. Чувствующий вожделение и вместе преступление, вышел из пещеры, набрал хворосту и, в глазах соблазнительницы зажегши оный, стал на огонь, весь опалился и сам себе сказал: "Что, Мартиниан? лучше ли приять огонь вечный или сие временное му-

чение?» Хра — нитель невинности едва мог выскочить из огня и пал от слабости.

Побежденная и посрамленная сбросила с себя цветное одеяние в тот же огонь, надела на себя прежнее рубище, пала к ногам страдальца, молила его о прощении и поклялась перед ним очистить себя от всех прежних грехов целомудренною жизнью. Преподобный Мартиниан оставил по себе пример целомудрия».

Уж дядя давно кончил; уж пообедали вместе; старик, севши в беговые дрожки, поехал в Троицкое играть с «графиней» в шахматы, как будто вся его обязанность заключалась в том, чтобы знать о Мартиниане, а не в том, чтобы подражать ему — а молодой Руднев один на крыльце.

— Ах! Мартиниан! Мартиниан! Как ты прав! Как приятно одиночество. Пусть это чувствовал смуглый аскет в азиатских сухих скалах и под пальмой; но разве оттого, что на мне нет хламиды и что живу я на влажных берегах Пьяны, я не пойму его? Дядя-чудак больше моего обо всех этих отшельниках знает и не стыдится по целым часам смотреть,

как крестьяне для его пропитания хлеб молотят или в анбар ссыпают; велит стул себе перед гумно принести, кисет, табак, связку баранок, а вечером, после «Памятника Веры», к «графине» в шахматы или карты по три раза в неделю не боится ездить!.. Нет, я бы на этом не помирился! О, тишина, святая тишина! Ты научишь меня, что делать!

Но дядя ехал не просто играть в шахматы в Троицкое: он ехал жаловаться на застенчивость своего приемыша и друга.

Давно уже мечтал Владимир Алексеевич о том, чтобы именье, которое он взлелеял вставаньем до света, мелкой придирчивостью к людям, копеечными оборотами и кое-какими побочными доходами в то время, как был непременно членом в соседнем городе — чтобы это именье не досталось законным родственникам его, а Васе. Вася должен поскорей дослужиться до дворянства или же — нитья на дворянке, которая за него бы владела деревягинскими душами.

— Так ты, Вася, в Троицкое не поедешь со мною? — спросил после обеда Владимир Алексеевич.

— Нет уж, дядя, поезжайте одни! А я поеду на днях панихиду по матушке служить, — отвечал слабым голосом Руднев, зная, как он этим отказом огорчает дядю.

— Панихида, конечно, долг, — сказал дядя, — аи туда бы к ней самой недурно...

— Зачем?

— Рассеяние.

— Я не скучаю.

— Разве тебе она не по душе? Добрейшего сердца дама. И вид какой...

— Видел я ее в церкви!

— Что ж, Вася, разве плоха?

— К чему это такой рост? — с пренебрежением отвечал Вася, — и очень много уж руками рассуждает. Мне к такой рослой женщине и подойти страшно.

— Ты любишь книги, а книг там много. Молодежь, девицы бывают иногда, иногда бывают девицы...

— Вам все женить меня хочется, дядя... Нет, вы это оставьте! И к чему это мне жениться? Чтобы в тесноте кислым молоком пахло? или чтобы с женой в кибитке тащиться и нюхать, как рогожей воняет, и смотреть,

как она клушей сидит? А я от жалости возненавижу ее... Нельзя не возненавидеть человека, которого надо беспрестанно жалеть! Сил не станет.

— Ну, служить! — помолчав, сказал дядя.

— Служить; рад бы, да в город смерть не хочется, а здесь как служить? даже в троицкий лазарет ездит доктор из города...

— Если хочешь, я похлопочу, чтобы тебя...

— Нет, нет, избави вас Боже!

— В таком случае практику надо по домам завести, у других отбить. Скоро ты и христианству своему пищи и опоры не найдешь. Последние свои пять рублей издержал из лекарства; а после что будет? Лечи помещиков... По крайней мере, источник есть, опора, пища, источник есть! И крестьяне своим порядком могут дань доставлять: куры, яйца, полотно...

— Без источника я сам знаю, дядя, что нельзя... дайте образумиться.

— Живи, живи себе, Вася, как знаешь; я говорю только из предусмотрительности об источниках... Для твоих же христианских правил.

Руднев покраснел.

— Далеко кулику до Петрова дня, дядя, и мне до христианских правил далеко! Если б я надел тулуп и почти не жил дома, и ходил с котомкой от старухи к старухе, от больного к больному: кто в силах сам купи лекарства, не в силах — я помогу — вот тогда бы я был христианин! Чтоб каждый грош, который я отдаю бедному, отзывался во мне, с непривычки, лишением и страданием — вот это — христианин! тогда бы я и к помещику пошел бы смело и взял бы с него деньги, чтобы обратить их туда же. А я ведь этого не делаю... И даже, — прибавил он, вздохнув, — не стану ничего предпринимать решительного, пока не приду в себя, не обдумаю всего, что мне нужно.

Руднев продолжал ходить по комнате; дядя внимательно следил за ним глазами.

— Старик стариком сгорбился, — заметил он наконец с досадой. — Это упорство заметно в тебе с малых лет и происходит ни от чего другого, по моему мнению, как от твердости характера!

— Какая у меня твердость!

— Нет, твердость есть, твердость есть... Как

хочешь, брат, а твердость есть!

— Да что же вы меня как будто обвиняете? Я очень рад, если она есть.

— Это, смотря по обстоятельствам дела, Вася, смотря по случаю; я тебе скажу про себя. У меня всегда был твердый характер. Но изволь лишь видеть, где ахиллесова пята... Человек твердый упорствует во всем и не без ущерба иногда! В 48-м году была холера и меня затронула. Признаюсь, я испугался; потом мне стало легче; но что ж? никто не мог успокоить меня, дрожу от страха. Человек слабый успокоился бы давно; но я, твердый характер, стал на своем: боюсь, боюсь и боюсь. А это вредно, ты сам знаешь! Так вот и ты себе на зло все делаешь...

После этих слов дядя уехал, но всю дорогу не выходила у него из ума задача, как бы оживить дорогого упрямец и отшельника.

III

- Здоровы ли вы, Владимир Алексеич? — спросили в Троицком старика Руднева.

— По мере возможности, графиня, по мере возможности... Года уж не те...

— Отчего ж? Вы гораздо старше меня, а я перед вами развалина. Завтра хотим ехать в *** монастырь... Боюсь, что неостанет сил сделать верхом сто слишком верст взад и вперед. Грудь болит, и голова кружится.

— ' Года уж не те, графиня! Бодрости нет — сообщения соков...

Хотя Владимир Алексеевич с трудом решался говорить про свои чувства, пока не было в этом крайней нужды, но Новосильская умела сейчас узнавать, когда соседка волновало что-нибудь: язык его не выдавал, но выдавали брови, которые прыгали и от радости и от горя.

— Вы что-то не в своей тарелке! — сказала она ему. — Скажите-ка, что с вами... Не пригужусь ли я?

— Да все Вася... с Васей вожусь.

— Что же он?

— Пыжик; как был в десять лет пыжик, так и в двадцать остался... Нет, нет и нет.

— Что нет? Служить не хочет?

— И служить не хочет, и к вам ездить не решается...

— Хотите, — сказала Новосильская, — я са-

ма ему первый визит сделаю? Завтра мы все, и Лихачевы с нами, заедем к вам около двенадцати часов... Это по дороге; и уговорим его... Я и детей заставлю просить... А уж раз познакомится, не будет бояться нас...

— Только вы его не слишком! Извольте видеть... надо знать человека... надо знать человека...

— Не беспокойтесь, — сказала Новосильская. Старик притаился так, что Рудневу и в голову ничего не пришло.

На следующий день он сидел у окна и читал. За полчаса перед тем ушла от него первая пациентка, которой он сделал пользу... и с которой ему было очень много хлопот. В дядиной деревне никто и верить не хотел, что «Васинь-ка-то дитятя» стал «лекарем». У старухи распухла нога; Руднев купил на свои деньги камфары и спирту и сказал: «Растирать, а завтра сделаю бинт и бинтом тебе...» А старуха подумала «винт» и, когда он вышел из избы, подняла крик, что над ноженькой своей баловать не даст, и чорт бы старого барина взял, что он ее научил Ваську-дурака призывать. Камфару забросила, а спирт выпил.

ли внуки старухи.

Купить больше было не на что: крестьяне своих денег не давали, а у Руднева уже не было; насилу выпросил у дяди полбутылки деревянного масла, смешал его с камфарой, которую забросили на полку, и насилу наш молодой доктор убедил старуху, что у него в руках «бинт», а не «винт». Бинтовал он отлично; старуха разлакомилась и все приговаривала невестке: «Ай-да Вася наш... Вася... мне и то легче стало... Нет, друг, он знает!..» — Известно, кто чего держится, так тем и управляет, — отвечала невестка.

Опухоль через неделю спала, и старуха сама пришла к «дитяти» и принесла ему разукрашенное полотенце, которое он с удовольствием принял.

Приятное впечатление от этого случая было еще так сильно, что Руднев взял нарочно книгу, желая остудить свое волнение; но читалось ему плохо... »Спасибо! спасибо!» — чудилось ему беспрестанно, — «Ты молодец!.. Живи ты нам на пользу и радость... Нет, Василий Владимирович наш ничего, тебя уважать можно. Ты людям нужен. Ты не последняя

спица в колеснице... Спасибо, молодец; спасибо, молодец, Василий Владимирович. Ай-да Вася наш деревягинский!»... Наконец он положил книгу и, так, в самом хорошем настроении духа, глянул в окно на дорогу, которая вилась с горки на горку к реке.

Вдруг на первой горке показались всадник и всадница. За ними два других, еще трое, еще два — 9 человек! вдали чернелись экипажи... ближе-ближе...

Руднев уже ясно мог разглядеть все общество: впереди, рядом с Новосильской, солидно ехал длиннородый, толстый предводитель на большой казацкой лошади; за ними, гарцуя на сером в яблоках, чересчур уже красивом коне, сопровождал скромную англичанку кудрявый брюнет в парусинном балахоне и синей фуражке; дети, берейтор-солдат, француз, должно быть, на чохлой клячонке, в круглой соломенной шляпе, спешили за передовыми...

Одно мгновение — Новосильская пустилась в гору вскачь; за ней другие; поворотили во двор; дядя уже суетился на крыльце... Филипп помогает дамам... Руднев! что с тобой? В

твоей ли пристройке такой шум, такая толпа светских людей? Едва находишь ты голос для коротких и смущенно-строгих ответов. Все улыбаются, жмут доктору руку, зовут и просят; дети расспрашивают: «Что это? что вот это у вас? а эта человечья голова зачем?..» — Доктор, верно, френологией занимается, — говорит рослый и кудрявый молодец в балахоне.

— Разве вы верите в систему Галля? — спрашивает Новосильская с улыбкой, и сверкнула глазами так, что Руднев не знал, что это: насмешка, ласка или светская наглость?..

— Нет, я занимаюсь немного рациональной краниоскопией и вообще остеологией, — отвечал доктор глухо.

— Вы ведь верхом поедете с нами? — перебивает его второй сын Новосильской, здоровый мальчик, лет одиннадцати, с приятно-русским лицом.

— На Стрелке; Стрелка смирная, — говорила старшая дочь, обращая на него задумчивые карие глаза...

— Милькеев, где мы будем теперь есть?.. — кричит третья дочь.

— Везде, — отвечает Милькеев.

— Дети! Довольно... — раздаётся голос француза.

— Он изучает всего человека, — шепчет дядя, где-то за шкапом.

— А, и вы любите исповедь Руссо? — спрашивает Милькеев, снимая с полки книгу. — Катерина Николаевна и м. Баумгартен находят эту книгу грязной...

— Не правда ли, вы тоже находите? Разве можно позорить так, как он, свою благодетельницу, m-me Warens? — спешила спросить Катерина Николаевна.

— Нисколько, не нахожу-с...

— Что! что! — кричит Милькеев, — наша взяла! Не правда ли, доктор, нравственность есть только уголок прекрасного, одна из полюс его?., главный аршин — прекрасное. Иначе, куда же деть Алкивиада, алмаз, тигра, и т. д.

— Опять свое!

— Дело, дело говорит Милькеев, — перебивает толстый предводитель.

— Едемте, уж первый час. Едем!

Какой вихрь, какая слабость унесли Рудне-

ва, но он и оглянуться не успел, и возразить не нашелся перед этой шумной ватагой... перед этими детьми, которые без церемонии тащили его за руки и целовали его, умоляя не отказываться, и он, сам не зная как, очутился на линейке рядом с очень почтенной, седой дамой в синем шерстяном платье и большом платке, которую все называли то няней, то Анной Петровной. На козлах линейки сидел усатый армеец лет сорока с загорелым и недобрый лицом в истасканном сюртуке.

— Капитан, — сказала ему Катерина Николаевна, — вот вам еще спутник; он будет вас мирить с Анной Петровной.

Капитан глупо и подобострастно улыбнулся и приподнял фуражку.

Все посели на коней и тронулись.

Веселый Федя остался верхом около линейки.

— Напрасно вы не хотели ехать верхом на Стрелке, — с сожалением сказал он Рудневу. — Какая это лошадка! Послушная, седло мягкое, казацкое... Мы у вашего дяди заранее узнали, ездите ли вы верхом, и он сказал, что вы ездите на казацком седле...

— Благодарю вас; мне и так хорошо.

— Доктора ездить не умеют, — заметил капитан, — у нас был лекарь, когда мы стояли в Каменец-Подольской губернии. Боже ты мой! Что за смех, как носит это его в треуголке лошадь по полю...

— Нечего смеяться так, — с упреком сказал Федя, — у вас в Каменец-Подольской губернии все вздор, капитан, случается. Зачем смеяться! Вы вот сами не умеете ездить верхом, а над другими смеетесь...

— Не люблю я докторов-живодеров, — возразил капитан, но Федя уже успел умчаться вперед с другим, и вместо него вступилась Анна Петровна.

— Вы, пожалуйста, капитан, этот разговор оставьте. Не знаю, кто больше живодер: доктор, который здоровью пользу делает, или кто своего слугу колотит, как вы своего Каетана бедного...

— Эх, Анна Петровна, Анна Петровна! Вы опять меня обижаете. Вот дайте только от передних остатъ. Я так припущу — держитесь только. Вот и доктор близко; коли ушибу — вылечит.

— Уж вы, пожалуйста, капитан, ваше балагурство оставьте. Прошу вас ехать, как надо, а не то я сойду! — сказала Анна Петровна.

— Вот, доктор, горе мне какое, — продолжал капитан, — мне не дают и побаловать; а Милькееву вон какое счастье. Анна Петровна на него не рассердилась, как он ее нарочно вывалил намедни. Живут же люди со счастьем с таким!

— Напрасно вы думаете, что г. Милькеев вывалил меня нарочно. Василий Николаич так учтив, что он никогда этого не сделает. Вам бы еще надо у него вежливости поучиться!

— Нашли вежливость! Кричит с детьми на весь дом, глотку дерет. А как уж это он бабам потрафить мастер!

— Вы, капитан, в хорошем обществе не бывали, — гордо возразила Анна Петровна, — кроме резервов ваших ничего не видали. Если графиня согласна, чтобы молодой человек кричал во время игры с детьми, так не нам с вами осуждать его. А вот бабами женщин он называть не станет, как вы!

— Вы, Василий Владимірыч, — продолжа-

ла нянюшка, обращаясь к Рудневу, — не верьте капитану; это в его словах одна злоба говорит. Ему обидно, что у него Олю отняли; однако, посудите сами: разве могла Оля век у них одной арифметике учиться да священной истории? Она должна получить настоящее воспитание, которое г. Милькеев в состоянии ей дать. А г. Милькеев так вежлив и так добр, что он Феде никогда не позволяет крестьянским мальчикам так головою кивать, а непременно снять фуражечку... Он — прекрасный молодой человек, и вся вина его в том, что он не богат. А сам по себе он во всяком обществе годится. Хоть ко двору!

— Ну, уж ко двору-то его разве печки топить пустят, — прервал капитан. — Зазнался, забыл, как в оборванной шинелишке сюда пришел!

Анна Петровна пожала плечами.

— Уж о дворе вы не судите, капитан, прошу вас, при мне! Я двор-то знаю, капитан, позвольте мне судить об нем не по-вашему. Я двор знаю! И за границей была; когда я ехала с графиней на пароходе из Чивитта-Веккии, с нами ехал итальянский граф, граф Карниоли.

Вот точно смотрю я теперь на Милькеева — борода чор — нал, взгляд... Только Милькеев ростом еще повыше того будет.

— Как вы его, Василий Владимірыч, находите?

— Да, он собой очень хорош! — отвечал Руднев. Капитан на это не возразил и молча гнал лошадь. Анна Петровна тоже не продолжала спора, и Руднев незаметно погрузился снова в себя. Обрадованный тем, что его не трогают, он с участием следил за комками земли, которые, отрываясь от колеса, летели мимо него на дорогу, думал о центробежной силе, озирал широкие поля, всматривался в толпу наездников, которые, чернеясь вдали, ехали почти все шагом под знойным небом, и скоро стал радоваться, что решился ехать.

Прошло так около двух часов... Проехали несколько рощей, спускались с гор и поднимались на них, миновали несколько знакомых деревень. Капитан с Анной Петровной уже помирились и дружески толковали о том, где больше белых грибов — в Сосновке или Солодовке, а Руднев все радовался своей свободе. Кавалькады не было видно: она

скрылась за большим спуском. И он даже пожалел, что капитан так отстал, потому что все лица эти: Катерина Николаевна, Милькеев, Nelly, предводитель и француз с немецкой фамилией, начинали занимать его с ученой точки зрения.

«У Катерины Николаевны, — думал он, — нос горбатый, римский, вообще слишком резкий и крупный для женщины профиль; у Милькеева нос тоже велик, но мягче абрисами и грубее общей формой. Оба брюнеты. Он моложе, она старше; он беден, она богата; оба, вероятно, дворянской крови (я ведь не виноват, что для антропологии этот момент важен); оба очень велики ростом; оба, говорят, умны. Но у нее глаза карие, уже несвежие, но беглые и блестящие; а у него серые, большие и томные, как у младшей девочки, Оли; только у Милькеева как будто добрее, чем у этой Оли. У него, кажется, голова шире, чем у нее и т. д. Что из этого всего выйдет? Как применить эти примеры к тому вопросу, который предла — гает Карус своим сочинением о "Символистике человеческой наружности"? У кого из них больше воли, ума — интересно

было бы узнать! Только бы они не пристава-
ли; ведь они самые подвижные из всего обще-
ства; ну, как они больше других ко мне будут
обращаться и из довольного своей судьбой
зрителя обратят меня в действующее лицо?
Счастливы зоолог и ботаник: они рвут цветы
и режут животных, не рискуя утратить науч-
ное спокойствие в вихре тех проклятых ощу-
щений, которые испытывает человек как
член общества!» Но размышления его были
вдруг прерваны голосом капитана: — Эва! Фе-
дя наш как жарит к нам навстречу!..

— Уж не случилось ли чего? — воскликну-
ла с испугом Анна Петровна.

Федя уже был близко.

— Скорее, Матвей Иваныч, скорее! — кри-
чал он. — Маша упала... Доктор, Маша ушиб-
лась...

Капитан помчался. Маша сидела на траве.
Она была бледна; мать, еще бледнее, поддер-
живала ее сзади; другие молча толпились
кругом, только изредка перешептываясь: —
Вот, очень нужно! Кто ж пускает ребенка на
старой лошади?.. Долго ли!.. Старая лошадь
хуже бойкой! Споткнуться недолго... Она ни-

чего не видит...

— Видит! видит — это случай!

Лошадь Маши была велика и очень красива, и отлично выезжена по-манежному; но она точно была уже немолода, и глаза ее были немного испорчены. Маша ее очень любила, потому что Бэла умела даже играть как-то правильно, красиво и покойно, а галопом ходила отлично. Маша хотела перескочить через канавку, Бэла споткнулась, и все успели только с ужасом увидеть, как огромная лошадь всей тяжестью перевалилась как-то через Машу.

Руднев осмотрел «барышню» и расспросил ее; Маша божилась, что ей нигде не больно и что она просит «только оставить ее в покое». Послали гонца за коляс — кою, усадили туда больную и с нею молодого и смущенного доктора.

— Тебе не больно? Тебе не больно нигде? — спрашивала мать. — Послушай, ты, как почувствуешь, сейчас скажи... А? Скажешь?

— Скажу, мама, скажу... Ты ступай себе...

— Нет, ты, Маша, хорошенько подумай, где

тебе больно... и скажи...

— Уж как будет больно, так и без думы услышит, — заметил предводитель. — Трогайтесь, что ли... Лучше на место скорей...

— Нет, вы ступайте, а я около нее останусь, — отвечала мать.

Но Маша и слышать этого не хотела и сказала: если к ней будут приставать, так она заплачет.

Катерина Николаевна сказала, что до той рожи, где был назначен первый привал, ехать нельзя, а надо будет остановиться в большом селе; до него оставалось еще верст пять или шесть, и поезд тронулся.

Сначала доктор молча и сбоку поглядывал на свою милую и бледную соседку; потом решился спросить у нее: — Что вы чувствуете?

— Теперь что-то рука стала сильнее болеть... А больше ничего.

Ее молчание и бледность пугали его; несмотря на все успокоения, которые могла доставить ему физиология — сердце все спрашивало... »Ну, если что-нибудь не так? Ну, а если! Такая нежная!., и вдруг такая лошадь!..» — Нет, вам ничего теперь... — утрюмо

твердил он.

— Какой вы смешной, Василий Владимірыч; совсем на доктора не похожи... такой молодой... — отвечала Маша и, улыбувшись, начала его рассматривать прямо в лицо, кусая ногти...

— Все доктора сначала бывают молодые; а вы все старых знаете... Вас не отучают от этой привычки кусать пальцы? — прибавил он не без искусственной строгости...

— Мама обещает квасцами или чем-нибудь еще хуже намазать руки... А Вася Милькеев бьет линейкой, когда нет мамки тут. При ней не смеет.

— А что же она ему?

— Мамка сейчас: *point de violence!* Это у нее такая фраза всегда. Ах мамка, мамка!.. Где-то она едет?..

— Вот она близко, вот мама... вот она... смотрите... вам ворочаться не больно?

— Что это — все вздор! Мы с Васей Милькеевым вдвоем ездили на прошлой неделе в лес, так я распустила подпругу, а после дурно подтянула; а Вася не заметил, я и упала вниз головой, только в песок — не ушиблась. Вот

они, вот они, все стоят под горой, ждут нас. Василий Владимірыч, вот Вася, вот мама, вот Nelly.

Федя уж скакал навстречу коляске.

— Тише, тише, Трофим Павлыч, — заботливо распорядился он, обращаясь к кучеру... — больная, знаете...

Скоро радостная толпа окружила коляску; все увидали, что Маша улыбается и что доктор покоен, посмеялись с минуту и поскакали на гору, вперегонки. Только Федя остался у коляски; он взялся быть вплоть до ночлега курьером при сестре и через каждые четверть часа догонять всадников, извещая об ее положении. Он очень скоро познакомился с Рудневым и рассказывал все, что попало.

Ласковое лицо его с ямками на щеках беспрестанно улыбалось, заглядывая на сестру, которая, кротко вздыхая, повторяла, покачивая головой: — Ах ты Федя, Федя! Чудак ты, Федя!

— Такой уж идиот, — заметил Федя сам про себя и продолжал без остановки. — Я, доктор, идиот. Это меня прошлый вторник... нет в среду... да еще поддиктовка была... Вы знае-

те, что такое поддиктовка? Какие сестра моя ошибки делает до сих пор «под диктовку». Что это такое, скажите? Смыслу нет вовсе! Кто идиот после этого — она или я?!

— А кто вас идиотом зовет?.. вы сказали..

— Вот м. Баумгартен... наш... Как вам сказать, он человек добрый... сопрел только маленько.. Потлив... Очень неприятные у него руки... »Капли холодного пота выступают!..» Это он в классе на нас кричит: будто у него от нашей лени пот выступает. А уж у него природа, норов такой — мокрота! И вдруг, как завертится, затопчет — страсть! Вот Ваську Милькеева мы не боимся... Сначала так жутко, боязно маленько было. Воззри в леса на бегемота, что мною сотворил с тобой! А мы, знаете — лягушки, просящие царя... Видим чурбан, такое страшилище... и боимся. А после... Сначала такой суровый... А потом, вышел в сад и говорит: «Дети, хотите со мною играть?» Мы его за ноги да на сено и свалили! С тех пор ладно живем. Вот барышня, это первый друг — невеста Васиньки нашего, Мария — невеста с объединенными ногтями... Самоедка! Сама себя ест...

— Федя, полно болтать глупости, — сказала Маша, — у меня голова уж закружилась...

— Эх .. Трофим Павлыч, — продолжал он, обращаясь к кучеру, — Трофим Павлыч. Что, как Лукаша ваша поживает?.. (И, не дожидаясь ответа, Федя обратился к Рудневу). Это — сестра Трофима Павлыча, знакомая мне кучарка... Я люблю к ней летом на сушила ходить... Летом я учусь скверно... Вот Мосенька... Винокура Исаака знаете? Его Мосенька... Сердце, злой тиран, тиран... Он поет эту песню... Так тот и летом и зимой всегда прилежен...

Маша смеялась до слез, слушая брата.

— Что это он говорит? Я половину не понял, — спросил ее Руднев с удивлением.

— Он всегда так, — отвечала усталым от смеха голосом Маша.

Но Федя уже был далеко: он поскакал повестить, что дела идут отлично.

— Барышня смеется, — сказал он матери.

Уже было часов восемь вечера, когда приехали в большое село; ночевать остановились у одной богатой расколь — ницы, которая за табак не сердилась, и по старому знакомству,

и потому, что хату внаймы отдавала новую, а не ту, в которой сама жила. Вся деревня сбежалась смотреть на троицких господ; многие давно знали Катерину Николаевну и говорили с ней, и Руднев мимоходом слышал, как хозяйка сказала громко при всех: — Э! Уж тебя-то, матушка, никто не боится. Ты уж дюже проста.

IV

Катерина Николаевна и за ней все пошли в избу, тогда со всех сторон кругом Руднева поднялся такой крик, смех и шум, что он уже ничего не мог разобрать. Бабы смеялись и толкали друг друга с крыльца; дети плакали, дрались и хохотали; собаки лаяли; из избы слышались голоса: то хриплый бас предводителя: — Милькеев, а Милькеев! Эстетик Паша! Ваше изящество! а, ваше изящество! Поди сюда... Что говорят-то здесь про тебя!

— Что вам?.. Некогда... Потом вдруг тихо женский голос: — Доктор-то лучше!

— Неправда, не лучше!.. Как можно, у него черты лица гораздо красивее ваших... Вот горе-то! Васька! У-у! Васька! — кричали дети.

— Нос очень красивый... — говорила опять Ново-сильская, — а глаза-то!.. Вот горе-то! Что делать теперь?..

Потом взрыв хохота, а вслед за этим Милькеева дети вытолкали в спину на крыльцо и сами бросились за ним с криком: — На реку!.. на реку играть!

За ними вышли Nelly и Баумгартен. Звали и доктора, но Руднев поблагодарил и остался на крыльце.

Бабы деревенские и дети разошлись скоро, потому что коровы и овцы вернулись с поля. Тогда Руднев закурил сигару и с большой радостью отдался опять размышлениям о том, какие это люди окружают его и какую пользу можно будет извлечь из этого тяжелого для него путешествия. Не определит ли он наконец какие-нибудь психологические или физиологические черты...

«Главное, все они ничуть не конфузятся и никого не стыдятся... Это неестественно... особенно в этом Мильке-еве. Что ему за охота как будто шута и балагура перед этой знатью разыгрывать», — думал Руднев, слегка и невольно прислушиваясь к разговору, кото-

рый велся в избе между Катериной Николаев-
ной и предводителем.

— Отчего он не приехал, скажите по прав-
де? — спрашивает она.

— Опять то же! Помочь была! Ну, знаете!..

— Неужели до сих пор?..

Потом опять стихло, и слышался только
шопот: — Вот уже пять месяцев не пил — с
тех пор, как вы ему говорили, — начал опять
предводитель, — а вот теперь опять...

— Мы всегда видим только падение, — воз-
разила она, — а не хотим и знать про борьбу,
которая была перед этим падением. Вот это
несправедливо...

— Вам издали лучше, — отозвался предво-
дитель. «Вот какую славную вещь сказала, —
подумал Руднев, — не ожидал я от нее... Эх!
опять стихло!..» — Если Самбикин будет зав-
тра, так и он будет, — сказал опять предводи-
тель.

Катерина Николаевна засмеялась.

— Меня радует, что он боится показаться
после кутежа... Это обещает... Не правда ли —
это обещает?

— Обещает ли или нет, — возразил предво-

дитель, — не в этом беда: женить бы его надо! — и, понизив голос, он продолжал: — У Павла Шемахаева живмя живет. Сестра есть... Тут уже Руднев не слышал ничего, кроме возгласа «лихая!», и когда Николай Лихачев спросил опять погромче: «А Милькеев около Nelly вашей все еще выпуск — кает крыло?» — Руднев сошел с крыльца, не желая быть нескромным поневоле и услышать какие-нибудь тайны.

Ему вздумалось пойти на реку, посмотреть на игры детей и молодежи. Но навстречу из-за угла показался Ба-умгартен. Лицо его было мрачно, руки скрещены на груди. Он сел на скамью и тотчас же обратился к Рудневу сперва по-русски: — Вы один сидите, docteur?

— Один, m-r Баумгартен.

— Скучно, docteur, очень скучно.

— Вам или мне?..

— И вам и мне: nous sommes toujours seuls...

Мы оба с вами парии, я вижу, — продолжал он по-французски (он говорил медленно, и Руднев с небольшим трудом мог понимать его)... — Да, признаюсь, эта русская жизнь убийственна! Она механизует человека. Са

me тйсанise horriblement! Скучно... скучно...
Вам и мне скучно, доктор.

— Я не скучаю; я общества не люблю, m-g
Баумгартен.

— Вы не любите, может быть. Я француз,
хотя родился в Альзасе, а уже давно сказано,
что французы самый общительный народ в
Mіre. Когда я жил в Nancy и Celesta, меня все
звали ami Josephe или ami Bongars — ибо
французы не могут выговорить — Баумгартен... Я был очень занимательный собеседник. Les parties de campagne, кости, шахматы, кофе; надо было видеть, как я выходил в длинном платье на кафедру и читал историю Франции. У нас министром определено все до малейшей подробности в преподавании. Взглянув на часы в Париже, он может знать, что в эту минуту читается во всех департаментах; однако, несмотря на это строгое единство, я умел придать занимательность и жизнь своим лекциям. Работа кончена, и начинаются развлечения. Voyez vous... Un travail noble, une aisance honnkte, l'estime des amis, l'amour des femmes, docteur! J'йтais la coqueluche des dames, docteur!

— Позвольте, я этого не понял, monsieur Бамгартен, мне показалось — коклюш...

— Oui, да, коклюш... коклюш... У нас так говорят — коклюш... Coqueluche des dames... j'йтais la coqueluche des dames. У нашего мэра была дочь; мы с ней гуляли в саду, обнимались, лежали на траве... Конечно, это нескромно с ее стороны... Но она была очень умна; elle йtait bonne comme un ange et spirituelle comme un dйmon...

— Отчего вы не женились на ней?

— Согласитесь сами, что за охота жениться на женщине, которая гуляет со мной одна, до брака, в рощах?! цалуется... Вас берет сомнение... Не так ли? А здесь! Je m'abrutis!.. Вот уже год, как живу здесь, и не имею никакого сочувствия, даже сострадания не вижу... La comtesse, конечно, женщина добрая... Но в ней так много laisser-aller russe!.. А для меня долг выше всего... Дети тоже. C'est une йducation manqийе... Сначала я хотел водить их гулять с собою и вести с ними, при случае, поучительный разговор... Что может быть лучше ille tollit punctum, qui mismit utile dulci! У нас делают так, когда хотят дать правиль-

ное воспитание детям. Ребенок срывает цветок, я останавливаю его и спрашиваю: «Что это?» Ребенок отвечает: «C'est une rosé». «Qu'est ce qu'une rosé, mon enfant?.. Какого растительного семейства? Куда употребляется?» Ребенок смотрит во время вечерней прогулки на звезды. Я останавливаю его и говорю ему: «Cher enfant, созвездие это называется, положим, так или иначе!., около одного из светил, составляющих это блестящее созвездие... (я говорю, нарочно, заметьте, блестящее, чтобы поразить его воображение) обращается наше солнце. Громадное расстояние ничто для великого Творца... etc... etc». Прибавьте к этому исторические анекдоты, полезные игры, и вы получите стройное воспитание, в котором затрогиваются три главные элемента духа: разум (l'intelligence), чувство (le sentiment), воля (la volonté). Но здесь это невозможно... Дети убегают от меня, как от заразы. Они не злы; но Федя груб и почти идиот; Оля упряма, и хотя очень умна, но только в классе; кончились классы, она предпочитает скакать на настоящей лошади или бегать с братьями на палочке... или играть в куклы с

miss Nelly. Marie, Marie rasseyana et pleine de se laisser-alier...

— Отчего же вы не обратите внимание матери?

— Мать! Мать! Мать скачет впереди верхом с г. Миль-кеевым или читает с ним Pouchkin et Tourgeneff. Elle le porte sur ces ailes... Я не хочу предполагать ничего дурного... Но он завладел всем домом... Он — оракул здесь. Он умен, добр, благороден, хорош собою, учен... Но, по моему мнению, это — человек ничтожный. Я стараюсь отдать себе отчет, чем он мог их пленить. Дети любят его рассказы; игры, которые он выдумывает, им нравятся... Miss Nelly est folle de lui... Laissez-nous donc vivre — вот его любимые слова!.. Но я сам жить не прочь. Я сам много жил; но у меня был час на все. Но здесь в России я не тот: я убит, я пария, я педант... И это потому, что я не эгоист; у меня есть характер, крепкая воля. Я ставлю долг и мелкие услуги другим выше всего. Я холоден, но это потому, что я тружусь; я не ласков, но это потому, что я стал недоверчив и скрытен; но я не эгоист. М-г Милькеев хвалит эгоизм., Он говорит, что

«мораль есть ресурс людей бездарных!» Miss Nelly рада и смеется. Она квиэтистка — последовательница Кальвина... она рада предать все течению, и в этом случае его материализм совпадает с ее верой в провидение.

— Кажется, ужин в избе подан, — сказал утомленный этой вялой речью Руднев. Не пойдём ли и мы туда?

Ужинали долго, при свечах; шум и спор были ужасные... Рядом с Рудневым сидела Оля, а напротив ее Милькеев, и они городили такой вздор друг другу через стол, острили так бессмысленно и хохотали так громко при одном взгляде друг на друга, что доктору оставалось только удивляться, каким это средством дошел Милькеев до такой веселости, которая мыслящему московскому студенту совсем нейдет, а как будто искренна!

V

Ночевать Рудневу пришлось вдвоем с предводителем в избе. Милькееву, Баумгартену и Феде постлали на чердаке в сенях, а всем женщинам и девочкам был приготовлен ночлег в просторном сарае.

— Мужчины еще подожгут там у старухи, — сказала Катерина Николаевна.

Руднев тотчас же лег; а предводитель долго ходил по избе, разглаживая и взъерошивая бороду и усы.

— Я вам не мешаю? — спросил он наконец.

— Нет, — отвечал Руднев... — Ничего пока.

— Пока! И то правда, что спать пора... А что, вы будете служить? — спросил он сурово.

— Места нет теперь.

— Теперь-то нет, я знаю; а взяли, если б было?..

— Какое же?

— Ну, хоть окружного врача?

— Разве есть?

— Зон уезжает. Хотите, я похлопочу. Ведь разве легче так жить?..

С этими словами предводитель сел у стола и пристально, с участием посмотрел на молодого человека.

— Вам бы надо в Троицкое поступить. У Руднева занялся дух.

— Что вы? У вас лицо изменилось?..

— Нет, ничего, я слушаю... Ничего мне!

— Я говорю, вам бы надо в Троицкое вра-

чом. Окружным будете 300 получать, да здесь 600–700, вот и жить можно... Что-с?

— Я бы не желал служить в Троицком, — отвечал через силу Руднев...

— Это отчего?

— Не могу вам сказать... Тут слишком много причин...

— Как хотите. А кажется, отчего бы это не служить... Катерина Николавна — женщина добрая и умная. Дом славный; семья славная. Чего бы вам лучше? Вы — человек образованный, должно быть, деятельный, будете полезны. Доктор В. стар и давно бы отказался, да некому его заменить... Катерина Николавна просит остаться.

— Поговоримте после. Я подумаю, — отвечал Руднев, стараясь отклонить разговор. В Троицкое он решил заранее не поступать; а потому ему гораздо интереснее было бы расспросить предводителя о Милькееве... Обдумывая раз десять свой будущий вопрос, он наконец было начал; но остановился вовремя и шумно повернулся к стене, желая еще раз напомнить, что давно спать пора. Предводитель это понял.

На рассвете разбудил его опять страшный шум... Изба была полна новыми лицами. Младший брат Лихачева тут, еще какой-то военный брюнет, огромный рост Милькеева, очки Баумгартена, предводитель, Федя... на стол дворецкий ставит самовар, стелет скатерть, и мимо окон ведут оседланных лошадей... Утро ослепительное, чистое... Лица все веселые... »Как спали? Как вы спали... Ели ли вас мухи?» Доктор благодарил всех и сконфуженный, что его застали таким заспанным и растрепанным, спешил на крыльцо. Федя прибежал туда, настоял, чтобы он позволил подать себе умыться, и рассказал ему, подавая, что «этот в поддевке с белокурой бородой — брат предводителя, а тот, военный брюнет — князь Самбикин. Этот князь Самбикин привез, кажется, письмо от нашего папа... Вы знаете, у нас есть папа... Он служит на Кавказе... А Лихачева Александра Николаича вы, кажется, знаете? Вася говорит, что он на чемодановского целовальника похож... Он очень храбрый — Александр Николаич на Дунае сражался, в Молдавии и Валахии был... Раз Васька сказал вместо Молдавия и Валахия — Малахия и Волдахия...

Лихачев как над ним долго смеялся: ужас! Они — друзья».

— Друзья? — спросил Руднев, вытирая лицо.

— Друзья. Ведь Ваську Лихачев к нам привез, Вася очень беден был тогда... Пешком тридцать верст пришел к нам, последние...

— Вот как! Расскажите-ка...

— Theodor, — закричал из избы Баумгартен. — Не заставляйте вас ждать! Пейте чай... Мама сейчас на лошадь садится...

В самом деле, молодые люди едва успели проглотить стакана по два, как уже прибежал толстяк дворецкий и объявил, что Катерина Николаевна сейчас садятся и все барышни...

Все кинулись к дверям. Федя ухватился за полу Руднева и стал умолять его сесть на Стрелку.

— Седло казацкое, мягкое... Лошадка спокойная... Не бойтесь, я вас на чумбуре поведу...

Баумгартен так был озабочен сам своею «Grise» (по-русски Крыса), что не мог остановить Федю. Федя умолял так настойчиво и ласково, утро было такое свежее, и Стрелка в самом деле казалась такая гладенькая и доб-

рая, что Руднев решился на нее сесть, не делая больше никакого затруднения, и, чтобы стать выше собственного самолюбия, позволил даже Феде вести себя при всех на чумбуре.

Восторг Федин был страшный.

Он всем кричал: — Я, Васька, на чумбуре доктора... Я на чумбуре, мама, доктора поведу...

— Доктор вовсе этого не желает, — сказала мать. — Вы не слишком ему поддавайтесь — он надоедает ужасно, — сказала она. — Оставь-ка лучше.

Федя молча опустил чумбур, и слезы полились у него градом по щекам.

Все засмеялись, но Руднев поспешил вручить ему чум-бур, и Федя, улыбаясь, как солнце сквозь дождик, скромно и стыдливо поехал с ним рядом.

Все общество двинулось из деревни по росистым полям. Впереди ехали Катерина Николаевна с князем Сам-бикиным, за ними две девочки с берейтором; за берейтором Nelly и Милькеев, потом предводитель с Баумгарте-ном. Сзади всех остались Федя с Рудневым

и молодой Лихачов. Он был тоже в Московском университете и скоро разговорился с Рудневым.

— Вы когда кончили курс? — спросил Руднев.

— Я? Я курса не кончил. Я только год или два был всего...

— Что же так?

— Надоело мне, по правде сказать. Грановского слушал, Кудрявцева иногда... А вообще-то я не очень люблю всю эту работу, я люблю вот деревню. Ну, и бросил. Сухая материя — эта юриспруденция. Я больше все на бильярде.

Мало-помалу разговор перешел на семью Новосильских и Милькеева, и Рудневу удалось наконец толком добиться от него, что это за Милькеев, кто он и как он сюда попал.

— Он очень способный малый, — сказал небрежно Лихачов, — только чудак ужасный, помешан всегда на разных правилах — правилами живет... Я его давно знаю.

— Неужели он все делает по заказу или напоказ?

— То есть, не то что напоказ. А он, как сам

выражается, дорожит «самым фактом красоты», он будет один на необитаемом острове — так и там то же... »Поэзия есть высший долг... Исполняют же люди долг честности, а я исполняю долг жизненной полноты». Вот такие вещи, и за них он готов на виселицу... Очень добр, впрочем... Вообще, отличный малый... Будете вы нынешнюю осень ездить с собаками?

— Не знаю, право, Александр Николаич; Ерза околела, и дядя забросил псарню... хотелось бы обзавестись...

— Я могу вам с удовольствием предложить двух щенков от Лётки... заезжайте ко мне — выберете сами... Интересная помесь вышла от Крымки и Густопсового!..

— Благодарю вас... А Милькеев охотится?

— Куда ему!.. Он все с каким-то насосом ходит, из барышень поэзию выкачивать. Это — одна из его специальностей. Уже очень влюбчив и снисходителен.

— А что это я слышал — он к вам пешком пришел весной?

Лихачев махнул рукой и засмеялся.

— Этих штук сколько угодно! Потом про-

должал серьезно: — У его отца славное имение, душ в двести. Бросил все это, перессорился с братом и сестрой. Душно ему с ними: атмосферу, говорит, сгущают. Он ходил в ополчение, но, благодаря австрийцам, дальше Киева не пошел. Влюблен был там разом в трех: в еврейку, в помещицу и в хохлушку — Оксану. Он, я думаю, нарочно их отыскал и привел в порядок... Потом приехал домой к отцу готовиться на магистра... Вдруг, Бог знает почему, поссорился с родными, и в марте, в самую распутицу, поехал к нам; денег у него было мало и достало только до нашего уездного города, а остальные тридцать верст то пешком, то на обозы садился. Да это еще с ним не раз будет.

— А вы не знаете именно, за что он поссорился с отцом?

— Чорт знает, право! Отец его — капризный и скучный человек... Зять у него хитрый... сестра пустая. Она уже давно ему надоела, но он не хотел с ней прервать, потому что она *a la Sand* жила с этим зятем, ну, долг, знаете, правила его... Ходил, скучал у них. Отец ее не принимал, другие братья тоже. Как же ему

не ходить! А потом, как она вышла замуж и приехала к отцу в деревню, и рассорился.

— Что же ему именно в них не понравилось?

— Да это вы бы у него когда-нибудь спросили, он расскажет с удовольствием... Впрочем, вот еще что можно сказать, что он из тех людей, которых тонкие ощущения важнее крупных... Найдет у себя искру — и раздует ее, и надо отдать ему справедливость, с энергией идет по своей дороге... Не мог, говорит, видеть, что зять такой худой и чисто выбритый, все цаловал шею сестры; а шея у нее старая; а сестра и кричит на зятя и детски жеманится... За людей потом что-то вышло... Пришел к нам на Страстной и говорит: «Я к вам пришел есть; кормите меня». Рад, как Бог знает что... Хохочет... Ну, мы все его очень любим... Как нарочно, в Троицком не было в это время учителя, и Катерина Николаевна хотела писать в Москву; мы его и устроили туда. Теперь пишет свою диссертацию.

— О чем она?

— Из государственных наук что-то, что-то вроде «О влиянии учреждений на нравы» —

это одну; и другую, на всякий случай, маленькую, уже кажется изготовил, если ту нельзя будет пустить в ход: «О прямых налогах». Эта, кажется, у него тоже готова. Пробовал он мне читать... Да уж очень скучна! На деле все это прекрасно, но в книге...

Когда они поднялись на горку, навстречу им от передовых отделился Милькеев.

Лицо Лихачева повеселело... Милькеев тоже улыбался.

— Ну, что ты? еще не весь сок выжал из британки своей?

— Перестань врать, — отвечал Милькеев с недовольством. — Доктор, вас Катерина Николавна просила догнать ее на минуту, хочет что-то у вас спросить.

Когда Руднев отъехал от них, Милькеев спросил у Лихачева: — Что он, каков этот Руднев?

— Не знаю, право, душа моя; кажется, обыкновенный студент, и, если не ошибаюсь, довольно скучный и бесцветный. Все выспрашивает... Видно, своего запаса немного... А ты что поделываешь... Не грустишь?

— Нет, не грущу... Каждый день все благо-

дарю тебя и твоего брата, что вы меня в Троицкое определили... Из дому, слава Богу, писем нет. Забыл я об них.

— Это главное, — отвечал Лихачев. — А ты слышал новость — этот несчастный Самбикин привез от мужа Катерины Николаевы письмо и отдал ей сегодня поутру. Просит взять к себе на воспитание сына от французенки, которая была гувернанткой Маши и которую он обольстил.

— Возьмет она или нет? — спросил Милькеев.

— Еще бы не взяла! Такая оказия для нее — праздник. Она теперь поздоровеет на три недели. Поедем-ка к Nelly, ее ami Joseph совсем уж заел скукой!

Пока они говорили, Руднев подъехал к Катерине Николаевне и спросил, что ей угодно.

— Вы, кажется, занимаетесь физиогномикой, — сказала Новосильская, — не можете ли вы по описанию князя узнать, какой характер у ребенка лет восьми?

— Я думаю, — заметил Самбикин вкрадчиво и тихо, — очень трудно узнать, какой характер у ребенка. Дети везде одни, и все от

воспитания...

— Этого нельзя сказать, — перебил Руднев сухо. — А какое лицо у этого мальчика?

— Как бы это вам описать? Это трудно! Глаза у него светлые, лицо очень белое, худощавое...

— Нос и рот обыкновенные, примет особых нет, — докончил Руднев. — Так паспорта пишут!

Красивый князь покраснел и застенчиво улыбнулся, а Катерина Николаевна одобрительно взглянула на язвительного мудреца.

— Нет, вы не живописец, — сказала она Самбики-ну. — Впрочем, вы не беспокойтесь, я обдумаю... Вы говорили что-то об моем муже, когда я позвала доктора?

Руднев, полагая, что он больше не нужен, поспешил отъехать от них, а Катерина Николаевна продолжала: — Вы не стесняйтесь — говорите мне все...

— Граф очень грустил все это время после смерти Сйментине, — отвечал Самбикин, — и ампутированная нога его иногда страшно болит в рубце. Мне, право, так его жаль! Граф — такой милый, такой добрый, и судьба бедного

Юши его сильно озабочивает.

— Успокойте его поскорее, что я не прочь и подумаю. Денег на воспитание мне не нужно. Пусть лучше те пять тысяч, которые остались от матери, пришлет, я их спрячу для Юши, а он все промотает...

— Вы слишком строги к бедному графу, — с вялой любезностью отвечал Самбикин.

VI

В старой липовой роще, на горке, над большим озером, был второй привал. Что за веселая картина!.. Над мирным озером, где все дно было видно — зеленая горка, на горке липы, под липами тень, а по воде и по лугам вокруг нестерпимое солнце... В тени стелют пестрые, бархатистые ковры, готовят большую палатку для ночи, разводят костер для обеда, лошади ржут, и люди шумят, звонят бубенчики, и колокол сзывает к завтраку! Одна забава сменяется другой, отдых — развлечением... Одни ушли за грибами в березовую рощу, которая обогнула все заливы и заливы озера с боков и спереди; другие лежат на коврах и читают... Кто взял ружье и сел на ма-

ленькую лодку, которую привез тотчас седой и согбенный великан-рыбак с того берега... Вот утка вылетела, и слышится уже выстрел молодца-повара... А вот и Лихачов стреляет... Принесли грибы — идут все, и люди, и дети, и взрослые господа за ягодами... Никому не скучно. Пока Катерина Николаевна ходила за грибами и ягодами, уже ей между двумя липами повесили гамак над ковром, и она, как усталая и добрая царица, отдыхала на нем... И Руднева никто не трогает: не только не оскорбляют, но даже и занимать не ищут... Одно нехорошо: как эти молодые люди бранятся между собою и смеются друг над другом без страха и осторожности... Это удивительно!.. А еще удивительнее, что глядя на них, не обидно за них, и будь на их месте, так кажется, и сам не обиделся бы... а на своем?.. Нет, уж покорно вас благодарю! Давича Лихачов говорил за глаза про Мильке-ева, что он с насосом ходит за барышнями; но это цветочки, а вот здесь-то ягодки — при всех, при женщинах, при детях, которых Милькеев учит... Подходит к Милькееву мисс Нелли и подает ему букет ягод.

— Закройте глаза скорее, — говорит ей Лихачов, — закройте, это василиск, ведь один взгляд его ужасен... — и не дождавшись, уже своей рукой закрывает глаза Милькееву.

Тот смеется. Катерина Николаевна хохочет.

— Василиск? Что такое василиск?! — кричат дети.

— Василиск, это, как вам сказать, это — гад, такая ящерица...

— Ну, ты сам не знаешь... — говорит Милькеев.

— Бедный, бедный Вася, обидели, — восклицает Федя, с беспокойством глядя Милькееву в глаза, и, кидаясь к нему, целует его...

Сам Лихачев замолчал, тронутый этой неожиданностью, и все общество, молча переглянувшись, улыбается.

— Вы лучше спросите у доктора, что такое василиск... — начал опять Лихачев сюрпризом для Руднева.

— Василиск, — говорит доктор, — это точно, это — ящерица... только, что она взглядом одним поражает и убивает, так это неправда... Это древние греки, кажется, верили...

— Василиск — значит царь по-гречески, — перебивает Баумгартен, — это название дано животному оттого, что у него на голове есть небольшой венец: кажется, так, docteur?

— Да, нарост, — сухо и глядя в сторону отвечает docteur.

— Греки эти были такие изящные! — вздохнув вдруг и кусая ногти, замечает Маша.

И потом тихо, все молчит: люди, озеро и роща! Вдали, вблизи, зелень и пестрые ковры, ржание лошадей и огонь костра...

— А ведь ты в самом деле на того целовальника похож, Лихачев, — начинает теперь уже Милькеев...

Лихачев улыбается и хочет отвечать.

— Только он поделикатнее, поизящнее будет немного.

— Гиппопотам ты этакий!

— Что такое гиппопотам? — спрашивают дети.

— Все равно, что бегемот: большая свинья, которая в Египте, кажется, живет.

— Болван! — отвечает Милькеев.

И все опять хохочут. Дети спорят между собою: как лучше назвать Ваську, бегемотом

или василиском.

— Он — Вася, значит, василиск и будет, — решает их спор предводитель.

— Василиск! василиск! Вася, ты — василиск. За обедом опять спор, даже ссора.

— Французская нация любит равенство! — говорит гордо Баумгартен, — за равенство она с радостью отдает жизнь...

— И свободу! — прибавляет предводитель, — а равенство целью никогда не должно быть.

(Руднев, поклонник Руссо, напрягает слух.) — Как так? — с удивлением спрашивает Катерина Николаевна, — равенства не надо... И это вы говорите?

— Я-с. Равенства должно быть настолько, чтобы оно не стесняло свободы и вольной борьбы.

— Я думаю, главное, чтоб не было насилия?.. — возразила Катерина Николаевна, — это — главное... Или нет...

— Все условно-с.

— А как же оправдать насилие?..

— Все условно-с. Пожалуй, и не оправдывайте.

— Нет, надо оправдать.

— Оправдайте прекрасным, — говорил Милькеев, — одно оно — верная мерка на все... Потому, что оно само себе цель... Всякая борьба являет опасности, трудности и боль, и тем-то человек и выше других зверей, что он находит удовольствие в борьбе и трудностях... Поход Ксено-фонта сам по себе прекрасен, хоть никакой цели не достиг!

У Милькеева заблестали глаза и загорелись щеки; не видел еще Руднев его с таким лицом. Предводитель хотел что-то сказать, но Милькеев уже был в волнении и, откидывая назад свои кудри, продолжал, все больше и больше разгораясь: — Что бояться борьбы и зла?.. Нация та велика, в которой добро и зло велико. Дайте и злу и добру свободно расширить крылья, дайте им простор... Не в том дело, поймите, не в том дело, чтобы отеческими заботами предупредить возможность всякого зла... А в том, чтобы уси — лить творчество добра. Отворяйте ворота: вот вам — создавайте; вольно и смело... Растопчут кого-нибудь в дверях — туда и дорога! Меня — так меня, вас — так вас... Вот что нужно, что было во все

великие эпохи. Зла бояться! О, Боже! Да зло на просторе родит добро! Не то нужно, чтобы никто не был ранен, но чтобы были раненому койки, доктор и сестра милосердия... Не в том дело, чтобы никто не был обманут, но в том, чтобы был защитник и судья для обманутого; пусть и обманщик существует, но чтобы он был молодец, да и по-молодецки был бы наказан... Если для того, чтобы на одном конце существовала Корделия, необходима леди Макбет, давайте ее сюда, но избавьте нас от бессилия, сна, равнодушия, пошлости и лавочной осторожности.

— А кровь? — сказала Катерина Николаевна.

— Кровь? — спросил с жаром Милькеев, и опять глаза его заблестали не злобой, а силой и вдохновением. — Кровь? — повторил он, — кровь не мешает небесному добродушию... Вы это все пряничной Фредерики Бремер читались! Жан д'Арк проливала кровь, а она разве не была добра, как ангел? И что за односторонняя гуманность, доходящая до слезливости, и что такое одно физиологическое существование наше? Оно не стоит ни гроша!

Одно столетнее, величественное дерево дорожке двух десятков безличных людей; и я не срублю его, чтобы купить мужикам лекарство от холеры!

Все молчали.

— Вы, дети, Васе не верьте, он на себя выдумывает; он вовсе не такой злой, — сказала наконец с немного натянутой улыбкой Новосильская и, помолчав, прибавила, — он больше многих способен делать добро.

Младшие дети обрадовались и стали кричать: — Васька с носом! Ваську осрамили! Вот тебе, не вяжись с большими в разговоры! Зачем с нами не говоришь?

— Довольно, дети, вы надоели, — не без досады сказал Милькеев. — Видите, Катерина Николаевна, и с ними бы свирепым быть не мешало...

— Будьте уверены, — отвечала Новосильская, вспыхнув, — что я не только свирепым, а даже и строгим не позволю вам быть с моими детьми.

— Как вам угодно, — сказал Милькеев мрачно, и обед кончился в молчании.

VII

Тотчас после обеда Милькеев вышел поспешно, спустился к озеру и скрылся в кустах. Дети побежали за ним; но строгий голос Баумгартена удержал младших; только Маша поманила Nelly, и та, краснея, догнала ее. Обе они тотчас скрылись в березнике.

— Он, кажется, не шутя сердится? — с беспокойством спросила Катерина Николаевна.

— Еще бы, — отвечал предводитель, — сами же вы его часто удерживаете от излишних шалостей с детьми, чтобы они в классе не забывались... А теперь вот при них как...

— Я думаю, это неприятно, — прибавил молодой Ли-хачов...

— Вы думаете, он обиделся?..

— Обиделся! — сказал предводитель, — что за слово — обиделся! А просто нейдет так резко говорить при всех, если вы человека уважаете.

— *Le prestige aux yeux des enfants est indispensable, madame,* — с своей стороны заметил честно Баумгартен (тем более это было честно с его стороны, что Nelly ушла за Милькеевым)...

— Но если бы вы знали, как противно слушать! Что за бесстыдство! — сказала Катерина Николаевна. — Извинять жестокость в каком-нибудь случае, это еще понятно, но оправдывать, обращать в принцип... при детях!

— Он увлекся.

— Нет, это — его всегдашняя манера преувеличивать собственные дурные мысли и без стыда говорить о них...

А сам, ведь знаете, как добр... Он платья до сих пор нового не может сшить оттого, что почти все деньги посылает дворовым на выкуп от отца, с отцом они чрез это поссорились...

— Я этого не знал, — сказал Лихачев.

— Вот видите! Он вдруг рассердился, когда я сказала, что он умеет делать добро... Неосторожно взглянула на него... Я узнала это от Емельяна, а Емельян от почтмейстера... Тогда он и сам рассказал мне подробно все... Как люди пошли против отца и зятя... И теперь вот!.. Это бесстыдно, это грязно... А ведь я его сама ужасно любила... Дети, бегите, увидите Васю, скажите, что я хочу у него извинения

просить...

Но детям бежать не было нужды: Маша вернулась и сказала, что Вася с Nelly сели в маленькую лодку и поехали к острову, который там, там... в зелени за рощей...

— Он сердится? — еще беспокойнее и пугливее продолжала спрашивать Катерина Николаевна.

— Нет, мама, только грустит... Я вижу, что они стали шептаться с Nelly — я и ушла, чтобы не мешать.

Руднев мельком взглянул на Баумгартена и не ошибся, — лицо француза было красно... »Бедняга, — подумал Руднев, — вот кто мне настоящая-то пара!« — Не угодно ли вам пройтись немного по роще?.. — спросил он его.

Француз с восторгом согласился.

— Вот видите! — начал он тотчас, как только они миновали липовый лесок, — видите... не правду ли я говорил... Это беспокойство гжи Новосильской, это утешение в лодке, на острову...

И пошел, и пошел!

Между тем Катерина Николаевна продол-

жала тревожиться. Двадцать раз спрашивала она, суетливо обводя всех глазами: — Ему теперь, я думаю, очень больно! Верно ему теперь грустно? Что он это с Nelly там говорит?.. Пустите, дети, пустите, я пойду. Дайте мне руку, Александр Николаич, встать...

Младший Лихачев помог ей подняться и хотел предложить ей руку, чтоб проводить. Все встали, но она просила всех остаться и поспешила одна к тому берегу, около которого должны были плыть Nelly и Милькеев. Все видели, как она, забывая свою усталость и послеобеденную лень, шла бодро и быстрыми шагами к березнику и, раздвигая ветки, вошла в самую его чащу...

— Экая добрыня! — заметил предводитель.

Никто не отвечал, только по смуглому лицу князя Сам-бикина пробежал какой-то луч не то сомнения, не то молчаливого согласия, не то насмешки.

Милькеев и спутница его тихо подвигались на лодке между двумя островками; скоро зелень лозника закрыла от них и пригорок с липами и другие берега. Они сошли на остров и привязали лодку к большому кусту.

— Ведь мы посидим здесь? — спросил он скромно.

— Да, сядем, — отвечала Nelly.

Сели, и Милькеев вздохнул. Nelly казалось, что руки, которыми он расправлял свои волосы, дрожали.

— Вы непокойны еще? — спросила она.

— Все, что вы мне говорили на лодке, правда, может быть, и я это знаю... Ах, да, нет! Разве не ужасно это из-за спора, из-за этой бестактности, которая меня губит... потерять такое место... При всех, при всех. Как это мелко, фу, как противно... Нет, я не могу сидеть, пойдемте...

Nelly тихо засмеялась и, взяв его без церемонии за руку, потянула к земле.

— *Voyons donc!* — сказала она, как милый товарищ, обращая на него синие глаза. — Вы нас не оставите, графиня вас так любит.

Милькеев сел.

— Между двух презрени!.. Презирать себя, если останешься, когда так пристыдили; презирать, если уедешь, потому что не кончил ничего... Ну, что будет, будет! Подождем! Какие, однако, у вас удивительные глаза; я та-

ких глаз, серьезно, ни разу не встречал... Какие они глубокие... нехорошо только, что они всегда ровно глубоки — везде и для всех... Этот доктор говорит, что глаза выражают главную струю, которая пробегает по характеру... Вот у Маши глаза мечтательные, а у вас — любящие. А выходит — это вздор, ваша протестантская строгость не допустит вас ни до одного страстного взгляда. Это видно на бедной жертве вашей — на Баумгартене...

— Ах, Баумгартен! Разве Баумгартена можно любить? Он такой вялый, мокрый такой.

— А, какой славный жест! — воскликнул Мильке-ев, — такой мокрый, и сжали кулак, как будто выжали тряпку. Бедный Баумгартен! Он ведь вас страшно любит, а вы... Да, я вижу, что и Лютер и все реформаторы приходили напрасно... Женщины нисколько не стали гуманнее — напротив, к жестокости кокетства еще прибавилась жестокость неприступности. Потом эта проклятая английская кровь.

— Зачем неприступность? — отвечала, смеясь, Nelly. — Для человека, которого бы я любила, я, вероятно, готова была бы наделать

тысячу глупостей.

— Право! — с удивлением сказал Милькев. — Вот такой выходки я от вас не ожидал. Это меня удивляет и... радует! — прибавил он тихо и задумчиво замолчал.

Nelly долго играла сломленной веткой по воде и долго смотрела на тихий и прозрачный пролив, который отделял от них соседний островок.

— Что, это отражение кустов, и зелени, и облаков реально или нет? Правда это, или только так кажется нам? Ведь все там есть у них, — сказала она, указывая на воду.

— Какие однако, вы умеете делать славные вопросы, — отвечал Милькев, ласково оглядывая ее с ног до головы, — реально ли это? Вы хотите знать? Все реально, все реально! Всякая глупость, всякая фантазия человека реальна, потому что она *есть* или *была* и отслужила своим появлением службу в общем ходе дел. Да ведь и все эти кусты реальны только для наших чувств. А кто их *знает*, что такое они сами! Да и что мы-то сами? Нет, довольно, поедемте, ради Бога, я опять вспомнил... Вставайте, вставайте!

— Постойте, — сказала Nelly. — Слышите? вас кто-то зовет... Вот, вот... Это голос m-те Новосильской! А-а! как вы рады, какое у вас вдруг стало лицо... А!

В самом деле, с берега еще послышался голос Катерины Николаевны, которая аукалась и звала их.

Молодые люди поспешили сесть в лодку и выехать из пролива. На берегу, около березника, стояла, заслоняя руками глаза от солнца, Катерина Николаевна.

Зоркая Nelly уверяла даже, что видела ее улыбку.

— Она беспрестанно улыбается, и мне сначала это не нравилось, — заметила она.

Но Милькеев поспешно греб, не отвечая ей. Через секунду он уже и сам мог видеть, что Катерина Николаевна улыбается, и так поторопился, что чуть не опрокинул челнок.

— Смотрите, вы мне Nelly еще утопите, — весело сказала Катерина Николаевна, протягивая руку молодой девушке, чтобы ей легче было встать из лодки.

Глаза ее сияли.

Потом, когда смущенный Милькеев привя-

зал лодку, она и ему протянула обе руки и произнесла с такою ласкою и таким беспокойством: «Неужели *мы* поссорились!..», что Милькеев не отвечал ничего и спешил покрыть эти большие и прекрасные руки поцелуями.

Катерина Николаевна смотрела на его кудри, и на ресницах ее навернулись слезы.

Nelly поспешно ушла вперед.

— Вася, Вася, вы ли это? — продолжала Катерина Николаевна.

— При всех, при детях... все же я человек, — говорил Милькеев.

— Я думала, что у вас самолюбие есть только для Широкого, а не для будней...

— Напрасно вы это думали, — отвечал Милькеев. — Напрасно, Катерина Николаевна! Здесь, в этой жизни от покоя и веселости — все мне стало нипочем, а если бы вы знали, сколько огорчений и самоуничижения в моем прошедшем... Ведь здесь я не тот... не тот. Я сам себя не узнаю. С души поднялось столько здоровых, честных чувств, столько снисходительности, столько... Ну, да, чорт возьми, всего. Однако, все же, поймите, вспомнить ста-

рое...

— Ну, ну! не волнуйтесь, Василиск! Все-таки, вы ведь Василиск. Разве вам можно терять к себе доверие, и разве я могу уже разлюбить вас, — уж это кончено!.. Я люблю вас и кончено, — люблю. Сделайте что-нибудь дурное, — я не могу разлюбить вас...

— Я сам вас как в кармане ношу, — отвечал Милькеев. — Я вас никогда не слышу и не чувствую. Я был влюблен, у меня была мать, были, к несчастью, родные, приятели и друзья, пожалуй, но все они чем-нибудь да мешали мне.. Та, которую я любил, часто не понимала того, что я говорил ей; надо было ей столько объяснять. Были минуты страшного блаженства, но зато какие ж и муки... Отец, мать, родные? О, Господи! жалость и боль, гнев и жалость, презрение и дружба... Товарищи! (Милькеев махнул рукой.) А вы, вы, поймите, вы — первый человек, с которым нет борьбы, а только удовольствие. Что это такое? Это какая-то прелесть, а не чувство... Ну, так поймите же, каково мне...

— Разве я не знаю всего этого, Милькеев? Я все это знаю... Зачем же такие вещи неблаго-

родные при детях моих говорить, когда вы на них больше всех, даже больше меня имеете влияния, потому что они на вас смотрят почти как на товарища.

— Оставим все это! — сказал Милькеев. — Баронессы вашей еще нет?

— При мне не было; теперь не знаю.

— Терпеть я ее не могу.

Они подошли к остальным спутникам под руку, друзьями, и были встречены улыбками взрослых и криками детей: «Помирились, друзья! Васька и мамка опять друзья!» Оля при этом немного задумалась; потом, не поднимая глаз с земли, громко спросила у матери: — Ты, мамка, за что Васю любишь?

— За то, что он добрый и хороший человек, — отвечала мать.

— А ты, Васька, за что мамку любишь? — продолжала Оля.

— За то, что у нее всегда развязка бывает а la Verqu-in. Ты помнишь, Оля, ту книжку, где добродетель всегда награждена, а порок — наказан?

— Не пронялся, — сказал предводитель.

— Не едет, однако, баронесса, — заметил

младший Лихачев. — Уж пора бы, восьмой час, скоро солнце сядет.

Руднев, который, отслужив свою гуманную службу при Баумгартене, приблизился опять к обществу, услышал этот разговор и спросил поскорей, вполголоса, у Феде: — Кого это еще ждут?

— А это, видите, баронесса Рабенштейн, мамкин друг.

— У вас все друзья, кажется! — тихо и не без досады сказал Руднев.

— Да, — продолжал Федя громко, — мамка у нас такой сахар-медович.

— Что ты говоришь там, Федя, про меня доктору?

— Он тебя, мамка, сахаром-медовичем назвал. Николай Николаич всегда тебя так зовет, ты знаешь... — отвечала за брата Оля, сидя на коленях у предводителя и дергая его за бакенбарды.

— Я сказал доктору, что баронесса тебе друг, мама! — объяснил Федя.

— За это стоит назвать вас сахар-медовичем, — заметил Милькеев. — Как можно без разбора всех, как солнце, озарять? Я очень

рад, что такие женщины существуют. Но под тем условием, чтобы их к себе на выстрел не подпускали люди другого рода.

— Баба дельная, — возразил предводитель, — таких женщин у нас немного! Вы ее знаете, доктор?

— Нет-с. Как я ее буду знать? — отвечал Руднев, уже взбешенный этим сюрпризом, и пожал даже плечами.

— Она оригинальна в своем роде, — прибавил младший Лихачев. — Она Фихте, говорят, переводит?

— Еще бы! Она так умна и учена! — сказала Катерина Николаевна, — так развита и так практична! Я даже и не понимаю, как можно так жить. Завидую ей. Вот муж-то ее покоен должен быть! У нее все записано на целый день, что делать: сколько поиграть на фортепиано, сколько прочесть, сколько яиц выдать повару. Дом свой как она отделала здесь в деревне! Она сама детей учит.

— У нее разве есть дети? — спросил Милькеев.

— Есть. А что? — отвечал Лихачев... — Не одни ли у нас с тобой мысли? Я сейчас думал,

что если бы у меня жена была такая, по табличке, так у нее не было бы детей... Ведь ее мужа нет здесь?

— Нет, он посланником при короле... каком-то германском, я все путаю...

— Ну, Бог с ним, — сказал предводитель, — я тоже все забываю... А видали, Катерина Николавна, как у нее лицо переменяется, когда горничная или слуга взойдет? Сейчас игривая такая с вами, один миг — и перед вами царственная строгость.

Каково было слышать все это Рудневу? Ко всем этим лицам он уже немного привык, они его мало тревожили... Все почти, по очереди, пробовали заговаривать с ним; всем, кроме Феди и Баумгартена, он отвечал немногосложно и сухо, и все как будто привыкли к нему; ужас его при мысли, что его будут рассматривать или занимать, почти прошел, и хоть не в своей тарелке он был, что ж! — уж полпути проехали. В глазах пестрота, в ушах шумно, многое любопытно и ново для него, и хотя все чуждо, страшно чуждо и холодно, но уже не так долго остается за свою слабость платить ежеминутной дрожью застенчивой

души!.. Все это можно вытерпеть дня полтора. Еще чаще заговаривать с Федей, с Олей, с капитаном, с французом... Но эта баронесса, знающая Фихте, посланница, твердая и гордая!.. Это что еще? И что он слышит? Она проведет ночь в палатке с Катериной Николаевной, а завтра утром едет, вместе с ними, и последний отдых у нее в доме?.. Нет, этого не будет! Верхом, пешком, на этой маленькой лодке, а уж он убежит, когда все лягут... Не даст он себя на поругание, не позволит себя свести в чужой дом, где на него будут смотреть как на лакея и где накормят его прекрасным обедом с тем же чувством, с каким накормят бульдога Феде, потому что он прибежал с Новосильскими. Нет, уж на эту-то штуку, чорт возьми, не пойду!..

Вот уж и коляска мчится четверкой в ряд... Маленькая, худощавая посланница выходит из нее и бросается в объятия Катерины Николаевны. Сама точно сделана из фарфора, как те старинные изящные куколки, которые ставились на каминах; белая, нежная, стройная, но что за презрительный очерк губ, еще сильнее, чем у Лихачева; у того хоть борода смяг-

чает эту многозначительную линию. «На! смотри, ты, жалкий плебей. Как там тебя зовут, не знаю!..» И какова гамма взглядов и улыбок? Все оттенки от восторга при встрече с Катериной Николаевной до рассеянности, когда Новосильская представила ей уже озлобленного Руднева... Скажите ради Бога, зачем это — детей расцаловала страстно, предводителю подала руку, улыбнулась и сказала: «А, и вы здесь, Николай Николаич; я очень рада», брату его только улыбнулась и подала руку, и ничего не сказала; Милькееву с достоинством и без улыбки кивнула головой и небрежно заметила: «Вы, кажется, пополнили с того раза». Баумгартену мельком кивнула головой; капитана, который ей кланялся чуть не в пояс, вовсе не заметила; а когда Катерина Николаевна движением руки указала на самого доктора, так ее лицо выразило: а! это еще что такое?

Все смущение Руднева исчезло. Лицо его, ей в ответ, выразило вдруг такое естественное презрение и строгость, что молодой Лихачев шепнул на ухо брату: «Каков доктор-то! Смотрите, как он взглянул на посланницу...

Нет! он, должно быть, ничего... Мал золотник, да дорог...» Милькеев, который, до приезда баронессы, сидел на подушке рядом с Катериной Николаевной, прислонясь очень удобно к березе, хотел было уступить ей свое место, но Катерина Николаевна удержала его и, посадив около себя, сказала: — Нет, вы сидите тут около меня, а Надя напротив сядет... У нее спина не болит, а мне ловчее с ней будет так говорить.

И этот легонький эпизод не ускользнул от зрителей... Младший Лихачов предложил доктору пройти и сказал ему: — Не солоно хлебнула! У Катерины Николаевны она долго не будет кобениться... Та как раз ее объедит, и утром завтра отличным шагом и курц-галопом будет идти!.. Пройдемтесь-ка!.. Теперь пойдет сушь, про Вену рассказы, и про Париж, про разную петербургскую дребедень... Пойдемте-ка!

Посланником небес и благодетелем оказался Рудневу в эту минуту Лихачов... Ночь располагала к откровенности... Они спустились с горы, и Руднев сказал ему: — Александр Николаич, у меня до вас есть просьба!

— Что такое? Очень рад, — спокойно и любезно отвечал Лихачов.

— Вы старика этого знаете, у которого лодку взяли? Вы с ним охотились.

— Приятели старые, а что вам?

— Мне что?.. Послушайте, я болен, мне дурно очень. Я непременно хочу уехать домой... Ведь от этой деревни до нашей верст тридцать?

— И сорок будет слишком!.. Что вам за охота? Посмотрели бы монастырь в большом лесу. Это интересно в своем роде. Не с религиозной точки зрения, конечно, а так, знаете: луговина большая, ручьи, кресты огромные с распятиями, по берегу ручья бор, подземные ходы, цер — кось большая и т. д. Ничего! Да и дом баронессы посмотрели бы; тоже недурной. В Троицком хуже, и беднее, и старее все. А у этой куклы порядочный вкус... Гостиная ее светло-зеленым штофом обита, и в самые стены вделаны большие медальоны четырех времен года... Отличные картины, а потолок немного сводом и с верхнего карниза лепной плющ на потолок ползет, и не на белом грунте, заметьте, а на розовом чуть-чуть, точь-в-

точь как зимняя зорька, когда встанешь на порошке. Ведь это очень красиво. Посмотрите все это... Может, вам лучше станет к утру. Да уж не стесняйтесь ли вы в чем-нибудь, так скажите. Я скажу Милькееву, и мы все устроим.

— Очень благодарю вас, Александр Николаич. Я верю, что дом хорош, а монастырь еще лучше; только уж, право, не могу... Я, право, нездоров. Как вы думаете, нельзя ли мне на лодке переехать и у старосты этого лошадей нанять?

— Это вам дорого будет стоить. Да и мордва эта ночью едва ли поедет... Лучше утром.

— Нет уж, Александр Николаич, благодарю вас; может быть, старик и свезет; я скажу, что от вас... Вы полагаете, что лодку можно взять?

— Если вы нездоровы, так нечего делать!.. Не хотите ли, я вас провожу... чтобы вы не плутали по озеру... Впрочем, видите тот огонек?

— Нет, я и сам найду, благодарю, Александр Николаич. Вот и лодка.

— Так смотрите же, прямо где огонек дрожит, вот тот, вон! видите?.. Озеро тихо, гребни-

те себе, валяйте прямо, да на старика и прикрикнуть можно. Вы с ним не слишком церемоньтесь... Он плут.

Руднев уже был в лодке, и Лихачов взял ее за борт, чтобы столкнуть своей сильной рукой с береговой мели, но вдруг остановился и сказал: — Захватили ли вы из дома деньги... на задаток? Если старый бедокур не повезет без задатка... Возьмите у меня рубль...

Рудневу и захватывать было нечего из дому... Не хотелось брать, ужасно не хотелось, но долго спорить было еще страшней... Голоса и смех раздавались на горке, колокольчик дворецкого уже звал к ужину... Прибегут их искать... Лихачев протянул ему руку с бумажкой, с какой: с рублем, синей или зеленой — и разобрать в темноте нельзя.

— Что делать! Спасибо тебе, добрый Александр Николаич, какой славный малый... Ах, чорт возьми! Чорт возьми, как славно!.. — шептал Руднев, уносясь по сонному озеру все дальше и дальше от праздничной горки. Огонек деревни все ближе, и красные огни костров все меньше. Боже мой! как хорошо на чистом, широком и привольном озере. Молодец

Лихачев, да и я молодец... Вот за эту решимость, так и быть, прощу я вчерашнему Рудневу его слабость. Пускай себе темно, и собаки лают... все лучше, чем там!

— Эй, старик, старик! Эй, ребята, эта крайняя хата старика Андриана?

— Эта! кто там?..

— Отвори.

— Да кто? Что за человек?

— Уж не бойтесь, не разбойник, не злодей, а я от Александра Николаича Лихачева к старику.

— А! ну, коли так, иди. Иди, отец мой! от Александра Николаича, иди, милый человек. Отвори ему дверь-то с лучиной... Как бы впотьмах не расшибся... Иди, иди, милый человек.

— Спасибо, спасибо тебе, молодец Лихачов!

При лучине посмотрел Руднев на бумажку и увидел, что она пятирублевая.

Старик, однако, не только сам не повез Руднева ночью, но когда на увещания доктора стал было сдаваться молодой сын его, старик закричал с печи: — Что ты! что ты, скоти-

на! Кто его знает, какой он человек... Ночью... долго ли до худа.

Сын вывел Руднева в сени и с сожалением сказал: — Уж ты лучше ночуй у нас, брат, ты не бойся... Худа от нас не жди, мы — мордва...

— Я не вас боюсь, я боюсь жару в избе, мух, тараканов...

— Экой ты какой... Ночуй... Вот ты нас боишься ночью, а мы тебя...

— Ведь у вас в селе священник есть?.. Проводи меня к нему.

— Как не быть священника! Пойдем, пойдем!

И к священнику постучался беглец в окно, и его испугал сначала, но потом был принят радушно. Отцу Семену самому было всего двадцать пять лет; он был белокур, кроток, и глаза его были совсем голубые. Жена у него, напротив, была большого роста, деревенская, грубая, крикливая, хотя тоже очень молодая. Но, несмотря на все это, отец Семен был свеж, весел и развязен, взял у Руднева папироску и, прохаживаясь перед ним по комнате и потирая руки от радости, объявил: — Наконец-то наша отсталая Россия проснулась! Все пере-

формировывать хотят! И, право, давно пора!

После полутора суток, проведенных на воздухе и в движении, Рудневу было не до разговоров; но надо было кротко объяснить, откуда он взялся и как ему стало дурно, и почему он не хотел остаться на той стороне озера; надо было слушать жалобы молодого священника на то, что книг трудно доставать и что мордву до сих пор причащать и исповедывать заставляют чиновники, что у мордвы развито сердце, а разум неразвит; что Катерину Николаевну он знает, что она ему кума, а Александр Николаевич Лихачев — отличный приятель... и пособлял ему не раз работниками, что в такой «сфере», как дом Новосильской, очень приятно бывать... Впрочем, отец Семен обещал завтра рано свезти его на своей лошади и уступил ему свою широкую кровать под чистым ситцевым балдахином.

VIII

Утром отец Семен подкрался взять со стола шляпу, чтобы идти служить раннюю обедню; но, несмотря на всю его осторожность, гость проснулся...

Бедный гость! Оказалось, что матушка больна, что надо ее посмотреть... Крестьяне узнали, что полуночник в самом деле лекарь и лечит; и нашло человек с десять — все молились долго на образ, а потом кланялись низко Рудневу; бедные старухи, у которых волосы росли внутрь век и которым нечем было помочь; дети с золотухой и нарываами; пришел один сильный мужик и говорил: «Живот-то, я тебе скажу, когда у меня начал пухнуть... это я прошлой зимой, на торгу, возле церкви шел, сказывали, фершел обронил порошки... одни жолтенькие, а другие серенькие... Я сереньких-то и попытал... Так, Господи, что случилось со мной — блевал, блевал... Да чего! Боров по двору ходил, так вот, при твоей милости сказать негоже, блевотину-то съел, так борова-то ворочало-ворочало по двору, насилу жив остался, сердечный». Красивая девушка, с прекрасными черными глазами, показывая лишай на щеке, сказала: «Сама собой ничего, а вот рыло-те больно благо!» Все бы это ничего, когда бы было что в руках, а то прописал кой-что, кой-что посоветывал, а другим у себя велел побывать... »Там, голуб-

чики, найдем что-нибудь!» И этим не кончились мытарства, в которых умный юноша почерпнул новое сознание своего бессилия и новые причины одиноких вздохов! Не он один страдал, конечно, но тем хуже для честного сердца... тем хуже, друзья мои... разве есть что-нибудь слаще на свете живого добра, которого плод — конец страданью перед исцелением!.. Не один он, конечно, страдает, давно это известно... ему и всем на свете!.. Но разве легче от этого?

Пока рослая матушка угощала его, на дорожку, чаем с баранками, вышел вдруг из соседней комнаты бледный молодой мужчина в очках и с очень светлыми волосами.

— Богоявленский, — рекомендовался он сухо.

— Это двоюродный братец мне, — объяснила матушка... Вот тоже, сердечный, без места...

«Неприятное лицо у этого бедного семинариста», — подумал доктор.

— Вы служили? — спросил он.

— Нет! — гордо и с кривой, язвительной усмешкой отвечал Богоявленский, — и наде-

юсь — не буду...

— Вы откуда?.. Вы в нашем губернском городе?.. Опять язвительная улыбка.

— Не кончил курс в семинарии, — перебил Богоявленский.

— У них философия книга такая есть, — заметила матушка... — Жалятся все, что очень трудно...

— По этому образчику вы можете судить, как ошибался отец Семен, когда сказал вам вчера, что наша отсталая Россия проснулась. Нет, еще ей долго не проснуться... России!..

Бледно-синеватое, недоброе лицо Богоявленского, его кривая улыбка, та неестественно гордая манера поднимать голову, которой страдают многие люди, надевшие очки — все это не могло никому понравиться; но отдаваться подобным тонкостям впечатления Руднев считал неблагородным, когда дело шло о несчастном человеке, и несовместным с своею собственной ролью в жизни.

«Неужели Лихачев будет добрее меня? — подумал он. — Нет, это не резон!» — Вы теперь не ищете ли частного места? — спросил он громко.

— И рад бы в рай, да грехи не пускают... куда прикажете за частным местом обратиться? Если бы я имел с чем доехать в столицу, — я бы не думал ни минуты.

— В университет?

— Конечно! Там — литературная деятельность, обмен, люди, есть из чего нужду терпеть... А здесь!.. Везде нужны деньги. Вот видите эту кузину мою, — продолжал он, когда матушка вышла... — На что вам хуже ее... а и то мужа себе купила.

— Мужа купила? отца Семена? — с удивлением спросил Руднев.

— То есть не она, а знаете кто? Мать ее покойница, добрая баба, поехала к куме своей, помещице Авдотье (Андревне) Забелиной, вероятно, вы слышали?.. Смочила платок слезами, объяснила, что не с чем в город ехать, жениха доставать для своей дочери; та, как натура славянская, широкая, отсчитала ей пятнадцать рублей серебром; на них эта старуха съездила да этого белокурого и достала. Мне, конечно, это все равно; но я слышал, как он вчера разглагольствовал здесь, когда вы чуть от сна на ногах держались; не люблю лжи!

Вот как его на днях дьячок отдедал, — этого не рассказал...

Заметив беспокойство и грусть на лице собеседника, Богоявленский продолжал: — А что! не сладко! не то, что в той «сфере», на горке?.. Да, то одна сфера, а это — другая!.. Большое разъединение сословий!.. Вчера славно было смотреть отсюда, как огоньки костров краснелись сквозь деревья... Решительно неподражаемо. Между мужиками произошел фурор... Именно другая сфера, другой мир, как звезды!.. Ха-ха-ха! не правда ли? Или вы придерживаетесь мнения Гегеля, что «звезды просто — прыщи на лице неба» и что выше человека нет создання во вселенной?

— Я Гегеля не читал, — скромно отвечал Руднев. — Но позвольте мне поискать вам что-нибудь, через кого-нибудь здесь в окрестности... хоть через дядю... или через Лихачевых... Ведь как же так жить?

— Ищите! Это дело доброе будет с вашей стороны. И спасибо вам; я с этой мыслью и вышел к вам... да вот вы сами начали. Спасибо; только добра-то нет ведь в сущности, а все эгоизм; ведь и вы для меня сделаете для того,

чтобы рисоваться перед самим собою.

Еще испытанье! Вот встреча! И опять бес-
силые! Руку-то есть охота протянуть озлоб-
ленному страдальцу, да где сила, где опора?..
О! дядя! велемудрый дядя! Нет, ты в самом де-
ле мудрец, и хорошие книги должны быть:
«Феатр света» и «Памятник Веры».

На крыльцо явился вчерашний дед и хотел
теперь везти доктора всего за два рубля, но
Руднев возвысил голос и скрипнул зубами.

— Довольно, ступай прочь! — сказал он де-
ду, подходя к поповской тележке, на которую
сама матушка постлала ковер.

— Батюшка, Василий Владимірыч, — сказа-
ла она ему, провожая его по двору, — поста-
райтесь для Алеши нашего местечко-то у гос-
под у каких. Убивается, бедняга, страх! У них
ведь дома семья большая; а батюшка их чело-
век старый, да и хмельной. Такую войну на
Пасхе подымет, беда... Сынку-то и больно. По-
старайтесь, батюшка!

IX

На горке побег Руднева нельзя было
скрыть надолго; Катерина Николаевна скоро

заметила, что его нет, и стала спрашивать о нем. Лихачев сказал, что молодой доктор за-немог и уехал.

— Что с ним? Где ж он? Может быть, ему нужна помощь? — спросила баронесса.

— Нет, не тревожьтесь, — отвечал Лихачов, — эта болезнь, кажется, душевная. Он очень бодро переехал на лодке на тот берег.

— Что это такое — спросили все друг друга.

— Не установился, должно быть, — сказал Лихачов. Иным поступок Руднева понравился; другие нашли его странным. Князь Самбинский сказал, что это не совсем вежливо; предводитель, — что это не беда; Баумгартен, — что оно очень таинственно и сообразно с теми претензиями, которые имеют русские, быть теперь самой поэтической нацией в мире; Милькеев предложил ему, по этому поводу, написать роман из русской жизни, в котором бы героем был «le fils d'un boyard et d'une serve»! Дети хотели послать за Рудневым, забывая, что в объезд по берегу, до той деревни, насчитывалось верст шесть; но Катерина Николаевна покончила все эти разговоры и споры тем, что пожалела Руднева.

— Это недаром, — заметила она, — что-нибудь его мучает. И какой сюрприз это будет бедному Владимиру Алексеичу, которому ужасно хочется ввести его в свет! Он его так ведь любит!

— Кто это Владимир Алексеич? — спросила посланница, — это — старый Руднев? Я никогда не думала, чтоб он что-нибудь чувствовал. *C'est une espèce de bibliothèque renversée!*

Все засмеялись и оставили Рудневых в покое. Катерина Николаевна еще с утра не раз задумывалась и была гораздо молчаливее и скучнее обыкновенного; ссора с Мильке-евым оживила ее на время; но чем темнее становилась ночь, чем ближе подвигался ужин и сон, тем чаще на глаза ее набегало облако, и раз она даже не слышала, что спросила у нее баронесса.

Поужинали; дамы и девочки ушли в палатку; мужчины и прислуга уснули где попало под деревьями, на шинелях и коврах, и кожаных подушках; только Катерине Николаевне не спалось; часа два пролежала она в палатке, на покойной складной кровати, прислушиваясь ко всем звукам, к ржанью и топо-

ту лошадей у коновязи, и вышла наконец на воздух, накинув только шаль на белую блузу. Ночь стояла темная, костер чуть тлелся в стороне. Терпела она три часа, хотела и еще терпеть, и не стало сил! Хотела она просидеть одна у костра на ковре и не тревожить никого, но и на это решимость длилась недолго. Ей надо видеть Милькеева, надо говорить с ним; завтра утром опять шум, опять люди, опять любезная хозяйка и вождь веселого отряда; целый день думала она о том, как бы остаться с ним надолго одной. Она зажгла спичку и, на тихом воздухе, едва прикрыв ее рукой, нагнулась к живой черной груде, которая была у ног ее... Вот севастиопольская бурка младшего Лихачова... (лишь бы он не проснулся некстати!) вот и кудри Милькеева из-под шинели...

Вот он спит, *сегодня*, при всех, хоть и поделом, но все-таки обиженный друг! Еще зажгла спичку: или не надо будить его? лучше не надо... Совсем было нагнулась, чтобы рукой его тронуть; но у Милькеева сон был самый чуткий.

— Это кто? Это вы? Что вы делаете?! — спросил он с удивлением и встал ..

Она уговаривала его лечь опять, раскаяваясь, но он отвечал: — Нет, ни за что! Я и так не спал. Бог знает, что бродило в голове...

Он сам отнес небольшой коврик подальше от палатки и поближе к костру, подложил еще хворосту, и они сели.

— Что с вами? Отчего вы опять не спите? — спросил он.

— Отчего? Вы бы лучше с удивлением спросили, отчего я сплю? Много ли я сплю и как я сплю? Впрочем, вы сами говорили всегда, что я не имею права ни на что жаловаться, что вы ни в каком случае жалеть меня не станете...

— Еще бы вас жалеть! Не принести ли вам еще что-нибудь на плечи?

— Не надо, сидите; скажите мне лучше, что мне делать, брать или не брать этого Юшу?

— Муж вас очень просит, отчего же не взять... Да и на что совет, — вы его слушать не станете. Вы сами все уже передумали...

— Вот потому-то мне и хочется узнать от вас, все ли я передумала. Я как безумная ждала ночи, чтобы хоть между сонными оста-

ваться одной.

— Что же вы придумали?

— Взять? — продолжала она в раздумье, — неравенство с моими детьми... зависть; быть может, он избалован; мать его была умна, но недобра и несимпатична; отец? Я бы вам сказала, что такое его отец! В кого ему быть, какое воспитанье!.. Ну, хорошо, исправим его. Все же страшно; уж наша жизнь здесь так хороша, не испортить бы ее как-нибудь. И это не беда; положим, я сумею опять все поправить... Другое придет в голову: покажется, что ребенок этот не по годам испорчен, что он моих детей всему грязному научит!.. Одно за одним, одно за одним. Придет мысль, поточит-поточит, вот здесь, и опять отойдет... Другая за ней...

— Да это просто вас раздражило все вместе. Езда верхом, жаркий день, наш давишний спор, быть может...

— Да! Если бы вы знали, что вы мне напомнили да-веча, когда так гадко выразились за обедом... Я понемногу, с годами, стала забывать свои старые впечатления. А теперь все смешалось у меня в голове: Юша, вы, мои де-

ти, как я мужа любила, как я его разлюбила, как я с ним рассталась... Я представила себе, что он захочет повидаться с Юшей, приедет сюда... могу ли я отказать ему в том?.. Дети уже забыли... По крайней мере меньшие. Маша? О, Маша ничего не забудет... Она молчит и не спрашивает об отце. И я, разумеется, не спрошу у нее, помнит ли она, как она отвечала, когда в Тифлисе гости спрашивали у нее: кто она? Она отвечала: «Маша, солдатская дочь!» Но, ручаюсь вам, что она помнит это!.. Я знаю, что я права, что для них и для людей я с ним рассталась. А сердце точит-точит, все спрашиваю себя: не лучше ли было бы его переносить? Может быть, он с годами бы лучше стал!

— А за что вы с ним расстались-то, я до сих пор толком не знаю? Неужели за какую-нибудь неверность?

— Нет, мой друг, я терпела все его неверности. И любила его, и терпела... Пробовала ревновать сначала и устала. Его и ревновать было трудно: он сам этого чувства не признавал между мужем и женою. Его правило было «vivons et laissons vivre!» Сам неверен, и в от-

чаянии, что я верна... Ведь я вышла за него глупая, невинная, совсем ничего не понимала, всего боялась... Любила его так, что без него отыскивала его старые перчатки, которые ремнями от уздечки пахли, и целовала их по полчаса; а он уверял, что взять за руку законную жену несносно.

— И сам никогда не ревновал?

— Он!? Да он был самый счастливый человек, когда видел, что я нравлюсь и была окружена. «Дай мне забыть, что ты жена моя, и я влюблюсь опять в тебя», вот что он твердил. И на Кавказе, и за границей, и в Москве — он старался из всех сил сблизить меня то с тем, то с другим. «Ради Бога, не компрометируй ты меня своей буржуазною привязанностью... К чему ты до сих пор не можешь не смотреть на меня при всех с счастливым лицом... Это грязно и еще хуже, *c'est ridicule, c'est roturier!* Это прилично жене какого-нибудь станового, любоваться на мужа». Как он расхваливал мне то того, то другого! Не было самых грязных вещей, которыми бы он не старался расшевелить мое воображение: заставлял меня Жорж-Занда читать; а я, вместо того, чтобы из

Жорж-Занда-то «гососо» взять, которое он бы хотел... взяла, как бы это сказать?

— Положим, готическое и стройное стремление вверх!.. — сказал Милькеев. — Вы и наружностью похожи немного на Страсбургский собор... Вы не сердитесь, однако, если я вам не шутя скажу, что он мне очень нравится, и я удивляюсь, как вы могли расстаться с таким блестящим человеком... И на том портрете, который у вас остался, в казацком платье, — какое славное лицо русского вельможи!.. Немного грубые черты, но сколько благородства и энергии... И притом он, говорят, отважный человек!.. Удивляюсь!..

— Он не знал, что такое страх, — продолжала Катерина Николаевна. — И доброта у него была, по временам, сильная... Федя на него очень похож: такой же веселый и храбрый... Но у Феди никогда, я надеюсь, не будет тех ужасных пороков, которые сгубили отца... Мой муж ничего не боялся: первый раз он был разжалован двадцати лет, по просьбе отца, который сам приезжал просить государя об этом... Не было шалостей, самых жестоких, которых он не позволил бы себе, когда прихо-

дила фантазия: стрелял в людей дробью, женщин, знаете, таких, выбрасывал из окна; потом осыпал их деньгами и раздавал деньги бедным товарищам и слугам... Шесть лет был он солдатом... Когда новый начальник приехал на Кавказ, — велел тотчас позвать его к себе, увидел у него на лбу рубец от кивера и спросил: «Что, Новосильский, тяжело?», — так он отвечал: «О! нет, ваше п-ство, отлично!..» Его оставили еще на год. Солдаты его обожали; в деле, мне говорили, он был страшен... Солдаты под Салтами ему сами присудили георгиевский крест, и начальство утвердило. Вот какой он был! Я тогда приехала с отцом на Кавказ на воды; отец мой знал его еще ребенком. Я вышла раз на балкон, вдруг подходит солдат и спрашивает отца; я говорю ему: «Подожди, на что тебе сейчас, папа спит!» И сама удивляюсь, что это за солдат — *comme il faut*. Я такая была дикая, неловкая, сентиментальная... По целым часам при лунном свете сиживала у окна и плакала о том, что никто в свете не может любить так, как я; или ночью на фортепиано играла, когда в трубе камина шумел ветер... Долго ли мне бы-

ло влюбиться, да еще и в такого героя... Ведь он в самом деле был герой! Отец мой сам влюбился в него; обвенчались; произвели его скоро, и уехали мы за границу... тут три года был все праздник и праздник! Во Флоренции танцевали, в Неаполе, Париже, на водах, везде были... И я похорошела, пополнела, и застенчивость моя пропала... Я прежде думала, что я урод, такая большая, черная, худая; и братья дома смеялись надо мной, все звали меня «вороной» и «madame фон Амстердам» — это тогда великаншу показывали за деньги, а «вороной» звали за то, что я была бестактна, что меня всякий мог обмануть... И после этих всех мелочей, понимаете, везде на меня все любят; в Рим мы въезжали в самый карнавал, в коляске... так итальянцы кричали: «как она красива!» и бросали мне цветы... Вот после какого-нибудь такого случая он дня на два влюбится опять в меня... А там, опять старается влюбить в кого-нибудь, чтобы я не плакала об его неверностях. Какой он был бесстыдный на все это! Раз мы ехали из Парижа в Saint Cloud в коляске: я, он и одна маркиза, по-моему очень натянутая и противная... Но он гово-

рил, что «такой он еще не знает — надо и такую узнать; что он в Париже в первый раз!» Пошел маленький дождик, она предложила ему пересесть к нам и поднять верх... В сумерках я не могла рассмотреть ничего, но слышала только, как она без стыда сказала, когда дождь перестал и велели открыть коляску: «nous avons йтй trop reureux», т. е. «trop heureux!» Он на другой день сам мне рассказывал, что они Бог знает что около меня делали!.. Бросил меня в Милане одну на целую зиму...

— И тут вы не увлеклись никем? Это непонятно! — перебил Милькеев.

— Нет, был в Милане один поляк высокий, бледный, лицом на Ван-Дика похож был немного. Он стал часто ездить ко мне, учил меня по-польски, говорил, что поляки должны быть для славян тем, чем французы были для Европы, что Пушкин перед Мицкевичем то же, что изящный афинский раб перед чистым и свободным римлянином; занимал у меня деньги, и я ему стала во всем верить... Начала думать: «Что ж? Если мой муж будет рад, и поляк будет рад, и я буду рада?» Толь-

ко был тоже в Милане тогда один француз, именно un petit francais — Charpentier, всем он был petit и мне вовсе был не по сердцу, однако он что сделал? приехал к Злотницкому и сказал: «Или завтра стреляйтесь со мною насмерть, или уезжайте отсюда, чтобы Новосильская вас забыла!» Злотницкий, не протысь, уехал, а Charpentier я перестала к себе пускать. Так и осталась, все-таки назло мужу, верна.

— Все это презанимательно, — сказал Милькеев, — только я не понимаю, за что вы с ним расстались и чем я давича напомнил его. Я все о себе беспокоюсь! Хоть до сих пор это сходство было для меня вовсе не обидно.

— Вы сказали давича, что не купите лекарства мужикам... Отчего вы не сказали: людям вообще? Я понимаю, что это все равно; только если бы вы сказали просто людям, меня бы это, кажется, не так испугало и оскорбило... Из-за крестьян мы с ним и разошлись... Пойдите, впрочем, я лучше по порядку вам буду рассказывать, как его характер все хуже и хуже портился.

— Вы смотрите, не озябли ли... Скоро заря

займется — холодно.

— Что вы! Я вся горю! дайте руку... Видите... Ну, пустите теперь руку и слушайте... Приехали мы опять на Кавказ: он без своей службы и войны соскучился, и через год опять его разжаловали.

— Это еще за что? — с удивлением спросил Миль-кеев.

— За пустяки... У него был соперником один генерал... Толстый, глуп очень, *bon vivant* из себя представлял и за мной ухаживал и за Имеретинской, княгиней одной. Он так был толст и глуп, что никому не мог нравиться: вздумал меня раз не пускать верхом ехать и лег у ворот дачи ничком, а я и перепрыгнула через него. После жалко стало, но та грузинка его и не жалела даже, и где же ему было с моим мужем спорить... Мой муж был так находчив, так остроумен, стихи даже очень недурно писал... Раз в маскараде он был просто в своем казацком платье и подал ей стихи. Я их помню: Я много жил в немноги годы И школу жизни изучил, Но в вихре светской непогоды Прямое сердце сохранил.

И верьте, средь забав нестрогих Я многих,

может быть, любил, Но уважал немногих.

и подписался: «уважающий вас казак-стихотворец». Недурно ведь?

— Да, кстати, по крайней мере! — отвечал Милькеев.

— Вот раз мой муж сходил с лестницы от товарища с другим офицером, немного пьяный, а генерал ему встретился, щолкнул по воротнику и говорит: «Что поручик, залито?» А муж мой его по лбу ударил: «Что, генерал, пусто?» За это и разжаловали опять... Опять начались эти экспедиции, слезы; Маша родилась, в плен его взяли, насилу выпустили — это я вам в другой раз все расскажу. Тут он стал гораздо злее: выпрыгнул раз из окна одной дамы, днем, растрепанный и без фуражки, чтобы опозорить ее... Народу на бульваре было множество. Сорвал раз со стены мундштук и прибил меня из-за вздорного спора; я хотела уехать, но он раскаялся и даже плакал. Я осталась, и мы уехали сюда... Здесь он что начал от скуки делать! Если бы вы знали! Это передать трудно. Я читала, занималась детьми; цветники и зимний сад разводила; Оля только что родилась, а он стал пить и иг-

рать в уездном городе, пропадал по неделям, сек и бил людей, заставлял запрягать себе, как он называл, «обывательских» лошадей по восьми разом в карету; вздумал, наконец, собирать с крестьян по рублю с души в месяц каких-то столовых, потому что денег ему всегда было мало. А я в Троицком выросла, всех людей здесь знала, отец и мать здесь жили, я любила здесь все... Я сказала ему, что дети такого примера не увидят, и люди не должны больше ничего терпеть... чтобы он ехал отсюда, что я заплачу все его долги; он чуть не убил меня, но я уехала с Машей к брату в Москву... А тех детей он не дал. Брат мой придумал уловку: пригласил его через полгода в свой дом на свиданье с теми детьми, — я их увела через сад, посадила в карету и уехала сюда, а у брата в руках оставила к мужу письмо, в котором объявила ему, что для детей и крепостных моих я не пощажу его и, как он сам знает, могу про него такие тайны и такие насилия обнаружить, что ему лучше согласиться на мои предложения. С тех пор мы больше не видались; я знаю, что у него кроме жалованья ничего нет; узнала, что ему три го-

да тому назад ногу оторвало ядром, хотела было ехать в первую минуту, да образумилась и послала ему только денег через третье лицо. Он, разумеется, знал, что это от меня; но он настолько умен, что не благодарил и пишет только иногда об детях к брату... Вот вам, Вася, моя жизнь!.. Вот вам мой муж!

— Какая полная, пышная жизнь, — в раздумье сказал Милькеев, — сколько пользы сделал вам этот человек! Я понимаю индусов, что они строили храмы Злу!.. Что ж вы сделаете теперь?

— Насчет Юши? Я придумала вот что; не знаю, как вы найдете. Пусть его присылает с верным человеком, но чтобы сам муж мой не ездил сюда, иначе я несогласна, деньги на воспитание мне не нужны; а то, что от матери Юши осталось, пусть пришлет; я спрячу их, а он истратит. И чтобы в воспитание ребенка и не думал никогда мешаться; но я увижу через год: если он будет вреден моим детям, я его, как ни жалко, а держать не стану!.. Он знает меня, и сам, в добрые минуты, звал меня прозрачным хрусталем, я уж постараюсь!.. Хорошо придумала я?

— Я удивляюсь, зачем вы спрашиваете у меня совета? Вы так хорошо сами умеете и думать и делать!.. — вздохнув, отвечал молодой человек.

— Все-таки спокойнее, когда другой ободрит. Завтра же, в монастыре, напишу письмо!

На другой день в живописный монастырь приехали прямо перед всенощной; все, кроме Катерины Николаевны и Маши, сказались усталыми и остались в гостинице за оградой, но мать и дочь отстояли всю службу за огромной колонной в тени. Глядя оттуда на свечи перед золотым иконостасом и на седых монахов, которые становились посреди церкви полукругом и пели густыми, согласными голосами, они обе молились, плакали и клали земные поклоны.

Х

- Нет, у нас лучше! — сказал себе Руднев, отворяя дверь свою и спускаясь по двум ступенькам в пристройку... Опять обдало лицо родным, смолистым запахом, и, как в таинственном святилище, спущены занавесы темно — зеленые на веселых окнах... Книги! Вот

они здесь, верные, однообразно-глубокие друзья!.. Ждут, бедные, и будут ждать всегда, без ропота, готовые доставить наслаждение... Куда как книги лучше людей!

Он был счастлив, вступая в свою скромную твердыню, но грустный вид его, его утомленное лицо испугали дядю... Руднев ждал этого испуга; еще верст за десять до дому стал он с горечью ожидать его, приготавливая то долгий рассказ, то отрывистую отговорку.

— Грудь? Голова? Мяты? Кашель?..

Как это нестерпимо создана жизнь, что от самого преданного человека нет возможности скрыться!..

— Ничего, ничего... пройдет... ничего! — повторял он внушительно, уходя от дяди, и дядя слышал, как он два раза щелкнул замком, запирая дверь в свою пристройку.

«Ну, Бог с ним!.. Пусть отдохнет. Или уж не обидели ли его чем; бывает это», — думал старичок, вспоминая, как лет шесть тому назад одна дама обратилась к нему очень ласково: «Любезный, вели моих лошадей подать», и когда Владимир Алексеевич с неудовольствием отвернулся, дама сказала: «Ах! какой ты

невежа!.. Я тебе говорю, чудак, лошадей!» Но Владимир Алексеевич — человек опытный и с характером. Вынув из кармана старинную золотую табакерку, он измерил насмешливо даму с чепца до оборки шелкового платья, которое она волочила за собой по полу, и заметил ей тонко: «Если я не ошибаюсь, сударыня, вы ошибаетесь!» и вслед за тем прошел мимо нее, играя старинной табакеркой, и вступил в гостиную.

— А он молод — неравно и сробел!.. Доктором, поскорей надо доктором стать... Тогда всякий: с искренним почтением и величайшей преданностью, милостивый государь, имею честь быть, ваш покорный слуга!.. И на конверте пишется: «Его высокоблагородию, милостивому государю, Василью Владиміровичу Рудневу».

К обеду взгляд племянника стал гораздо добрее и лицо не так бледно; покушав с аппетитом, он сам завел разговор.

— Знаете, дядя, предводитель предлагал мне похлопотать о месте окружного врача... Я обещал подумать... Дня через два не дадите ли вы мне беговые дрожки... Небось дадите?

Дядя только улыбнулся на этот последний вопрос.

— Я думаю, вы правы, что без источника нельзя... Все-таки триста рублей в год! Да и кстати, хочу замолвить слово об одном семинаристе, которого я встретил у отца Семена: не найдется ли ему место учителя где-нибудь.

Не стоит и объяснять, как рад был дядя такому намерению; с радости он было хотел спросить: «а что по истинной правде, какие побуждения были к подобному побегу. .», но та внутренняя задвижка, которая с такой силой запирает вдруг душу людей осторожных, спасла Руднева от противного вопроса и смущения.

Шум, пение, пляска, зеленый двор, столы на козлах, уже почти опорожненные; розовые, синие, красные сарафаны и рубашки, золотые сороки, свист и топот женщин; черный плис и светло-зеленые поддевки молодцов... ран-жевые кафтаны мордочек с шариками пуха в серьгах — вот что встретил Руднев, въезжая во двор Лихачевых... Предводителя, к несчастью, не было дома: так сказала ему у ворот одна чернобровая в малиновом сарафа-

не и парчовой повязке... и указала на Александра Николаевича, который, как всегда в поддевке, сидел у своего крыльца на бревне, рядом с простой старухой и курчавым молодым барином в голубом бархатном чекмене.

Перед ними толокся под гармонию тот самый здоровенный дед, который не хотел везти Руднева ночью.

— Довольно, дед, плясать, довольно, — говорил сухо, Лихачов, — надоел уж ты... Как толчея какая-нибудь перед носом...

— Друг ты мой! — вскрикнул старик.

— Чисто что друг! — отвечал еще суше Лихачев, вставая и отстраняя слегка плясуна, который хотел обнять его, прибавил, — смотри-ка, кто приехал.

— Кто? голубчик мой! Кто для меня есть на свете кроме тебя!

— Это все так!.. А ты посмотри, доктор приехал... Он в стан ездил на тебя жаловаться, что ты избидел его ночью... Говорят, становой скоро будет за ним... Ведь доктор-то колдун: захочет, навек испортит...

— Ой! не стращай ты меня, старика, — с веселой улыбкой, припадая к плечу Лихачева,

шептал дед.

— Довольно, пусти... Смотри, вон он слез с дрозжек, идет... Хоть и мал, да в рот ему палец не клади...

— Не положу, голубчик мой... не прикажешь ты, я и не положу... Все по-твоему будет! Все по-твоему. .

— Однако ты не на шутку пристал ко мне! — говорит Лихачев, подвигаясь вперед не без труда, потому что пьяный старик почти висел на нем. — Пусти мою руку... Эй, девушки, девки! Хоть бы вы заступились... Дед-то меня вовсе уж одолел!..

Несколько баб и дворовых девушек бросились на деда и оторвали его от барина, который поспешил навстречу давно уж с беспокойством озирававшемуся гостю.

— Девушки, голубушки! Пожалейте старика, — твердил дед, — нет ли, как третёвадни, помадки у вас...

— Есть, дедушка, для вас есть... Настя, беги, носи живей помаду... На-ка, выпей еще браги пока.

Настя живо принесла помаду. Старик на-помадил себе голову, усы и бороду, нюхал ру-

ки и приговаривал: «Эх, как годно! Эх, тоже!», выпил браги и пустился снова плясать, припевая тонким голосом, как женщина: Распомадил, раздушил' Красных девушек смешил — Bravo! Важно! — воскликнул, подкапывая под лоб глаза, помещик в голубом чекмене... — Валяй, валяй!..

Девушки хохотали. Пение, свист, балалайка, гармония, крики и смех поднялись вдруг со всех сторон с новой силой и восторгом.

— Вашего брата нет дома, — скромно сказал Руднев Александру Николаевичу, стараясь отворотиться в сторону. — Я к нему по делу...

— Вероятно, он будет сегодня дома... Подождите его здесь, или пойдите в дом... Здесь не лучше ли? Вот, рекоменую вам, известный всем в околотке, по своему разврату, Сарданапал...

— Чорт! — отвечал бархатный чекмень, на которого разумеется, указывал этими словами Лихачов... — Напрасно, вы, доктор... (очень приятно познакомиться) с этим дьяволом...

— Это кого? Кого? — подбегая, спросил старик. — Это ты Александра Николаича так?..

тъфу ты, окаянный, ругаешь...

— Я тебе сказал, дед, чтоб ты отвязался, — строго заметил Лихачов, — надоел ты всем, как горькая редька... Доктор здесь... помни! Ступай, старик!.. Сядемте на крыльцо, нам сюда принесут чаю.

Они сели, а Сарданапал пошел в толпу, где наряду с крестьянскими парнями, опираясь на плечи хороводниц, подпевал и веселился.

Руднев объяснил Лихачеву свое желание быть окружным врачом на место г. Зона, просил его напомнить брату о том разговоре в избе, на ночлеге, в котором предводитель сам предлагал ему это место, и сказал, что оно ему особенно нравится тем, что, может быть, келейно разрешат жить в деревне...

Хотя лицо Лихачева было красно, но свежие глаза его доказывали, что он сохранял все присутствие духа трезвого человека.

— Жаль, что брата нет, — отвечал, — он бы вам все лучше растолковал... Впрочем, я думаю, вам самим нужно видеться с Зоном и поручить ему обделать это дело в Петербурге... Да брат вам это устроит... Э-э! Акулька пляшет, это интересно... Не хотите ли посмот-

реть?

С этими словами Лихачов тростью постучал в окно флигеля и закричал туда: — Милькеев! полно тебе газеты читать... Какая скука! Акулина пляшет... Довольно... Оставь свое педанство! Хуже деда надоел с своим чтением.

Милькеев вышел и поздоровался с Рудневым. При виде этого разговорчивого и беспокойного человека Руднев испугался, чтобы он не спросил у него, зачем он тогда уехал; но Милькеев, пожимая ему руку, не сказал даже ни слова.

Акулина была вдова, лет под тридцать. Продолговатое лицо ее было смугло, прекрасные серые глаза и томны и веселы по желанию; одета она была не богато и не бедно; всегда веселая, трудолюбивая и добрая, она была любима всеми, начиная с господ... Любовников у нее было множество; иногда ее били, но все это забывалось скоро, и она опять плясала, пела, смешила всех и работала, припевая.

Она плясала с упоением и приговаривала беспрестанно то то, то другое, подскакивала к пожилому столяру, который то мчался к ней, расправляя бороду, то многозначительно то-

локся на месте...

Уже месяц взошел; запахло коноплями. Все молча, тихо любовались на пляску.

— Чем я не баба? — кричала вдруг Акулина. Или вдруг обращалась к столяру: — Поправь бороду... Я бородку люблю...

Махнув платком в сторону молодых господ, она сказала вполголоса: «Знакомые люди!» — Сарданапал, — сказал Лихачов, — это на твой счет... Ведь ты был один из первых... Милькеев, как бишь это у Шекспира... тот говорит... ну — Фальстаф.

— Уж ученость-то, ради Христа, оставь, — закричал Сарданапал, — мало вам было сегодня... Вы с Милькеевым мало разве об инфузориях электричества толковали... Просто смерть мне вас слушать... Зачем камень летит книзу, а не кверху?

— Всякому свое, Павел Ильич, — отвечал Милькеев, — у вас одно, у других — другое... Вы — специалист по вашей части...

— У него разделение труда в доме доведено до крайности, — заметил Лихачов, — Паша, Настя, Катюша, Февронья, Хавронья... Это не шутя, у него есть Февронья и Хавронья.

— Февронья летняя, худенькая, а Хавронья зимняя.

— Нет, ты расскажи-ка лучше, как ты своими незаконными детьми выселки хочешь селить?

— И поселю; что возьмешь?

— Чорт знает, что это такое, — прошептал Милькеев, отходя прочь, — нам, доктор, в одну сторону, кажется? Поедемте вместе в тарантасе, а на ваших дрожках какой-нибудь мальчик за нами доедет... Лихачев даст мальчика... Мне очень нужно с вами поговорить... Где он? Лихачев?

Но Лихачев не отозвался, потому что приятель его, старый дед, совсем пьяный, заснул пренеудобно, вниз головой, свалившись с сена в углу двора. Милькеев и Руднев увидели, как Лихачев вдвоем с кучером бережно отнесли на руках тяжелого старика под навес и уложили его в прохладе и покое.

Народ разошелся почти весь со двора, оставив в душе Руднева очень грустное впечатление, в причине которого он и сам не мог дать себе отчета. Сарданапал насилу держался на ногах и бранился; Лихачов отправлял его

спать... С деревни еще слышались песни... Луна была высоко, и Рудневу страшно хотелось быть поскорее в широком поле. Достали какого-то мальчика для беговых дрожек, и молодые люди, севши в тарантас, видели, как Лихачов, едва простившись с ними, скорыми и твердыми шагами пошел на деревню в ту сторону, где допевались песни.

— Нравится он вам? — спросил вдруг Милькеев, проводив его глазами, пока было можно в темноте. — Ведь молодец?

— Мне кажется, что общего тут мало, — отвечал Руднев.

— Мало-то мало... Да у него это иначе, чем у других выходит... Я ему завидую страшно!.. Мы все уважаем да жалеем народ; а он просто любит его и даже не знает, что глагол «любить» идет к его манерам.

XI

Ехать им вместе приходилось верст двенадцать; было, когда поговорить. Милькеев завел разговор сперва об университете, о физиологии, попросил совета себе от головных болей, хвалил деятельность провинциального

врача и потом вдруг спросил: — Отчего бы вам не служить в Троицком? Мне поручено вам предложить это. Я ведь сам хотел ехать к вам. Ваша суровость отталкивает всех, и дядя ваш отказывается вас уговаривать, но я хотел испытать над вами свое красноречие.

— Я уже знаком с вашим красноречием по тому разговору в липовой роще.

Если бы не ночь, Руднев увидел бы, что сосед его покраснел.

— Однако вы не только суровы — вы и язвительны, — отвечал он, — впрочем, это ничего. Давеча я еще сказал этому болвану-Сарданапалу: всякому свое: кабану — клык, волку — зуб, а лошади — копыто. Только вы меня не язвите — это не подействует. Вы лучше мне скажите, почему вы не хотите в Троицкое? Вы нас всех, признаться, заинтересовали вашим ночным побегом. Знаете, это — своего рода сила. Многие люди идут на смерть, на труд, но на внезапное нарушение приличия и рутины — решатся очень немногие. И мне и Катерине Николавне это очень понравилось.

«И мне и Катерине Николаевне!», подумал Руднев: «вот как! Я-то, я-то!.. А ведь какая у

него приятная, добрая улыбка и какое выразительное лицо!» — Я считаю это скорее слабостью, чем силой, — заметил он громко.

— Это делает честь вашей скромности; но это та же теория, что самоубийство — слабость, а ослиное терпение — сила; а не хуже ли всего презирать себя и олицетворять что-нибудь безличное и пошлое. Не правда ли?

— Не знаю-с.

— Ну, полноте! — сказал Милькеев, — ездите-ка в Троицкое почаще. Если у вас есть какие-нибудь язвы, они заживут там. Такого общества, как наше, вы нес скоро найдете. Александра Лихачева вы видели и понимаете немного, а брат его, предводитель, разве дюжинный человек? Он должен найти лазейку в вашу душу уже потому, что кончил курс с золотой медалью в Москве, жил в самом мыслящем кругу еще студентом, отказался от кафедры и уехал сюда, подобно вам. Дворяне как-то умудрились его оценить, выбрали его, и так как имение почти все не его, а младшего брата (они ведь от разных матерей, как вы знаете), так дворяне дают ему от себя пять тысяч в год. Где вы это найдете?

— Знаю, давно знаю, — отвечал Руднев. — Знаю также, что он и прошлого года, и третьего года на следствии высек крестьян. Видно, жаль было с пятью тысячами расстаться!

— Катерина Николавна упрекала его за это, — продолжал Милькеев, — и сказала, что лучше бы оставить должность тотчас же. А он ей отвечал хоть и грубо, но неглупо: «Вы переплели в рамку спину мужика, повесили на стену и любуетесь ей. По-вашему — брось дело, только не марайся; а по-моему — замарайся лучше, да держись за дело, в котором ты лучше многих». — «Вы, говорит, Катерина Николавна, — дух, а я плоть». Больно, а надо ведь сознаться, что это нерешенный вопрос, и надо еще знать, лучше ли будет крепостным, если у дворян будет другой предводитель? Одного овса сколько передавал бедным взаймы! Впрочем, Бог с ним! Главное, *она* - она фон, на котором вышивается вся эта жизнь, неподвижная звезда, без которой ничего на планете не жило бы и не двигалось. Она совершенна до бесцветности. Ее даже невыносимой нельзя назвать, как других слишком хороших женщин: ее лень и маленькие малодушия об-

ворожительны, ее все любят. Вам надо ездить к нам непременно.

— Благодарю вас за вашу заботливость; но ездить к *вам*, не знаю, зачем я буду. Не для того ли, чтобы навести уныние на все это *ваше*... как бы это сказать...

— Не знаю, за что это вы мне все колкости говорите! — мягко и ласково отвечал Милькеев. — Я к вам, а вы от меня, — прибавил он так простодушно, что Руднева схватило за сердце.

— Ну, спасибо вам, коли так! — сказал он, вздохнув. — Да знаете ли что? Вы вот ее хвалите что-то очень. Знаете ли что? К мужикам-то она везде будет добра! Мужик-то не *mauvais-genre*. Ему дал отдых, да денег, да два добрых слова сказал, так и квит. А ведь гроза этих аристократов — мы... мы... Вот где реактив-то для них химический, в нашем брате, то есть в моем. Вы, конечно, сюда не относитесь.

Милькеев усмехнулся.

— Значит, я и понимать вас неспособен в подобных ощущениях?

— Ну, понимать, поймете авось. Так я гово-

рю, что мы-то, мы — сорная трава, которую надо им выполоть из своей обстановки. В нашем брате внешней поэзии нет. А ведь с одной внутренней далеко не уедешь, хоть тресни! Еще хуже, как сыпь какая-нибудь на грудь падет. А ведь мы гордые, хотим сидеть с ними рядом и в разговоре не спускаем. Мужик, тот пришел на двор, выпил водки, поел, и доволен. А наш брат норовит, как бы своим плебейством гостиную их осквернить. Здесь еще терпят: на безлюдье и Фома дворянин, а приезжай-ка к ним в Петербург да смутись раз, смутись два, а на третий и скажут — нездорова, не принимает.

— Вас, как доктора, всегда примут.

— Э, помилуйте! А вы еще светский человек (извините, я это ведь без злобы). Как же вы не понимаете, что это-то и скверно: когда я хочу ехать в дом, я хочу, чтобы меня там желали видеть как гостя, а не как доктора. Кому же охота олицетворять собой гофманские капли, горчичник или слабительное? А, не так ли? Ну-ка, ну-ка! Пускайте в ход вашу элоквицию. Я вот у вас метафорами позанялся. Только, пройдя сквозь меня, они приняла, так

сказать, несколько топорный характер.

— Ну, так что же? Они правы, — отвечал Мильке-ев. — Я сочувствую им. Что же за охота наполнять свой дом бесцветными людьми, отнимать у него всякую поэзию. Мужик поэтичен, руки его испорчены благородной, земляной работой, и под грубой кожей можно всегда видеть красивый очерк этих рук; его одежда, его кудри, его телесная свежесть и наивная грубость — разве можно сравнить это с каким-нибудь секретарем или учителем! На что они? Если мне нужно эксплуатировать их для какой-нибудь государственной или общественной идеи, тогда другое дело, а то зачем я с ними буду связываться? — скучно! Я беден и, конечно, как видите, незнатен, но я всегда удалялся от них, сколько мог. И не я один так думаю; недавно я спросил у miss Nelly, за кого бы она охотнее вышла замуж: за молодого швейцарского мужика или итальянского рыбака, или за Баумгартена? Она пришла в ужас и сказала: «разумеется, за мужика, лишь бы это было в хорошем, теплом климате и места были бы красивые, где мы будем жить, и лучше за швейцарца, чем за итальянца. Je n'aime

pas ces hommes noirs du midi, ces hommes cuits...» — Говорите по-русски, я вашу французскую фразу не понял.

— Не притворяйтесь. Я вам ее не повторяю, а выслушайте дальше. Она еще сказала: «Я люблю высоких, сильных, белых».

— То-то вы, я думаю, пожалели в эту минуту, что вы не белокурый?

Милькеев захохотал и подал ему руку.

— Вот так-то лучше! — сказал он. — Это по-нашему. Это жизнь! Вы еще не совсем пропали для жизни. Я ручаюсь, что вы прикрываете отговорками менее высокими и просто самолюбивыми идеи высшего разбора, которых вы не хотите метать перед всяким. Я могу вас уверить, что я постараюсь не быть всяким, если хотите...

— Постарайтесь узнать эти тайные побуждения мои, тогда и будете не всяким, — отвечал Руднев, уже шутя, — вот дядина деревня. Вы ведь, батюшка, верно, ночуете у меня? Доставьте уж мне это удовольствие.

— Доставлю, если вы мне обещаете не говорить больше «батюшка»: точно один мой бывший товарищ с бакенбардами, который

нюхал табак. Вам это совсем нейдет.

— Ну, так я вас буду звать «отец мой», если позволите.

— Это другое дело! — отвечал Милькеев.

Владимир Алексеевич просиял, увидев троицкого учителя (нейдет ли уж дело на лад?), предложил ему чаю с свежим маслом и яиц всмятку.

Милькеев был с ним почтительно любезен, ни слова не сказал о своих приглашениях в Троицкое; кстати перелистал «Памятник Веры» и рассказал одну легенду про Иоанна Златоуста; ел много масла и яиц, пил много чаю; рассказал еще несколько новых анекдотов про доброту Катерины Николаевны и заснул на диване, как дома. Обоим Рудневым он очень понравился на этот раз.

«Искательный! Не без искательности! Очень искательный», — думал дядя.

«Молодец он, однако! — думал племянник, — как с ним весело! Интересно бы знать, как это он дошел до такой свободы и веселости? Ведь все-таки он скорее нашего поля ягода, чем плод троицких теплиц... Это интересно!» Поутру он предложил Милькееву дядины

беговые дрожки и сам поехал провожать его до реки верхом, не забывши раза три попросить его о месте для Богоявленского.

Подъезжая к Пьяне, Милькеев указал ему рукой на реку и бор, на сады, узорные цветники и красный замок, которые сияли в полном блеске утра, и произнес, сверкая сам своими загадочными, серыми глазами: Бросься в море, кинься смело, Весл взамену две руки, Грудью мощной и дебелой — Волн пучину рассеки ..

— Ну-с? — прибавил, встряхивая кудрями.

— Я готов верить, что Троицкое — пучина веселья, да я-то... Да моя грудь не дебелая... Прощайте, отец; спасибо! Ко мне всегда милости просим, если не скучно, а туда уж не тяните за душу... Прощайте!

И с этими словами, повернув лошадь, ударил ее плетью, а Милькеев рысью и задумчиво спустился к мосту.

— Что, ваш барин всегда скучный или веселый бывает? — спросил он на мосту у мальчика, который провожал его и все время молча сидел за его спиной.

— Бог их знает. Не могу я знать, когда гос-

пода бывают скучны или веселы.

— А не сердит?

— Не слышать что-то. На кого им сердиться! У нас людей-то всего четверо: старик да я, Филипп да кухарка.

Возвратившись в Троицкое, Милькеев сказал Катерине Николаевне: — Какой, однако, тонкий этот Руднев. Нарочно не поехал со мной в беговых дрожках, а верхом, чтобы и вежливость соблюсти, и на двор к вам не въехать.

— Он меня самое очень интересуется, — отвечала Катерина Николаевна. — Этот побег ночью не выходит у меня из головы, и потом я имею слабость ко всему исключительному — эта мать-крестьянка не раз ему поможет в жизни. Где после этого зло, а где добро, Василиск? Что ж вы, дайте, я вас в лоб поцалую.

— Я вам сколько раз говорил, — отвечал, подставляя лоб, Милькеев, — что зло — отличная вещь, да ведь вы — *l'ami des enfants*... Сыграйте-ка лучше что-нибудь из Нормы на рояле, а я до урока пока посибаритствую в вашем кресле!

ХII

Уж скоро год, как Руднев врач не только по праву, но и на деле. Зон прислал ему скоро ответ и двадцать пять рублей сдачи.

«Остальное, — писал он, — пошло на подмазку. Я очень рад, что это нам удалось; жалованье, конечно, невелико, но вы можете иметь хорошие доходы при наборах» .

Ему разрешил келейно окружной начальник жить в деревне, и в первое время ему казалось, что он достиг своего идеала.

Жизнь дома, чтение, одиночество, от поры до времени ободряющие разъезды — чего бы лучше? Но скоро он нашел, что на казенной службе он мало может сделать пользы: он один на несколько тысяч человек, на три уезда, больниц нет, аптеки не в порядке, фельдшера пьют и взяточники. Но если чиновник был бессилен, если у него часто болела чистая душа при взгляде на недоверчивые лица крестьян, которые, глядя на него, казалось, шептали: «Эх ты, лекарь, лекарь! какой ты лекарь!» — зато уединенный мудрец был свободен, и за бесплодные объезды, за статистические списки, которые он, по совету ближай-

шего начальства, выдумывал сам — получал он триста рублей; и коробочки, банки и бутылки стояли в шкапу уже не пустые и печальные. На них теперь были докторской рукой надписаны латинские ярлычки, и даже показалась банка с хинином и другими дорогими лекарствами. Эта банка досталась ему после небольшой борьбы: хотелось красивую зимнюю шапку с немецким бобром купить.

— Да что за вздор, и в старой бараньей похожу! Что мне? Сыт у дяди, живу тепло, одет тепло, из старой студенческой шинели перешил себе серую поддевку, как у Лихачева (славная мысль!) и не забочусь ни о галстухе, ни о жилете, да и панталоны, впущенные в сапоги, меняют характер и дольше служат!

В неспешной, обдуманной деятельности и в блаженстве одиночества проходили месяцы незаметно, сливаясь в однообразное прошедшее. Появление какой-нибудь новой баночки с новым лекарством в шкапу, мелкие открытия, неожиданная радость на собственный успех и ловкость были целыми праздниками.

— Василий Владим1рыч наш затрубил аж! по комнате ходит! — говорил Филипп в люд-

ской мальчику.

Но если б знал Филипп, отчего так трубил и пел Руднев, гордо прохаживаясь по комнате!

Сегодня женщина из-за десяти верст приехала и сказала: «Вот сношеньку посмотри мою теперь; а я, дай Бог тебе здоровья, жива от твоих порошков стала», и сам Филипп передал ему, что невестка у дворни имя его спрашивала, чтобы просфору за его здоровье вынуть.

Большая часть его жалованья тратилась на приходящих больных, и он, не имея возможности справляться о средствах каждого, полагался на их добросовестность.

— Можешь ты заплатить — так не отнимай у другого.

— Могу, — говорил крестьянин, — дал бы Бог здоровья, а за деньгами не постоим. Вылечи только!

Тогда Руднев прописывал рецепт, но за «труды», несмотря на мольбы больных, не брал. А тому, который вздыхал и, падая в ноги, говорил: «не могу», Руднев отсыпал из своих кровных баночек и коробочек. И ни за ка-

кие деньги и почести не променял бы он этого честного самолюбия, которое в его глазах давало ему право существовать на свете, и полежать с книгой на диване и поесть с двойным аппетитом, и с дядей или Филиппом пошутить разик-другой.

Разумеется, дела не всегда шли отлично; было горе и в этой вольной деятельности.

Из крестьян не все им были довольны: один находил лечение слишком долгим или сложным, другой — боялся мушек и пиявок, третий — все твердил: «Не вынесу, родимый, не вынесу... а ты пошепчи лучше!» Редкие приходили извещать, что им стало хуже или лучше; хуже — нейдет с сердец, лучше — забудет прийти от радости, что можно и работать и гулять!

Была раз и другого рода обида: — Что-то больных давно не видать, Филипп, — заметил Руднев поутру, выехав на дровнях с слугой своим на порошу.

— И всегда у вас никого не будет, — отвечал Филипп.

— Это отчего?..

— Оттого, что вы очень горды!

— Я горд? Я горд? — с изумлением спросил Руднев.

— Конечно, горды! Никогда ничего не поговорите с ними. Другой любит три раза рассказывать все одно, а вы сейчас: «это я слышал, ступай теперь».

— Я всегда прибавляю: «с Богом ступай», а не просто «ступай».

— Ну, положим, что так... А все бы поразговорились лучше. Иной раз из наших баб или мужиков кто на деревне к вам подойдет, а вы сейчас норовите уйти от него.

— Да, помилуй, что я буду с ним говорить, когда я не могу ему пользы сделать? Совестьню смотреть в глаза, как увижу, что они работают, а я гуляю; и бегу скорей в сторону. Глаза стыдно на них поднять... Что я, перед ними паясничать буду, что ли?

— Пустое это вы говорите! Вы думаете, мужику все дело нужно? Он также любит и так поговорить... О девках хоть... Вот кузнец вас жалеет, сам говорит: «Смерть мне Василия Владимірыча жаль, я его даром хоть через день катать в санках буду на своей паре». А сказать прямо вам боится... Вот извольте ви-

деть, если бы Александр Николаич Лихачев был доктор, так у него от мужичья отбою бы не было... Он с ними смеется, шутит обо всем. Его больше всех господ в околке нашем любят. Вздумал как-то в Ногаево на ярмарку третьего года по-крестьянски одеться, всю одежду у Старостина сына взял и ноги грязным полотенцем обмотал, потому сапоги велики, и пошел с своими на ярмарку. А ногаевские мужики как увидели, что он за сосну спрятался папироску закурить, и хотели прибить его: «Зачем, говорят, барин нашу одежду надел!» А все-таки не посмели, и свои и чемодановские говорят: «Вот пойдите-ка, стукните его по шляпе, вон он с алой лентой стоит, так мы вам ребра-то намнем!» А вас боятся все. Вы не то что смеяться с ними, а еще сердитое лицо станет у вас.

— Не сердитое, Филипп, грустное, грустное, Филипп. Это ты вздор врешь, что сердитое.

— Может быть, и вру.

Вот и взгрустнулось дня на три, и пороши не забавляют, и на зайца застреленного не смотрел бы, и книги незанимательны, и все

не то. Но, по крайней мере, никто не торопит, о хлебе завтрашнем не думать; проспал ночь хорошо, встал, день ясный, морозный, прошелся в пустой роще один, в дубленке; пришли новые больные, щедрой рукой отпустил им лекарства и шепнул себе: «Пусть не любят; что же делать! Пусть уважают только да лечатся... А веселиться с ними не умею!» Весь беспорядок своих мыслей, давно еще, бывши студентом, Руднев старался свести в систему. Не изучая правильно ни немецких мыслителей, ни французских проповедников свободы, плохо, по-гимназически знакомый с историей, он постоянными напряжениями мыслей дошел до того, что ему стало легче. Слышал он мимоходом, будто Декарт старался все забыть, что знал прежде, для того, чтобы поставить себе новые точки опоры. Руднева поразило этот способ. Около того времени московский быт его улучшился немного, а для него и очень много. Одна старушка, у которой был внук, дала ему даром чистую комнату, на том условии, чтобы он наблюдал только за уроками мальчика, который ходил в гимназию. Ученик не отнимал у него много времени, и

он мыслил; мыслил с утра за чаем, мыслил в клинике, мыслил за одиноким обедом своим; но самое лучшее время для него было после-обеда, когда он шел гулять или по улицам, где в темноте шумело такое множество чужого народа, или по пустым бульварам. Тут уже начинался разгул мыслительной работы! Все проходило перед ним: треугольники, призмы, рычаги, электрометры, разноцветные соли химической лаборатории, кровь, ячейки, скелеты, физиогномии, характеры, народы, поэзия и Бог. Некоторые открытия были отмечены особыми обстоятельствами; так, например, проходя вечером мимо аптеки Крафта, в которой на окне сияли разноцветные жид — кости, он сказал сам себе в первый раз: «Медицина должна стремиться к тому, чтобы уничтожить самое себя, то есть стать просто предупреждающей, естественной гигиеной». От этой мысли родилась потом другая: разделить науки на нормальные и патологические. Современное общество, в котором есть бедные, честные страдальцы, подобные ему, в то самое время, когда негодяи и глупцы ездят в колясках и увлекают

женщин, — такое общество он не хотел назвать здоровым; потому что собственные лишения, болезни и оскорбления, которые он перенес как незаконный сын, как застенчивый и небогатый человек, располагали его видеть конечную цель жизни в покое и рассчитанном благоденствии миллионов в цветущих селениях, с правильным разделением труда.

Гниль и разврат больших городов, которые он хорошо видел вблизи, приводил его в трепет. Даже мирная, широкая, полная садов Москва, для него была буйная и страдальческая Москва! Сам он раз в начале курса попробовал было съездить в театральную маскурад; встретил там выпивших товарищей; они его ободрили и подвели к одной маске. Она была одета в палевом шерстяном платье, в грязных широких перчатках и без домино. У Руднева было рублей пять в кармане; он велел подать бутылку шампанского, котлет и пирожного; угощал свою даму, которая уже называла его «милым дитяtkой», и после ужина увел ее в коридор, упрашивая снять маску. Она долго сопротивлялась, говоря: «Ты

увидишь очень обыкновенное лицо». Наконец, сняла. Руднев увидел лицо бледное, исхудалое, курносое, с колечками на висках. Бедная женщина, снявши маску, робко подняла глаза на него и сказала: «Ну, поцалуй же меня!» Руднев честно поцаловал ее три раза и, попросив подождать у колонны, убежал домой.

На другой день у него заболела грудь, и с тех пор он в маскарад уже не ездил. Итак, он решил: наука о современном обществе, если она возможна, есть патологическая наука. Общество нездорово; молодые люди, которые изу — чают в университете юриспруденцию, изучают также патологическую науку, и сам закон есть только замена нравственности, свободного самооскопления для пользы общей. Рассуждая так, Руднев устроил себе систему и в ней довольно искусно старался выводить все из одной основной мысли; эту мысль он придумал, стоя на дежурстве в клинике, перед большим окном, в октябре, когда еще трава в казенном садике зеленела из-под морозного налета, а за садом открывался дивный вид на Москву... Да! дивный до волшеб-

ства, ибо как же назвать это море церквей и домов голубых, темных, красных, розовых, белых и желтых; море красок, поседелых осенних садов, дыма и подстрекающего холода? Часа два стоял Руднев у большого окна и решил покончить, наконец, разом с своими сомнениями! Он сказал себе так: положение первое: всякая сила стремится удовлетворить самой себе; второе: силы приходят в гармонию или борьбу, притупляются взаимно или идут по равнодействующей линии и т. д. Что такое сила — он не знал; что такое вещество — он не знал тоже, но, извилисто прогоняя сквозь строй вещественных явлений до самосознания какой-нибудь электромагнетизм, а самоуслаждение еще извилистее до самоотвержения сквозь мир духовный, он отдохнул на время.

За вопросом о силах шли воображаемые крупинки вещества. Слагались они на один манер, попроще выходили: камень, соль, вода или воздух; посложнее на другой манер (пределов нет, и в окончательную металличность металлов он не верил!) выходила дремлющая растительная ячейка; ячейки, слагаясь, обра-

зовали ракиту, которая стоит в Де-ревягине над прудом, элегические ноготки и бархатки, которые сеял Таврило и не только Таврило, но и сам Руднев! (На первом курсе было и страшно и обидно состоять из каких-то пузырьков и ниточек; а теперь Руднев скорее гордился, что и он — произведение природы!) Зашевелились влюбленные тычинки цветов, дионей схватила муху, забегали живчики водорослей, чтобы, отслужив свою краткую животную службу, заснуть в расти — тельном покое; полип схватил червяка и проглотил его; грубая змея задушила скульптурную серну, не обращая внимания на то, что и Кювье, и Руднев, и другие считают жертву гораздо выше победителя.

Выше и выше, все сложнее, богаче и туманнее внутри и ярче снаружи! Человек взял верх над всем центростремительной силой чувства и мышления; птица взяла верх и над ним центробежной силой мышц и подвижности... Сложно все это! Месяцами и годами доходил он до этого, как деревенский механик, открывая давно открытые вещи и кладя на них все-таки печать личной работы.

В Деревягине работа эта шла еще гораздо лучше, чем в Москве. Здесь сидел он неподвижно по целым часам, и тени прошедшего и соображения о будущем проходили беспрестанно в его мыслях. Этот покой был для него величайшим блаженством; сидел он час, другой, вставал, прохаживался и опять садился. И одно утро проходило так, и другое, и третье, и, странное дело! — одни и те же мнения, одни и те же лица, одни и те же истины и знакомые предметы проходили перед ним; поднимались до сознания из бездны духа; поднимались на миг и опять тонули в новой бездне, сменяясь по очереди, как в тех детских игрушках, в которых из темной башенки выплывают одна за другой все одни и те же утки. Но всякий раз эти мысли, эти предметы уже были не совсем те, что прежде, и казалось ему, что не только они сами, но и способы их смены и самые сочетания их друг с другом были важны и оставляли по себе неизгладимый залог, угасающий только на время!

Даже воспоминание об этих детских утках и о страшном таинстве мышления навевало ему трепетное подозрение, готовое превра-

титься в торжествующую мысль: что есть родство законов у самого ужасающего своим величием с тем, что мы считаем пустой игрушкой или пошлостью!

Он и смирялся, и блаженствовал, смиряясь и не чувствуя себя в силах сломить этот деспотический круг однооб — разно-пестрых мыслей. Тогда и в игре метафор, которую так любил Милькеев, Руднев уже ясно видел не игру метафор, не бесплодные лепестки махрового цвета, а данный человеку дар, шутя и между говором обеда указывать на великую связь всех явлений.

И дальше мыслил он, переходя постепенно к оправданию своей практической жизни. Как птица отрывается от грязной земли, так и он хотел оторваться умом от общества и не быть рабом неизбежной его драматичности. «Разум и наука, — говорил он сам себе, — возьмут верх над всем рано или поздно, все поймут, все уравниют и все примирят».

«Служи науке, Руднев: она не обманет тебя. Верь в науку, Руднев, в ее спасительный ход от простейшего к сложному; верь в свободу! Поднимайся душевно над жизнью, как

птица, — повторял он, — птице издали и грязные пятна являются только живописными темными пятнами между зелеными травами, синей водой и белыми жилищами. Живи один, Руднев; на что тебе люди, скажи мне? Любить тебя не будут и ты, пожалуй, не люби, а холодно и молча жалея и лечи их честно, помогай твердо, сухо и молча... Беспрестанно, каждый миг молчи! Не уставай молчать, а если услышишь на дне души своей что-то шевелящееся и горячее, береги это шевелящееся и горячее для себя одного, как роскошь и праздник. Чувство — как благоухание — вмиг улетает и портится, открытое на воздух!» И хотя и прежде, еще не оправдавши своей деятельности натурфилософской цепью, он мог лечить и лечил крестьян; хотя вся эта отвлеченная работа была для него просто личной потребностью, не удовлетворяя которой, он задыхался и все искал чего-то, — но и для деятельной медицины не мешало заставить молчать хоть на время решенные вопросы и беззаботнее думать о том: «Какая это опухоль: просто жировая, или рак?» «Какая это чахотка: от неизлечимых бугорков, или более изле-

чимая, от легочного нарыва?»

XIII

Милькеев во всю зиму был всего раза два у Руднева. У него были свои заботы и наслаждения. Он вполне сросся с троицкой семьей; вместе с ней тревожился и радовался, боролся и побеждал. То надо было слишком полнокровного и счастливого Федю привлечь к занятиям; пробовать, с какой стороны его взять; не подкупить ли его анекдотической частью истории, пользуясь тем, что он очень мило рассказывал про Давида, который «вечером с балкона увидал одну девочку; она ему понравилась, и он мужа ее отправил на войну, чтобы его там убили», и прибавил: «Мама! ведь это он скверно сделал?», или прицепить как-нибудь к его ранней страсти ходить в лес с ружьем зоологию и ботанику? Федя, несмотря на свое беспамятство в классе, на воле был очень наблюдателен, рассказывал каждый день новые и комические случаи про фореиторов, крестьянских детей и знакомых иногда представлял в лицах. Надо было постоянным внушением добра и кротости смягчать

несколько крутую и независимую природу Оли, которая в классе приводила учителей в восторг и в деле точности скоро обогнала старшую мечтательницу, Машу, а Маша отлично писала сочинения, но ни за что не хотела помириться с буквою «ять». Надо было бороться с ami Bonguars'ом, не обижая его. Bonguars требовал, чтобы Катерина Николаевна запретила miss Nelly по вечерам рассказывать детям готические сказки и девочкам играть в куклы. «Волшебные сказки удаляют от здравого смысла, а куклы делают из женщин деспото-ток», — утверждал он. Насчет точности и всех тонкостей классной эрудиции ему делали уступки, позволили даже читать историю Франции гораздо пространнее, чем нужно («пускай они не будут вполне чужды всему этому блеску, который мы прежде слишком уж любили», — говорила мать); но не только германские фантастические рассказы не были запрещены, но еще позволено было няне-хохлушке, которая приехала с графским Юшей с Кавказа, при — водить детей в восторг старинными песнями и русскими сказками. А сколько хлопот было с Юшей! Его

привезли около осени и тут же еще раз убедились, как князь Самбикин глуп: ребенок был вовсе недюжинный и понять его было нетрудно; бледный, нежный до того, что все синие жилы на висках были видны, с мрачными глазами, которые оставались мрачны даже и тогда, когда он смеялся; больной, избалованный и тщеславный, он больше любил отца с густыми эполетами, который осыпал его подарками и учил сквернословить от скуки, чем память матери, боготворившей его. Надо было все сообразить не спеша; как бы не обидеть сироту, обуздывая его? Как укрепить его, постепенно приучая к той грубой и привольной жизни, которую вели троицкие дети, падавшие не раз и с лошадей и в проруби? Сначала Юша часто убегал в темные комнаты, ложился под диваны и плакал там, призывая отца и мать; бил Федю, который горько плакал, не смея тронуть его, из боязни раздавить своей гигантской силой; называл «наемными свиньями» своих наставников, хотел убежать на Кавказ; все это надо было исправить в смышленном и впечатлительном мальчишке, у которого были даже свои таланты; на-

пример, никто из детей не был так способен к музыке, как он; никто не играл так мило на семейных спектаклях, никто не умел так забавно и с чувством петь хохлацкие песни:

Чи я в поле не калинка была, Чи я в поле не зелена была... Взяли меня да нарвали, В пучечки повязали.

И тут же после хохлацкой, французскую скороговоркой:

Un pētissier demeurant Dans la plaine du Mont Rouge, Avait un bien bel enfant, Qu'on nommait le petit chaperon rouge. Voila me direz-vous un nom singulier! Que je n'ai jamais vu dans le calendrier...

Да и кроме детей, сколько было у Милькеева и работы и развлечений: езда в манеже, коньки, большая библиотека, диссертацию и статью кончать, мимоходом покрасоваться перед Nelly и тут же утешить ученой беседой ami-ennemi Joseph'a, погружаться на целые часы в заграничные издания, ездить к Лихачевым и совещаться с предводителем о каких-то социальных вопросах, играть в войну и в жмурки с детьми — и конца нет! Троицкая жизнь располагала его душу к такой гармонии, что он все это успевал делать, не тяго-

тясь, а наслаждаясь. Когда же ему было часто думать об этом Рудневе, который сам знать их не хочет. Да и Катерина Николаевна говорила: «Оставьте его, дайте ему устояться!» Раз, однако, перед постом, они сошлись в большом лесу, куда оба забрели — один с ружьем, другой с мечтами — и поговорили; другой раз Милькеев ехал в гости и встретил Рудневу в дубленке, на дровнях, с больным мужчиной; доктор правил сам и поскорее свернул целиком в сторону.

Милькеев узнал от его дяди, сколько он хлопотал для крестьян, и это так понравилось и ему, и Катерине Николаевне, и предводителю, что все начали опять думать, как бы достать его.

Милькеев чаще стал ездить к нему, и они теперь скорее сблизились, чем прежде; начали спорить и судить обо всем, даже ссорились; иногда Милькеев кричал на него с приятным выражением лица: — Что вы напустили на себя эту плебейскую жолчь! Знаете ли вы, что демократические чувства в людях средних, как мы с вами, бывают двух родов: снизу вверх — к князьям, графам, губернато-

рам, генералам, и сверху вниз — к нашим слугам, мужикам и т. д. Последнее всегда почти исходит из доброго источника: из сострадания, доброты; за все эти чувства мы имеем только одну отраду — возможность уважать себя всякий раз, как почувствуем. А демократическое чувство снизу вверх всегда имеет источником зависть, сознание своего бессилия, или досаду на их преимущества, на богатство, красоту и свежесть, которая у нас, по крайней мере в России, распространена только между мужиками и людьми высшего сословия... Вы, как физиолог, должны понять, что я говорю правду... И те и другие больше нашего пользуются движением, воздухом и душевным спокойствием... Но за что же ненавидеть их и бежать от них? У работника или настоящего мещанина, если есть демократическое чувство снизу вверх и если источник его не совсем чистый, так это, во-первых, извинительно потому, что оно вынуждено иногда стеснениями, и потом к нему примешано столько наивного чувства народности: борода, вербы, иконы, поэзия молитвы и постов, которых мы не соблюдаем, и это ему не нра-

вится в нас. В аристократе же, если есть демократическое чувство, так оно всегда признак или большой доброты, или политической дальновидности. А то из чего ему хлопотать, скажите?..

Иногда Руднев был жолчен и болен, и тогда резко отвечал своему новому приятелю: — Что у меня на душе — не знаю! Быть может, ничего! Но дайте мне, молю вас, дайте одному тосковать, одному, не торопясь, работать, когда свежо, и дремать, созерцая по целым часам и дням, когда скучно и что-то слабо. Оставьте, ради Бога, ради Бога оставьте! Я даже и мыслить не буду, не презирайте только меня за то, что я брожу туда и сюда и повторяю: «Боже! что за мука!» Кому до этого дело? Мне легче так, и я этого никогда стыдиться не буду... Выйду из этого, когда захочется выйти, а теперь не хочу. Вот и все...

— Однако вот вы, на днях, плелись с большим мужиком!..

— Это, батюшка, другое дело! Когда в свежее утро Руднев будет молодец и строг и этот строгий Руднев спросит у вялого Руднева: «Что ты делал, когда глазам было на свет Бо-

жий больно смотреть... Спал?» — «Нет, я со злостью, с ленью, со скукою влез на мужицкие сани и по холоду тащился в город со скрежетом зубов... Я тогда не усиливался думать и мужика этого вовсе не любил, но лошадь везла в город и привезла... А злое лицо мое, может быть, еще заставило Воробьева скорее мне дать инструмент; а правила операции тут... их не выбьешь из головы...» Вот строгий, но и добрый Руднев и скажет вялому и злому: «Ну, это еще, брат, ничего... Можешь жить, то есть, извините, не жить... Это ваше дело жить, а с нас и существования довольно!..» Но как скрыться от людей?

Однажды — вечер был лунный; Руднев прохаживался по большой комнате, а дядя сидел у окна, и они уже собирались зажечь свечу и сыграть перед ужином в шашки, как вдруг раздался колокольчик, и перед двором, заметенным сугробами, показалась кибитка тройкой, попала с розмаху не туда, куда надо — завязла; из нее выскочил мужчина и, шагая с трудом через снег, поспешил к крыльцу. Удивленные хозяева встретили его со свечой в сенях и увидели князя Самбикина...

— Я к вам, доктор, к вам с тройкой и с просьбой. У сестры моей умирает ребенок... Вот она пишет к вам.

— Я частной практикой не занимаюсь, — отвечал Руднев угрюмо следуя в горницу за князем, не снимавшим даже шубы.

У Владимира Алексеевича, который хотел было кликнуть заснувшего в прихожей Филиппа, чтобы поскорей подал доктору теплые сапоги и все, что нужно, оборвался голос... Дергая бровями, стоял он на месте со свечой и глядел то на князя, то на племянника.

— Разве кроме меня нет врачей? Воробьев, Вагнер и другие есть...

— Когда дитя опасно, Вася, — сказал дядя.

— Опасность часто преувеличивается родными. Я ведь не занимаюсь частной практикой — и мне... наконец... я имею право... не ехать к тем... которые в силах платить... Есть другие доктора.

— Воробьев на следствии; Вагнер стар, а в город далеко посылать... Сестра сама вам пишет, — вкрадчиво

умоляя, продолжал князь и достал дрожа-

щими руками из-под шинели записку...
Неожиданное упорство Руднева так его взбесило, что он насилу отыскал ее в кармане.

— Не угодно ли вам, князь, шубу снять и присесть, — сказал Владимир Алексеевич, пока Руднев читал записку...

— Когда тут сидеть... помилуйте! У ребенка, кажется, круп...

«Умоляю вас, доктор, войдите в положение матери, у которой всего один сын... Ради всего святого не откажитесь приехать... Я знаю, что вы не любите ездить никуда, но сделайте на этот раз исключение... Требуйте от меня что хотите».

— Если в самом деле никого другого достать нельзя!.. Филипп — сапоги!

— Филипп, сапоги! — повторил Владимир Алексеевич...

Тройка князя Самбикина была превосходная, и через час, не более, Руднев был уже за 20 верст у крыльца двухэтажного дома. Окна все были освещены; внутри все ново и по моде. В прихожей встретил доктора высокий, сухой, плешивый мужчина, щегольски одетый; в залу выбежала молодая мать, *русая* краса-

вица с заплаканными глазами. Растрепанная одежда ее была изящна и богата.

«Тоже чувствует!» — подумал доктор, подходя к детской.

Крупа еще не было, но кашель внушил Рудневу подозрение, и он, подумав, тотчас решился действовать, как будто перед ним был круп в полной силе. Лекарства он захватил от себя. Обнадеженная немного мать старалась занять его разными расспросами; отец повел его в свой кабинет, показывал ему образчики прошлогоднего овса, пшеницы и полбы.

Князь Самбикин водил его под руку по освещенной зале, упрашивая ночевать и уговаривая вообще покинуть свое одиночество. Рудневу хотелось спать, и он остался. Ребенку стало легче на другой день; Руднев хотел ехать, но мать заплакала, и он остался.

Горесть этой красивой женщины, которая всю ночь, одетая, пролежала поперек двухспальной кровати, у ног своего божества, потому что Коля метался в своей маленькой кроватке — сильно тронула доктора; да и сам ребенок был такой исполнительный, покорный больной... когда ему ставили мушку, он

сначала не хотел, а потом скрепился и сказал, понукая сам себя: «Ну, тащися, сивка!» Нельзя сказать, чтобы следующий день прошел весело; в доме все лоснилось и сияло: бронза, мебель, хрусталь и серебро; обед был отличный; но разговоры так пусты и чужды Рудневу, что он очень обрадовался неожиданному появлению старого своего знакомого Богоявленского. Он приехал в больших санях с какой-то высокой, удивительно милостивой, русской девушкой, которую Полина обняла и назвала Любашей.

Князь Самбикин объявил доктору тихо и как бы таинственно, что «эта девушка — племянница мужа его сестры...» — А Богоявленского ведь вы знаете, — прибавил он, — его по вашей же рекомендации пристроили в дом к Авдотье Андревне Забелиной, к матери Platона Михайлыча — моего зятя... Он, кажется, очень хороший человек и об вас часто вспоминает и все удивляется, что Полина не откажет Воробьеву и не возьмет вас годовым... Это он нам подал мысль пригласить вас, когда мы вчера совсем растерялись.

В самом деле, улыбка Богоявленского при

встрече с Рудневым была естественнее ядовитой и отвратительной улыбки в утро их первого знакомства.

Крепко жать руку он не умел, а подавал какой-то холодный и мягкий кусок мяса; но словами выразил свою признательность тотчас же.

— Очень рад вас видеть, Василий Владимірыч, — сказал он, — я, благодаря вам, переминаюсь кой-как теперь... Спасибо вам...

— Вам хорошо в семье этой? — спросил Руднев.

— Э! Разве бывает хорошо в семье! — отвечал Богоявленский, махнув рукой. — Четыреста рублей! Вот, что хорошо! А семья мерзкая, как почти все наши русские семьи. Ну, да их к ладу, или к чорту; а я сюда приехал ведь вас в эту мерзкую семью звать. Как бишь это — Петру апостолу не велено было для пропаганды и гадиной брезгать...

— Да что такое, болен что ли кто-нибудь?..

— Вот этой барышни папа нездоров, — продолжал Богоявленский, указывая глазами в сторону Любаши, которая у окна шепталась с хозяйкою дома. — Барышня, как водится, не

выдерживает критики, но получше своей обстановки. Не надеялась на убедительность своих речей и, по совету бабки, взяла меня с собою. Я очень рад, долг платежом красен... Не откажите моему удовольствию вам заплатить услугой за услугу. Ведь к такому рассчитанному обмену услуг не должен ли прийти весь мир? Хоть и небогаты, а деньги вам дадут...

— Да что я вам дался! — сказал с сердцем Руднев, — нет у них Воробьева! Человек светский с перстнями, с цепями, завитой. Про министров и графов все рассказывает... Гораздо лучше.

— Тут целая история! Старик немного тронут... Любовь Максимовна, а Любовь Максимовна, потрудитесь доктору объяснить, отчего ваш папа не хочет Воробьева...

Любаша подошла, чуть-чуть краснея и заметно удерживая свои свежие губы от привычной улыбки.

— Да, пожалуйста, поедemте к нам, — сказала она. — Папа терпеть не может Воробьева: он все боится, что Воробьев отравит его. У папа бывает это временем...

— Да говорите просто, Любовь Максимовна, — перебил Богоявленский, — что это? Это значит периодическое умопомешательство. Чего тут стыдиться; вы разве виноваты?

Полина, убедившись, что ее сыну легче, стала тоже просить Руднева съездить с Любашей, переночевать там и поутру возвратиться опять к ней.

Пришлось ехать в санях вдвоем с Любовью Максимовной.

В передней хозяин дома схватил Руднева за обе руки, долго и выразительно жал их, приговаривая: «Благодарю, благодарю», и оставил в одной из рук его пакет с деньгами. А Богоявленский, прощаясь с ним, сказал: — Вы поедете с Любовью Максимовной; а мне кстати надо провести сегодня вечер на крестинах, у здешнего отца Парфения — еще обогатил нашу касту отпрыском — родил сына...

— Желаю вам веселиться, — отвечал Руднев, надевая свой бараний тулуп.

— Веселья-то мало; а уж так пришлось. А вы, Любовь Максимовна, смотрите, моего доктора не конфузьте дорогой. Он стыдлив, должно быть, сторит от стыда, и вашему папа бу-

дет хуже, если вы в Чемоданово привезете одну грудку пепла...

Любаша усмехнулась, Руднев поморщился и ввалил свой тулуп в сани около бархатного салопя цветущей девушки. Атеист, насмешливо проследив за ним глазами, сошел с крыльца и задумчиво побрел к священнику.

Уж начало смеркаться, и мороз немного спал; заря занималась за лесом после сверкающего дня. Долго мчались по накатанной дороге Любаша и Руднев; по узким лесным дорогам ехали тихо, чтоб не сломать об деревья сани, а на открытом поле кучер кричал, и летели; только держись.

— Хорошо ехать в санях! — сказала Любаша.

— Недурно, — отвечал Руднев.

— И погода сегодня славная. Завтра тоже будет хорошая. Заря такая чистая. А вы не озябли?

— Нет, — отвечал он, — не озяб что-то... Когда же тут успеть озябнуть.

Уже видно было имение родных Любаши, и очень заметна была одна еловая аллея в саду, между другими голыми деревьями, когда

Любаша опять обратилась к Рудневу: — Вы не показывайте виду папа, что вас для него привезли: скажите, что для тетушки Анны Михайловны. Она тоже часто нездорова. Он сегодня смирнее стал, оттого что бок сильнее болит, а третьего дня сорвал с тетеньки мантилью и бросил в печь... И еще когда будете входить к нему, осторожнее в дверях: он как рассердится на всех, вынимает половицу около порога, чтоб никого не пускать в свою комнату... Прошлого года тетушка Анна Михайловна провалилась под пол... и только одной рукой удержалась.

При этих словах Любаша, заранее начавши улыбаться, засмеялась так громко, что кучер обернулся, взглянул на барышню и тоже захотал.

Через минуту сани остановились у крыльца чемодановских хором.

XIV

Руднева провели по темному коридору в пустую комнату и оставили одного с сальной свечой. Немного погодя пришла горничная, принесла стеариновую и приняла сальную

свечку. В соседней комнате шептались. С полчаса посидел он один. Наконец вошла Анна Михайловна. Вприпрыжку подбежала она к доктору и подала ему дрожащую и худую руку.

— Вы озябли? — сказала она, совсем приближаясь к нему лицом, — сейчас принесут чай. Mon frige va tris mal... Садитесь, пожалуйста... мы все так огорчены... Садитесь, пожалуйста... Вообразите себе (она еще больше придвинулась к нему и обрызгала ему лицо слюной)... он ажитируется страшно... Третьего дня прогнал дьякона и простудился... Когда он в ажитации, он терпеть не может, чтобы его кто-нибудь спрашивал о здоровье. Дьякон пришел и спросил у него, только всего и спросил: «Как ваше здоровье, Максим Петрович?» И Боже мой!.. C'est affreux!.. Вон, дурак, скотина, вон, дурак, скотина!.. Гнался за ним в переднюю, на крыльцо, на двор... Пришел домой, и в боку немного погода заболело. Все пробовали: горчичники, липовый цвет, бузину, — все давали...

— Позвольте же мне видеть больного, — сказал Руднев.

— Нельзя вдруг, никак нельзя вдруг. Избави Боже! Un mïdian tout a soup!.. Он придет в бешенство. Надо вас просто познакомить. Сказать: приехал Руднев... Позвольте узнать, как ваше имя... Василий...

— Владимиров...

— M-r Basile. Мы ему скажем... M-r Basile Руднев. Вы пробудьте у нас дня два-три и как-нибудь уговорите его приставить пиявки. Я уж не знаю, право, что делать... Даже домашнее что-нибудь трудно предложить ему... У него страшно ведь болит бок!

В эту минуту послышался шорох шелкового платья, и вошла Любаша.

Она сказала, что к отцу можно, что напрасно тетка беспокоится, что Малаша неосторожно проговорила о приезде доктора, и старик спросил только у нее: «Какой это доктор, Руднев, что ли?» И когда ему сказали, что Руднев, он успокоился и прибавил: — Для Анны Михайловны?

— Да, папа, для Анны Михайловны...

— Ну, пусть и ко мне зайдет...

Анна Михайловна была, по-видимому, рада и, шатаясь, пошла вперед. Любаша и Руд-

нев за нею.

— Сколько верст отсюда до Троицкого: кажется, верст двадцать пять? — спросила девица.

— Да, будет около этого, — отвечал доктор.

— Я проезжала через Троицкое несколько раз. Как у них хорошо; я бы хотела там побывать.

Руднев не отвечал.

— У Полины тоже дом хороший, только там как-то, мне все кажется, должно быть лучше.

— Да, Новосильская хорошо живет, — сухо отвечал молодой человек.

Любаша замолчала, увидав, что он так неохотно разговаривает, и они перешагнули вместе через яму порога. Старик сидел с кочегрой у печки, когда Руднева ввели к нему.

— Папа, Василий Владим1рыч Руднев, — сказала Любаша.

Старик покашлял, исподлобья посмотрел на него и протянул руку.

— Вы доктор?

— Да, я медик...

— Что значит медик? Вы хотите сказать:

лекарь?

— Да, лекарь.

— Иностранные слова! — промолвил старик, все не спуская глаз с Руднева. — Медик... облагородить... Ну-с, г. медик... очень рад вас видеть... Прошу садиться...

Любаша смеялась, отойдя к окну. Руднев сел и молча наблюдал больного. Старик покашлял, вздохнул и, поглаживая бороду, продолжал смотреть на своего врача.

— Вы в Московском кончили?

— В Московском.

— Хороший университет, славный. Педагоги ваши всем известны.

Тут он вдруг засмеялся.

— У меня был один знакомый, из вашего университета — учитель. Его утопили в реке товарищи.

Сказав это, старик хотел захохотать, но схватился за бок и закашлял.

Руднев хотел броситься к нему и протянул уже руки к больному боку, но Максим Петрович отстранил его.

— Ничего, это пройдет. Ну-с, так его утопили товарищи...

— Зачем же? — спросил Руднев.

— Зачем?! Что за вопрос!.. Чтобы не было его, чтобы утонул... Цель, кажется, ясная?.. А за что? Вот это другое дело. Хороший был человек, начальство его любило, награды получал. Они напились пьяны и утопили его. Вы, может быть, хотите мой пульс попробовать?

— Позвольте...

— Извольте... Вы не поляк и не жид... Главное, вы Воробьева знаете?..

— Знаю.

Старик ядовито усмехнулся и велел дочери достать из шкапу склянку.

— Ту, знаешь... Любаша его отговаривала.

— Да ведь она запечатана.

— Ничего, опять запечатаем. Вот, видите эту склянку... Я ее запечатал, хотел послать во врачебную управу... Воробьев этот — друг закадычный Анне Михайловне... Вы, небось, видели Анну Михайловну. Как она вам понравилась?...

Руднев пожал плечами.

— Вы пожимаете плечами. Это резонно! Не стоит и спрашивать! Так вот эта Анна Михайловна просила его прописать мне рецепт. Он

прописал... Я ничего. Пусть пишет и пошлет в аптеку, а я все буду молчать, все ничего не скажу. А как привезли, я увидел эту стклянку. «Нет, говорю, брат, постой. Я знаю, что это яд... Злейший яд!..» У меня была собака... так, собачонка дрянная, дамская... Ну, а я к ней привык, любил ее; однако не пожалел ее, дал ей ложечку... Вмиг — судороги и смерть... А это не яд?... это не яд? скажите мне, это разве не яд?

— Позвольте посмотреть.

— Смотрите, нюхайте... что же это по-вашему, г. медик?

— Это, точно, подозрительно, — сказал Руднев, — я возьму с собой, если вы мне доверите, и постараюсь исследовать его... Впрочем, все яды полезны; надо знать, в какой болезни и в какой мере... Воробьев — человек скверный.

— Ну, да, да, разумеется, в какой мере... Возьмите себе эту стклянку... Я вам верю.

Руднев поклонился.

— А ваш бок? — сказал он.

— Бок болит. Я, впрочем, сделаю все, что вы мне посоветуете. Матушка и Любаша (вот

эта барышня, кото — рая стоит у окна... это — дочь моя Любаша... — с небрежностью прибавил он) — так вот эта Любаша и матушка все жалуются, что я не лечусь... Я сам говорю: дайте мне доктора, а у Воробьева я лечиться не буду... Что это за доктор! Пойдите-ка, Любаша, выйди-ко вон.

— Зачем это? — с неудовольствием сказала дочь, — разве вы не можете при мне говорить?

— Ах, матушка... Пожалуй, останься, коли у тебя стыда нет! Мало ли о чем мужчина доктору может говорить...

Любаша поскорей ушла, а старик схватился за бок и, стараясь не охать, качался от радости на кресле...

— Ушла девчонка! — начал он, и лицо его сейчас же стало опять грустно. — Я очень рад, как вас там зовут... с вами поговорить. Мне сдается — человек вы хороший. Скажите мне, между прочим, отчего бывает гной на крови, которую выпускают из руки перед смертью. От яда этого не бывает?

— Гноя никогда не бывает на выпущенной крови, Максим Петрович.

— Не бывает? А что ж бывает?

— Кора такая белая бывает, воспалительная кора...

— От яду?

— Нет, зачем от яду? Эта кора бывает в разных случаях: при воспалениях некоторых, иногда у беременных женщин фибрин...

— Фибрин — это яд, как стрихнин?... Не дают ли его беременным?

— Нет, позвольте, дайте мне досказать: фибрин — это вовсе не яд; это — нормальное вещество... Что с вами, что с вами?

— Ах! чорт возьми, бок проклятый, бок... Помогите мне лечь. Эх! чорт побери, дьявол... Ой!

Любаша, которая ждала за дверью, вбежала, вместе с Рудневым сняла с отца халат и уложила его в постель. В доме были пиявки; Руднев сам поставил тотчас их Максиму Петровичу. Любаша все время не отходила от него, измаралась в крови; старик лежал и молча слушался, беспрестанно переводя задумчивый взгляд с дочери на молодого человека, а с него на дочь.

— Вы верите, доктор, в животный магне-

тизм? — спросил он только раз.

— Верю; а что-с?

— У вас он есть; вы как меня тронете руками, так приятно станет... Эх, как приятно! Подите в магнетизеры! А?

— У меня слишком мало душевной силы, чтобы быть магнетизером, — отвечал Руднев.

Когда Максиму Петровичу после пиявок захотелось спать, Любаша увела Руднева в большую темную залу с пляшущими половицами и спросила его: — Он вам, верно, говорил об крови, об яде?

— Говорил. Что это значит?

— Это всегда... Вы что ему сказали?

— Я сказал, что гноя на крови не бывает, а то, о чем он думает, бывает не от яда.

Вслед за этим вбежала Анна Михайловна и спросила у Любаши: — Est-ce qu'il a parlé?

— Да, я уж сказывала, — отвечала Любаша по-русски.

— Toujours ces bêtises?

— Все то же.

Анна Михайловна внимательно посмотрела на племянницу и печально покачала головой.

— Toujours, toujours! Вы что сказали ему?

— Я сказал, что гноя в крови не бывает, но бывает воспалительная кровь, которая происходит не от яду.

— А! вот и прекрасно. C'est magnifique! Он теперь уснул... Ха-ха-ха... Такой он у нас чудак... Пойдемте теперь к «маман».

«Маман» была гораздо больше похожа на матушку, чем на «таман». Она только что вернулась из субботней бани и сидела в большом кресле; горничная расчесывала ей густые и длинные седые волосы большим пальмовым греб — нем; вся она была белая: лицо белое, глаза светлые и цветом и блеском, капот белый с оборками.

— Очень приятно познакомиться, — сказала она Рудневу с гордой небрежностью, — кажется, наш больной успокоился?

— Да, ему, кажется, лучше.

— Ашенька, — продолжала она, обращаясь к Анне Михайловне, — не подать ли нам сюда ужинать? Я ослабела... Да где твой брат, Люба?

— Брат? не знаю, бабушка.

— Верно в людской в карты играет... Хи-хи-

ха-ха!... — донесла Анна Михайловна.

У старухи пробежал по лицу луч гнева.

— Марфа! — сказала она сурово, — отыскать Сережу... И пожалуйста, из людской или из девичьей всегда его прогонять...

— *Le voilà, le voilà!* — захлопотала вдруг Анна Михайловна — и в самом деле, в комнату вошел мальчик лет шестнадцати, в старом гимназическом платье, очень похожий на Любашу.

— Ужин привел сюда? — холодно и ядовито спросила бабушка... — Кланяйся же доктору, или уж совсем с хо-лопьями отвык от порядочного обращенья. Предупреждаю тебя, что я велела тебя из людской и передней в три шеи гонять.

— У меня только одна шея, — отвечал гимназист спокойно.

Анна Михайловна затряслась, закивала головой, защолкала языком с упреком, а Любаша тихо засмеялась.

— Вы слышите? — сказала бабушка Рудневу, — какой острый ответ. Хоть бы при чужих постыдился.

— Стыдиться или не стыдиться, зависит от

убеждения, — возразил гимназист.

Бабушка махнула рукой и велела поскорее подавать ужинать. Стол поставили перед ее креслом, и все заняли молча свои места. Большая комната была освещена всего двумя свечами, и Руднев, только садясь за ужин, заметил, что из-за кресел старухи поднялся кто-то. С удивлением Руднев догадался, что это была дурочка. «Где я?» — подумал он... Сомневаться было невозможно — это точно была дурочка, уже немолодая, глаза навывкате и раскосые, волоса всклокоченные; платье, однако, на ней было чисто.

— Рекомендую; это — Пелагея Сергевна наша, — сказала бабушка.

— *C'est une pauvre idiote*, — объяснила Анна Михайловна.

— Маменька, маменька, а маменька... Какая же ты дура! — закричала вдруг Пелагея Сергеевна.

— Знаю, что я дура, — кротко отвечала бабушка, — только зачем же ты при докторе-то меня бранишь?

— Дай хлебца... маменька... Авдотьюшка... дай хлебца...

— Сергей, подай ей тот большой кусок!

Сергей швырнул хлеб дурочке через стол; и она опять опустилась в темноту за кресла, как будто провалилась сквозь землю.

Ужин был вкусный и обильный; старуха начала расспрашивать доктора о службе, о Троицком, о дяде.

— Я ведь знавала хорошо Владимира Алексеича, — сказала она между прочим, — прежде мы все вместе жили; съезжались, веселились много, все знали друг друга. А потом стали стары, стали дома все сидеть; а молодые наши не мастера веселиться. Я лет пятнадцать, думаю, вашего дядю не встречала. А первый раз, как мы познакомились, это было преуморительно! Аша, помнишь?

— Помню, татап... Как не помнить!..

— Да! нынче все здоровья стали плохого, беспрестанно простужаются... А мы что выносили — волос дыбом теперь станет... Я была первый раз вдовой; второй мой муж был женихом моим тогда, и мы, вот с Ашенькой, приехали к нему в дом на несколько дней погостить. Было еще человек несколько родных; а ваш дядя был Петру Петровичу (моему вто-

рому мужу) друг; от скуки вздумали возиться, и ваш дядя вострый такой был на все. Бегать прыток был, игры выдумывать и смешил исподтишка — на все руки! Возились-возились, бегали-бегали, Ашеньке было лет пятнадцать, она взяла да из рукомошника Петра Петровича и облила всего, а на нем был с иголки бархатный сюртучок, как этот цвет, Аша, звали?

— Русе йвановице, тамап.

— Да! так звали этот цвет. Что тут делать? Какую месть придумать? Вот, вы и не поверите, быть может, а это правда: Ашенька была всегда такая худая, слабая, и мы ее «фараоновой короной» звали. Что ни ест — все не впрок. Так ее пожалели, а меня, вот княгиню Самбикину да еще покойную сестру мою взяли под руки да в пруд и окунули, как есть в платьях, а на дворе октябрь стоял.

— В конце, в конце октября! — подхватила с восторгом Анна Михайловна.

— Да, в конце октября, — продолжала бабушка, — а ничего, все сошло с рук... Теперь уж не сойдет! Зато, по крайней мере, пожили мы! Пожили ведь, Аша? — прибавила она с

гордостью.

— Пожили, тамап, как еще пожили! — от-
вечала Анна Михайловна со вздохом.

После этого рассказа все собеседники при-
уныли. Анна Михайловна пробовала раз-
влечь общество, принуждая Пе-лагею Серге-
евну за кусок пирожного повторять поговор-
ку: «каша — мать наша!» — Говори: каша —
мать наша...

— Экая ты дура! Хи-хи-хи-хи...

— Говори: каша...

— Каша...

— Мать наша...

— Мать наша...

— Нет, не так (*comme elle est drôle*): каша —
мать наша...

Но никто не смеялся; а Сережа вышел из
терпения и отдал дуре с своей тарелки боль-
шой кусок пирожного, чтобы прекратить эту
сцену.

Пелагея Сергеевна опять провалилась и,
громко чавкая, невидимкою, ворчала оттуда:
«Ах! ты дурак! Аи! ты дурак *Колечко* (так вы-
учил ее кто-то в людской звать молодого ба-
рина вместо "Сережка»). Колечко... Ах, ты мой

муж — ты меня бьешь, бьешь, бьешь, бьешь»...

Бабушка вздохнула, заметила, что «вот идиотка, и у нее что-то есть... думает, что муж непременно бьет»...

— Это потому, что русские все бьют жен; видала часто, — заметил Сережа.

Ужин, наконец, кончился, и все простились. Любаша и брат ее пошли провожать Руднева до той комнаты, где ему следовало ночевать.

Любаша крепко пожала ему руку и благодарила.

— За что? — спросил он с удивлением.

— За папа.

— За папа? Ты бы лучше за попадью поблагодарила, — сострил Сережа.

— Ну, полно, ради Бога, — сказала сестра и протянулась к нему для поцалуя.

— Вот еще что выдумала! Цаловать я тебя каждый вечер стану? — отвечал брат, — жирно, брат, кушаешь; в день по яичку. Я губы-то свои для какой-нибудь получше тебя поберегу. Войдите, Василий Владимірыч, идите — вот ваша комната.

Руднев посмотрел на уходящую по коридору Любашу, и она стала ему на минуту так мила, так знакома... что он не мог удержаться от легкого вздоха, и поскорее вошел за Сережей в жарко натопленную и очень уютную горницу с старым ковром по всему полу, где ему уже была приготовлена на одном конце огромного турецкого дивана самая свежая постель, покрытая пунцовым шелковым одеялом.

— Вы еще не хотите спать? — спросил Сережа, оставшись наедине с Рудневым.

— Нет, еще посидимте, покурим вместе... — отвечал доктор. — Вы, конечно, курите?

— Курить-то курю! Да, знаете, не всегда финансы есть... Вот с тех пор, как Алексей Семеныч здесь, курю все его табак.

— Кто это Алексей Семеныч?

— Вы не знаете Алексея Семеныча?.. Что вы? Да вы же сами его рекомендовали. Бого-явленский, Алексей Се-меныч...

— А!.. Вы довольны им?

— Кто? я или наши?

— И вы, и ваши?

— Отец ведь ни во что не входит. Всем вот теперича кощей-то бессмертный вертит; старуха только: «Ашенька, Ашенька». Я доволен, а они не так-то... Алексей Семеныч молодец; все, что скажет, как зарубку сделает в душе...
Право!

Руднев не отвечал и стал раздеваться.

— Вы хотите спать? — спросил Сережа, вставая.

— Нет-с. Я только прилягу, я очень рад побеседовать с вами... Какое славное одеяло мне положили.

— Это Люба вам свое... ишь, бестия!.. Алексею Семеничу ни за что бы не дала...

Руднев покраснел.

— Зачем же это? Это зачем, я не знаю, — сказал он, — я его сниму, здесь и так жарко. Я одной простыней оденусь. Отослали бы его назад.

— Ну, вот еще... Что она за фря! У нее два одеяла... Другого в доме хорошего нет, — так вот это вам прислала. Алексею Семеничу старое ситцевое дала. Накрывайтесь, накрывайтесь... А я посижу...

— Скажите, давно ваш папа впал в душев-

ную болезнь?

— У-у! давно уж! Это все кочерга, эта Анна Михайловна наделала. Она, шельма...

— Зачем это вы все бранитесь? Перестаньте, пожалуйста, я вас прошу; говорите просто.

— Ну, хорошо. Так это все она сделала... Ведь она от другого мужа; старуха-то наша бедокур, троих мужей заела. Третий-то бездетный был, беспсемянка; а от второго отец наш; да еще тетка есть на Кавказе, замужняя; да под Карсом полковник убит, тоже дядя; а от первого мужа трое: один в Варшаве — губошлеп, старик уж; другой, вот знаете, Платон Михайлыч, у которого вы Колю лечите (какую красотку ведь старый чорт подцепил; дуря только), а третья — вот наша ехидна Анна Михайловна. Да вот еще тетка была, Марфа Михайловна, за Щемахаевым; сын ее олух, еще к Александру Николаичу Лихачеву часто ездит, тот его все Сарданапалом зовет. Родных у нас куча!

— Знаю, знаю; да что же вы об отце своем забыли?

— Вот я вам сейчас расскажу все. Приехал он молодым офицером в отпуск; Анна Михай-

ловна одна была дома: ее братья тоже были на службе, — меньшие еще не родились; а бабушка уж овдовела второй раз; ну, Анна Михайловна была двадцати восьми лет, а отцу двадцать два... Шуры-муры пошли. Известно, чем кончилось; она ведь, говорят, смолоду хороша была... Завтра в зале посмотрите ее портрет с голубком... В ту эпоху-то! Каковы? Тоже люди! После отец второй раз приехал, женился, — из Курской губернии привез нашу мать... Любаша, говорят, на нее две капли воды похожа... Тут вдруг польская кампания; отец уехал, а мать была мною беременна. Умерла в родах, а я вот жив остался. Люди рассказывают, что доктор приехал, пустил ей кровь, так кровь даже сверху вся желтая, как гноем покрылась, он поскорее выбросил ее из окна.

— Это вздор! Я вам после объясню, что это вздор, — перебил Руднев. — Если бы ей сильный яд дали, и вас бы не было на свете. Продолжайте, продолжайте, мне все это для лечения нужно.

— Нет, доктор, поверьте, если не в этот раз, так прежде она хотела ее отравить. Повара за

это сослали на поселение. Это такая до сих пор неразгаданная тайна! Вы знаете наш суд, Алексей Семеныч называет его всегда Шемякиным судом. Старая стряпуха до сих пор помнит, как Анна Михайловна бледная бежала; а мать молоком поили... и кто бы, вы думали, ее спас? Эта Палагея Сергевна, которую вы видели: она выпросила у матери варенье, в котором был яд, да и поела; а мать одну ложечку съела. Конечно, Палагея Сер — гевна — животное, вынесла, — уж, говорят, что с ней делалось; а мать с тех пор все хирела. Отец как из Польши вернулся да мать не застал, — он, первое дело, до полусмерти сестру избил, говорят, — ужас! Она от него, в ноябре месяце, за анбаром всю ночь просидела спрятавшись, а на рассвете убежала к тому брату, у которого вы вчера Колю лечили... С тех пор отец и плох. Вот у нас, батюшка, какие дела происходили. Вы нами не шутите. Любаша не верит этой истории, а я верю! Мать была добра, не сдобро-вала, а Анна Михайловна живет и наслаждается! Какое же тут высшее правосудие, скажите?

— Не надо его себе так представлять; тогда

и не удивимся таким случаям, — отвечал Руднев. — Вам, может быть, это кажется странным; а уж если верить в высший, всемирный разум, который так, как наш дух проникает все частицы нашего тела, проникает всю природу, — так и не будем удивляться, что злой коршун доброго зайца ест; заяц развелся бы и поел бы овес у мужика и т. д. Ну, однако, покойной ночи.

Сережа ушел, а в душе Руднева, когда он остался один и погасил свечу, поднялась целая буря ощущений.

Эта жаркая комната, лунный свет на пестром ковре; этот старый дом, небрежный рассказ грубого мальчика про темные дела прошедшего; эта красивая девушка, которая, как полудикий куст розового шиповника, казалась еще милее оттого, что выросла в смрадном углу развалины, и которой девическое благоухание он слышал так близко от себя, в свежем шелковом одеяле... Руднев, Руднев!., что с тобой?! Ты ли осмелился так свободно мечтать? Что ты подумал, глядя на ковер, на свет месяца и касаясь рукой невидимого шолка, которым тебя так радушно покрыли?..

Усни, усни скорее, мгновенный смельчак... и проснись ты завтра обыкновенным скромным Рудневым, который смеет только существовать и трудиться, а не блаженствовать.

XV

Лунный свет в окне сменился солнечным; с крыш текло, птицы веселились на дворе; в доме все помолодело... Дюбаша ждала доктора в зале с чаем и кофе; старик три раза уж спрашивал о нем. Напился кофе; угодил еще раз больному; позволил себе даже фамильярно покачать головой Сереже за то, что тот при нем толкнул в спину сестру, и собрался к Протопоповым, где его тоже с нетерпением ждали.

— Прощайте, г. медик, прощайте, — сказал ему Максим Петрович, — завтра жду вас... Вы поняли мою болезнь, я это вижу!..

И когда он вышел, Максим Петрович сказал дочери: — Вот это доктор, так доктор. Не Воробьеву чета!

В зале Любаша догнала Руднева и подала ему небольшой конверт.

— Что это, деньги? — спросил Руднев. Лю-

баша покраснела.

— Конечно, деньги. А то как же?

— Я не возьму, — отвечал Руднев.

— Отчего же вы с Протопоповых взяли?

Двадцать пять рублей, а тут всего три.

— Не возьму я с вас деньги...

— Отчего?

— Еще ваш отец не встал; когда встанет, тогда. Не возьму теперь...

— А ездить будете?

— Буду, пока бок его пройдет, — отвечал Руднев и уехал, несмотря на все просьбы Любаши.

У Протопоповых он застал Воробьева.

— Я не нашел характеристических трубочек в рвоте. Крупа не было, — сказал насмешливо при всех уездный врач.

— Да, их и не было еще, — отвечал сухо окружной, — я полагаю, что рутины не для чего было держаться и ждать, пока круп выразится. Серно-кислая медь не могла повредить ребенку, а предупредить развитие крупа могла. Самое густое содержание пузыря, который подняла на шее мушка, уже показывало большое расположение крови к пластично-

сти; да и вы застали уже изменившийся к лучшему timbre кашля.

— Я согласен, что круп мог бы быть, но утверждаю, что он не настолько еще выразился, чтобы мы имели право назвать болезнь крупом — *Laryngitis pseudomembranacea*.

— С чисто научной точки зрения, это — правда, но ведь родителям не статьи писать и не любоваться на клинический идеал болезни; а им надо, чтобы сын их выздоровел, — оглядывая с ног до головы соперника, возразил Руднев.

— Я против результата ничего не имею, — с придворным жестом отвечал Воробьев.

Протопоповы, муж и жена, радостно переглянулись, а Руднев, садясь на возок (который запрягли ему четверней, не зная уже чем угодить), развернул новый пакет и нашел в нем еще двадцать пять рублей.

— Ничего! — шепнул он сам себе, откидываясь в глубь возка, который мчался во весь опор к Деревягину.

К Протопоповым он больше не ездил, и лечение волей-неволей кончал Воробьев; а в Че-

моданове бывал через день, через два, в течение двух недель. Максиму Петровичу становилось все лучше и лучше; бок его совсем прошел; но по мере того, как спадал жар и проходила острая боль, он становился все молчаливее и задумчивее. Уж и приезд Руднева не радовал его; молча здоровался он с ним и, заложив руки за спину, продолжал прохаживаться по комнате. Руднев, увидав, что он уже не кашляет и за бок не хватается, не смел спрашивать у него о здоровье и узнавал от родных. Опустив глаза, говорил он с Любашей, которая сама подходила к нему с рассказами об отце, и от нее он узнал, что старик всегда бывает такой в то время, «когда с ним это случается».

— Что вы вздыхаете, папа? — спросила его вчера Лю-баша.

— Пора мне в могилу, пора мне в могилу, пора мне в могилу! — сказал отец и ушел от нее.

Анна Михайловна позволила себе сесть против него за обедом, но Максим Петрович тотчас же встал, ушел к себе в спальню, ходил по ней целый вечер и, часто вздыхая, твер-

дил: «О, Боже! помилуй нас грешных! О, Боже! помилуй нас грешных!» Боялись все, что он спросит стклянку с ядом, но он не спрашивал, и Руднев решил прекратить свои посещения. Проводить целые часы с старухой, которую он считал извергом, или с глупой и лукавой Анной Михайловной — ему было тяжело; от Любаши он удалялся; Сережа надоедал ему: то кривлялся и беспрестанно говорил, зевая: «Скука! спать хочу!», то не давал ни сестре, ни тетке, ни Рудневу сказать слово, сейчас пренесносно острил, играя словами. Кто-нибудь говорил: «Макового молока надо; мак есть?..» Сережа спрашивал: «Какой мак? Мак'Дональд или Мак'Магон?» А сестра и тетка не знали даже, кто это такое Мак'Дональд и Мак'Магон...

Говорил кто-нибудь: «Она не виновата».

— Не виновата? — восклицал Сережа, — значит, пиво и хлопчатая бумага?

— Полно, Сережа!

— Пусто, Любаша!

— Перестань!

— Я сижу, а не стою; ты бы сказала: «пересядь...» Конца нет, и сам один хохочет.

С Богоявленским Руднев, во время этих посещений, стал почти врагом.

Богоявленский с своей стороны не остался в долгу.

— Есть ведь и между мужчинами тряпки, которые, как старые бабы, без вздыханий жить не могут, — заметил он раз, когда Руднев возражал против его атеистических теорий.

— Все-таки они лучше вас, — возразила ему, вся вспыхнув, Любаша.

Богоявленский тоже покраснел, поправил очки, пристально взглянул на нее и воскликнул выразительно три раза на разные тоны: «Эге! эге! эге-е!» Когда опять пришлось получать от Любашаи деньги, Руднев опять отказался.

— Вы взяли у Полины пятьдесят рублей, — сказала Любаша. — Отчего вы у нас десяти не хотите взять?

— Протопоповы гораздо богаче вас, — отвечал он, — позвольте мне так уехать. Сделайте мне удовольствие!

— Бабушка не возьмет назад.

— Спрячьте и издержите на себя, — шутя

сказал Руднев.

— Как! Что вы это! Возьмите вы их ради Бога!

— Ну, если не хотите оставить себе, отдайте бедным, в кружку положите, что хотите. Только я бы не хотел с вас брать.

— Лучше уж вы истратьте их на лекарства мужикам. Вы, я слышала, свои на них тратите... Все вас хвалят!

Руднев, краснея, возразил, что пора ему ехать, что долго спорить он не станет, и предложил поделить деньги так: пять рублей он возьмет на лекарства, как она сказала, а пять рублей оставит у нее.

— Так и я их в кружку положу, — отвечала Любаша. — Хотите, вместе положим? У меня есть серебряные рубли; я разменяю бумажку, и мы пойдем вместе, пока лошадей запрягают.

Руднев сомневался, пустят ли ее; но Любаша побежала к тетке, поцаловала у нее руку и сказала: — Позвольте мне, душечка, пешком до поворота к Полине доктора проводить?

— Спросись у бабушки, — отвечала Анна Михайловна.

Любаша и у бабушки поцаловала руку; старуха поглядела с улыбкой на дочь и спросила: — Что ты об этом думаешь, Ашенька?

— Я думаю — ничего. Он такой скромный молодой человек. Что ж, пусть пройдет; она все это время с отцом была и не гуляла.

Любаша повязала голову песцовой косыной, разменяла бумажку на рубли и выскочила к Рудневу в бархатном салопе такая красивая, что доктору стало опять совестно идти с ней рядом в бараньей шубе.

Они вышли через девичье крыльцо, чтобы успеть дойти до церкви, прежде чем их догонят сани, молча побежали до кружки, оглядываясь со страхом, бросили туда деньги, и лицо Любаши все заблестало от волнения, когда куча рублей со звоном упала вглубь.

— Что ж? Дальше? — спросила она.

— Идем, если хотите.

Они прошли еще с полверсты молча; наконец Любаша заговорила, глядя вдаль: — Вот, сегодня сумерки, и когда вы в первый раз к нам ехали, тоже были сумерки; тогда была заря, и теперь заря...

— Только сегодня теплее, — заметил Руд-

нев и перепугался, что вышла нечаянно трогательная двусмысленность.

К счастью, Любаша приняла слово «теплее» в прямом смысле и отвечала: — Да, тогда днем морозило, а вечером теплее стало, а сегодня днем таяло, а вечером подмерзло. Я люблю зиму. А вы?

— Люблю, — рассеянно отвечал доктор. — Однако, вот и сани. Прощайте, Любовь Максимовна, желаю вам быть всегда такой же, какие вы теперь! — осмелился сказать он на прощанье.

— Прощайте! — отвечала Любаша, с чувством пожимая ему руку, — вы будете к нам ездить? Папа вас полюбил. У нас теперь скука. А по временам у нас много бывает гостей и родных. Будете ездить?

— Нет, не буду.

— Отчего?

— Как вам сказать? Видите, я имею дело с природой. У кого бок болит, я могу приехать; а так ездить, — это уж не природа! Прощайте, будьте здоровы!

Сел доктор в сани и оглянулся немного по-годя, но добрая барышня уже скрылась за цер-

XVI

Слава Руднева вдруг разнеслась по округу.

— Вы, говорят, чудотворцем стали? Неизлечимые болезни вылечиваете! — сказал ему Лихачов, который заехал к нему на минуту.

Воробьев был вне себя от злости, еще не зная, что Протопоповы собираются отказать ему и пригласить годовым Руднева.

— Что он там ни толкуй, — говорил отец Протопопов, — по своей науке, а ребенок жив; ведь круп известно что!

А мать и не находила слов в похвалу Руднева: и «charmant, и собой недурен, и внимателен, и дельный».

Даже «ай-ай», и тот желал снова видеть угрюмого юношу, который гладил его тихо по голове и который («ай-ай» чувствовал это) очень скоро облегчил его.

В Чемоданове все были тоже довольны им. Но Воробьев, еще и не зная обо всей силе его успеха, уже ненавидел его. Возвратившись в город, он тотчас же написал письмо к инспектору врачебной управы, который был ему

близок, что «окружной врач не живет в городе, а в дядиной деревне, и что ему, Воробьеву, отбоя нет от государственных крестьян, которые приходят к нему лечиться». Приходило в самом деле человека три незадолго перед этим: один в самом городе на торгу вывихнул себе руку, а двое других были издалека, и город был, точно, ближе к их селам, чем Деревягино.

Окружной начальник скоро получил выговор частным письмом за такие упущения, а Рудневу пришло официальное — ное замечание. Окружной очень сожалел, однако сказал, что надо будет переехать в город.

«Ну, уж нет!» — подумал Руднев в бешенстве и, вернувшись домой, рассказал тотчас же дяде всю историю и все низости Воробьева.

Дядя был поражен.

— Это уже в категорию черноты входит! — заметил он грустно.

— Что же делать, как вы думаете...

— Думаю, что надо в город.

— Вы думаете?

— Думаю...

— Ну, а я думаю иначе!

И с этими словами Руднев ушел в пристройку. Там ходил он долго взад и вперед, раздумывая о Троицком.

В самом деле, с одной стороны, страдания и просьбы крестьян, которым нечем будет помогать, если выйти в отставку, с другой — возможность жить у себя, с третьей — невыразимое наслаждение отомстить Воробьеву и вместо несчастного, задавленного им соперника предстать вдруг пред ним победителем! Да еще каким! Троицкое жалованье больше казенного, и на него больше можно сделать пользы.

— Постой же, я сделаю ему сюрприз!

Тотчас же написал он записку к Милькееву, приглашая его приехать. Милькеев не заставил себя долго ждать, и готовность эта, вид его привлекательного, доброго и веселого лица еще больше укрепили Руднева в новом решении.

— Вы, отец, не будете смеяться надо мною? — спросил он Милькеева.

— Не буду, — отвечал Милькеев.

— Ну, смотрите... Эх, да ну, куда ни шло! В

жизнь хочу бросаться...

— Что вы?

— Ей-Богу. Говорите, нужен я, что ли, в Троицком?..

— Страшно нужны! Каждый день чувствуется ваше отсутствие.

— Да нет, точно ли я нужен; не для меня ли одного вы это говорите? Для других-то нужен ли?

— Говорят вам, невыносимо нужны.

— Так я на все ваши условия согласен... Скажите Катерине Николавне, и если угодно...

— Ура! Ура! — закричал Милькеев, отворяя дверь из пристройки. — Владимф Алексеич! Владим1р Алексеич! племянник ваш переменял гнев на милость. Он — доктор в Троицком.

— В добрый час, в добрый час, — с обыкновенной загадочной усмешкой, входя в пристройку, сказал старик; но и племянник, и Милькеев видели, как руки его дрожали от радости.

Милькеев сейчас же уехал домой, чтобы поскорее все кончить; а доктор, оставшись

один, сказал себе: «Однако, что же это такое? Кажется, уж и меня люди любить начинают?» Катерина Николаевна, узнав от Милькеева все подробности дела, с радостью согласилась отказать Воробьеву и написала записку.

Милькеев, которого эта история очень занимала и веселила, умолял Новосильскую быть верной своей наставительности и, примерно наградив добродетель, наказать порок, то есть сказать в записке, что отказывает Воробьеву за низость его характера. Но Катерина Николаевна не согласилась, понимая, что для такого человека двести пятьдесят рублей сильнее всяких слов, и причиной привела дальнейшее расстояние города и желание иметь врача у себя ежедневно.

Однако Милькеев, тайком от нее, приписал на обертке: «за лихоимство и неприличный вид» и подписал под этим свою фамилию.

Целый день после этого он ребячился: надел колпак из синей бумаги, представлял перед зеркалом страстного испанца, играющего на гитаре, которую заменял ему Юша; ездил с детьми по зале за морскими бобрами; доужи-

на терпеливо, постоянно говорил только дискантом, и когда дети спросили у матери: — Чему Василиск так рад, мама? У него сегодня такое лицо, как тогда, когда он читал, как греки Ксеркса разбили. Чему он так рад?

— Это он рад, что Воробьевы существуют на свете, — отвечала мать, — и что Воробьевых можно наказывать.

— Воробьев будет сердиться или грустить? — задумчиво спросил Федя.

— И сердиться и грустить, — отвечала мать, — а разве тебе жаль его?

— Мне всех жаль! — сказал Федя.

Оставшись одна с Милькеевым после ужина, Катерина Николаевна передала эти слова Феде и, с глубоким чувством протягивая руку своему другу, сказала: — Ах, Василиск! если бы вы знали, какое счастье видеть такое сердце у своих детей... Если бы не они и их будущее, я бы сейчас желала умереть... У меня самой все уже тупо и безжизненно в душе. Все чувствуешь только, как будто по старой памяти... Гасну, гасну каждый день...

Милькеев поднес ее руку к губам и отвечал ей: — А любить уж вы не могли бы?

— Как, мужчину? Вы с ума сошли!

— Отчего?

— Да разве меня-то можно любить?

— Еще как! И отчего бы вам не позволить себе все, что хотите... Вы столько делаете хорошего, что и люди вам все простят.

— Да кто вам сказал, что мне хочется любить так, как вы думаете? — отвечала Новосильская. — И кого мне полюбить? Уж не вас ли? Вас, кажется, Воробьев с ума свел?

— Хоть бы и меня. Я, понимаете, хотел бы только знать, мои ли недостатки этому препятствуют, или ваши года и усталость... Вы знаете, что и я с вами громко думаю. Ей-Богу, мне совестно от вас скрыть малейшую мысль. Подумал и сказал: успокойте меня! Скажите, я ли негоден, или вы отжили?

— Нет, мой друг, вы в самом деле легкомысленны, вам все нипочем... и воображение у вас сильнее всего, надо правду сказать... Я не презираю за это вас, Василиск; я сама такая, и если я теперь посолиднее вас, так это года, болезнь и совсем другие взгляды; я, как вы говорите, остановилась на нравственности и порядке, а вы ищете другого... Но знаете

ли, как у меня до сих пор развратно воображение! Не для себя, так для других. Вы этого не знаете, а я знаю! Но я ненавижу это в себе, и чистота для меня лучше всего... Иногда я внушаю себе такое отвращение, так тоскую целое утро, сижу здесь у камина и завидую какому-нибудь пустынноку и тем, вот, которые жили в столбах... От этого я и Руднева поняла легко... Подите спать, Вася, и такого мне вздору никогда не говорите. Наши отношения должны быть чисты...

Милькеев, вставая и уходя, обернулся и спросил: — Вы не сердитесь?.. Ради Бога, не сердитесь... Это пустословие одно!

— Разумеется, не сержусь; стоит ли об этом говорить... Ступайте... Да! как вы думаете, звать Руднева завтра обедать или нет?

— Я думаю, не подождать ли; чтобы он не испугался сразу излишней близости.

— Хорошо, — сказала Катерина Николаевна.

На другой день Руднев принял в свое ведомство лазарет и получил вроде задатка сто рублей, не сам, а через дядю.

Лазарет был в порядке, больных было на

этот раз немного. Светский фельдшер с бакенбардами сказал ему: — У нас есть все: даже атропин, сантонин, дигиталин и лупулин есть... Г. Воробьев критиковал многое; но это они, я полагаю, больше для форсу делали... Потому отказу ни в чем здесь нет, и расход всегда превосходит приход от платящих больных.

— Хорошо, хорошо, — говорил ему Руднев, — я все это разберу понемногу!

Вернувшись домой, он от радости не мог книги в руки взять целый день, говорить ни о чем с дядей не мог и все рассчитывал, как распорядиться деньгами.

Купить то-то и то для больных; выписать роскошный атлас для глазных болезней, себе новую черную дубленку, хорошую шапку. А там еще сколько денег ждет его!.. Чего он себе ни купит; он выпишет себе множество книг и узнает даже, что Энгель говорит в Вене об архитектуре лица и черепа, что в каком-нибудь далеком Марбурге придумал какой-то Fick о развитии костей, что, наконец, хочет сказать Гучке в Иене своим пышным заглавием: «Hirn, Schadel und Seele». Давно уже мучило

его, что они там говорят!

Засыпая, он было подумал, что хорошо бы поставить матери памятник в Троицком: большой камень, почти необтесанный, с крестом наверху и надписью: «Доброй матери одинокий сын»; но вспомнив, что троицкие будут читать это и думать, что он сделал это для... он так вздрогнул, что проснулся и уже не спал до рассвета.

Воробьев был, конечно, в исступлении от такого сюрприза; хотел наговорить дерзостей Катерине Николаевне и Милькееву; приехал, закричал на управляющего за оспу, хотя управляющий прививал оспу по охоте и обязанности никакой не нес; потом вошел в прихожую, швырнул шубу человеку и, сказав ему гордо: «доктор Воробьев!», вошел без доклада. Но царственный вид Катерины Николаевны и атлетические формы Милькеева расположили его более к дипломатическому разговору, чем к буйству или сатире. Николай Лихачев вскоре после этого ездил в губернский город, виделся с кем нужно, и Руднев остался по-прежнему окружным врачом.

Часть II

I

«Милькеев был прав!» — думал Руднев, проживши более полугода с Новосильскими. «Может быть, в жизни, которую я вел прежде, было больше ноющей теплоты, больше элегической сладости, больше борьбы с препятствиями... Ведь гораздо труднее лечить приходящих крестьян, чем заниматься в устроенном лазарете! Во всем этом было, может быть, больше достоинства. Но здесь так привольно, так все дышит здоровьем! Здесь элегия теряет раздирающую болезненность и является только на миг, как намек на нечто печальное и далекое, чтобы люди сильнее упивались близким и прочным счастьем».

— Вы полюбите нас! — сказала ему Новосильская смело, и он убедился, что она — хороший пророк.

И как было не полюбить? Дом, как полная чаша, простор, веселье; едят по-старинному: и много, и часто; большие комнаты под разноцветный мрамор; люстры с переливными хрусталями, колонны; на всех дверях резные

фрукты, цветы, корзины с дрожащими коло-
сьями; газеты, книги новые, гостеприимство;
все старинное — хорошее, и все новое — по-
чтенное. Сады, прогулки, купанье летом; ка-
танье зимой на санках одиночками или на
целой куче саней, прицепленных к передним
большим, запряженным шестериком, в кото-
рых, стоя и обернувшись назад, сама хозяйка
любуется на свой веселый хвост. Дети, про-
стые иногда до грубо — сти, но добрые и чест-
ные. Люди сытые, довольные, вежливые, раз-
нообразные (Руднев старался все подметить,
чтобы не ошибиться). Управляющий — ум-
ный толстяк, крикун и хлопотун; при графе
пил, а с тех пор, как Катерина Николаевна од-
на, — закаялся, и трезвее всех; хирург по охоте,
такой ловкий, смелый и находчивый, что
Руднев приглашал его с удовольствием на все
операции; он и уговорить больного, и при-
крикнуть умел кстати: «что ты орешь, что ты
рвешься; чорт, право, чорт!» — раздражался он
вдруг, замечая, что ласка не действует. «Дома
жену бьешь, не жалеешь. А сам не хочешь
терпеть!» Больной крепился, и операция шла
скорее.

Спрашивал про него Руднев тайком у крестьян, и они говорили: «Ничего! дай Бог ему здоровья!», а это «ничего» — значило много у крепостного крестьянина!

Жена его, экономка — белая, розовая, полная; вкусно взять от нее съестное; немножко хитрая и жеманная, но прелюбезная! Стоило занемочь кому-нибудь в доме — Баумгартену, Милькееву, хоть слуге, — она уже бежит и с вареньями, и с сиропами, и с морсами. Слуга ходит за Федей и Юшей: смуглый, мрачный, тихий, с благородным лицом — точно принц, обращенный неприятелем в рабство; он молчалив, не учит детей глупостям и с кроткой твердостью переносит их шалости.

Руднев сам видел, как Федя с Юшей, оба нагие, гнались за ним из своей спальни, умоляя его не жаловаться; но он пошел и сказал Баумгартену.

Горничная самой Новосильской — настоящая субретка; слегка рябоватая, но милая, стройная, везде порхает с улыбкой и ловко одетая. Муж ее, повар — молодец, из хохлов; лихой охотник, выпить не прочь, но боится жены и любит ее так, что выскакивает из кух-

ни, когда она идет мимо, чтобы поцаловать ее руку. Нянюшка, которая ехала когда-то на линеечке с Рудневым и заступалась за Милькева против капитана — седая, скромно и со вкусом одетая, тонкая, скорей дельная классная дама, чем нянька.

Дворецкий — толстый добряк, говорит вициевато, любит Рудневу за то, что тот выпустил ему раз чуть не целый таз крови; докладывает ему дружески, что он маменьку его хорошо знавал; и за глаза хвалит ее, и прибавляет только таинственно: «я их Марфушкой кликивал много раз!»; он недурно играет на кларнете, и слушать его игру издали очень приятно, особенно в зимние сумерки, когда в доме все стихнет.

И все они веселы, более чем сыты! Наряжаются на Святках и пляшут до упаду в господской зале вместе с детьми; и по всем большим праздникам приходят за подарками, которые, сидя в кресле, как добрая царица, раздает Катерина Николаевна.

Над всей этой жизнью царил ее дух. Не отходя иногда по целым дням от камина в своем кабинете, она умела простирать свое вли-

ание до последней избы. Всякий ждал от нее чего-нибудь, и все получали возможное: один ситцу на рубашку, другой — помощь на приданое дочери, третий — угол старой матери; тот — лекарства, тот — прощения или материнского укора, и всякий ждал улыбки и приветствия: мужик, сосед, слуга, учитель, заезжий вельможа и нищий!

Она не совершала внезапных подвигов (хотя по ее характеру и прошедшему можно было думать, что она и на них была способна); но вся ее жизнь была тихий, незаметный для многих, но постоянный подвиг. Сколько раз видел ее Руднев поутру — убитой, изнуренной бессонной ночью, с мутными, почти старческими глазами, с невыносимой болью в спине; она умоляла только, чтобы ее оставили одну, просила детей не играть и не кричать близко, не сдавалась на мольбы Милькева прослушать какое-нибудь чтение; казалось, искры жизни в ней нет! Но стоило только сказать: «Вас зовет в больницу Прасковья; она рожает и умирает от двойней» — где усталость, лень, спина? Стан выпрямился, глаза оживились; она бежит, просиживает по

нескольку часов на деревянном табурете, ласкает умирающую, не брезгает даже пить кофе в тяже — лом воздухе, потому что Прасковья держит ее за руку и не пускает от себя.

Сколько вещей, невозможных для других, для нее были возможны; людей, которыми она была недовольна, она отпускала на волю, и иные из них возвращались и просили допустить их в низшие должности. Она довела раз до слез увещаниями мужика, который безжалостно бил смирную жену, и через пять лет приходят люди с деревни и говорят, с тех пор не бьет!

Как умела она увидеть слабую струну человека! Но не для того, чтобы терзать еще больше, а для того, чтобы залечить, если можно, рану, а нельзя, так по крайней мере облегчить. Как незаметно и ловко умела она оказать предпочтение в обществе тому, чье положение было ниже!

Недостатки ее даже нравились Рудневу; проблески самолюбия, которые она и не старалась прикрывать неудачными уловками; изменчивость ее вкусов: то страсть к музыке и игра на рояле до изнеможения, то скачка за

сто верст, то лень сойти с террасы, то от бильярда не отходит, то не подходит к нему; то видеть печатного не может, то оторваться от книги не хочет. Привычка переспрашивать десять раз одно и то же, добиваясь иной раз похвалы, раздражала на минуту Руднева...

— Не правда ли, моя Маша симпатична?

— Очень симпатична, Катерина Николаевна.

— Нет, в самом деле, не правда ли она симпатична?

— Я, кажется, уже докладывал вам, что хорошо... — И взор доктора омрачился на минуту; но немного погодя он был рад, что эти слабости давали ему еще больше права верить ее высоким качествам.

— Нет, батюшка, вы мало сказали! Слишком мало! — говорил он Милькееву, — я иногда так себе сижу и думаю: куда как она высока! Конечно, все ей смотрят в глаза, все ее хвалят, служат ей с энтузиазмом, она богата, смолоду была красавица... Да чем же она виновата, однако, чорт побери, что она небедна и недурна?!

Иногда, по привычке, Руднев досадовал и

сомневался, когда был дома или ехал по дороге, спрашивал себя: «отчего бы ей не сделать неслыханную вещь — раздать всю землю и все вещи крестьянам, а самой остаться так?..» Но отворялась дверь в залу, и крик детей, ее улыбка... и куда, куда исчезали сомнения, досада. Он был друг, страстный друг этой благородной семьи, он был почти раб ее!..

Сколько успехов сделал Руднев в науках, благодаря богатой жатве, которую предлагала ему со всех сторон троицкая жизнь! Полушутя весной и летом в садах и лесу, зимой в оранжереях, он дошел до того, что ни одна ботаническая идея не была уже для него теперь чуждой; своими деревягин-скими пальцами трогал он и вскрывал, отыскивая таинственные органы плодотворения, цветы бананов и пальм; следил за полетом пушистых семян тополей и осин; выучился находить сам все местные лекарственные травы... Но этот сухой перечень ученых успехов не даст понятия о том блаженстве, которое охватывало его сердце, когда он где-нибудь, один на острове, под густой шум близкого фонтана, срывал новый цветок с куста, вникал в его архи-

тектуру и с замиранием духа раскрывал потом книгу, чтобы проверить себя. Бор, река, сады и поля поддерживали в нем также свежесть анатомических познаний, которые он, по желанию Новосильской, взялся передавать не только Феде, но и девочкам. Воздушная Маша и красивая, строгая Оля не брезгли этим, говорили с гордостью: «что это все вздор, нисколько не противно!» и охотно держали за лапку ободранную лисицу или оципанного филина, пока Руднев распарывал им живот или вскрывал череп.

Дети любили Руднева наравне с Милькеевым, и Катерина Николаевна издали, по крику детей узнавала, который из них двоих входил в залу. Когда входил Милькеев, дети кричали как можно басистее и грубее: «Васька! Васька!», а когда входил Руднев, они кричали самым тонким дискантом: «Васинька! Васинька!» Сверх того, Милькеев был по-прежнему Васииск, а Руднева Федя прозвал: «В глуши расцветший василек».

Во всех книгах с картинками дети отыскивали Васю и Васиньку. Если в книге были звери, то все слоны, ревущие быки, бизоны

были Вася; а все лягушечки, червячки, жучки скромные — Васинька.

Милькеев теперь был для него уже друг, а не просто приятный собеседник. Разрушая, с одной стороны, веселыми сомнениями единство его прежней системы, ужасая его на мгновение картиной бесплодных, по-видимому, колебаний человечества, отвергая веру в возможность всестороннего улучшения, восхваляя изящные пороки одних и мужественную жестокость других в прошедшем, Милькеев вносил столько нового и заманчивого в круг его мыслей, предоставляя ему на досуге примирять все это как угодно, что Рудневу день, в который он не поспорил с Милькеевым и не послушал его, казался скучным и сухим. Ему первому с жаром рассказывал он о своем прошедшем, ему поверял свои беспокойства, свои научные и практические планы; говорил ему о таких вещах, о которых он не решался еще говорить никому.

— Что бы там ни было, — говорил он, — убить ли личность нужно, или, по-вашему, дать ей волю иссушать других для пышного расцвета, во всяком случае надо бы понять,

изучить ее; но людские телосложения так сложны, общество так меняет коренную природу нашу, что для этой науки нужны века, а пока насущного хлеба она не дает, охотников до нее мало. Я хотел бы внести для будущего один хоть плохонький кирпичек, и вот, что мне пришло в голову... Если можно, изучить мозг галки, мозг вороны, ворона, сороки и грача. Сравнить величину, вес мозга и частей его, химический состав и расположение ячеек чувства и движения и т. д. Эти пять птиц и близки друг к другу, и очень различны. Смотрите: галка глупа, неосторожна и общительна; ворона осторожнее и живет попарно; суровый ворон представляет те же свойства, но в высшей степени, и способен говорить; сорока говорит иногда еще лучше попугая, весела, летает то попарно, то целыми обществами, хитра и пронырлива; грач довольно бесцветен, но оригинален между ними своими отлетами на зиму... Если бы, душа моя, изучив их до последней ниточки, я бы мог обогатить хоть на волосок бедную, недоходную психологию, я бы спокойно лег в могилу!.. Другой раз сидели они на лужайке в бору и долго оба

молча слушали, как пели и чуть слышно пищали мелкие птицы; наконец Руднев сказал не без смущения: — Не смейтесь надо мной, отец мой, я вот вам что скажу: мне все кажется, что птицы — неудавшиеся на земле высшие существа... Быть может, на других небесных телах, воздушный полет соединился с глубоким развитием мозга и души. Мне кажется, что даром не было сказано ничего и что ангелы церковных живописцев найдут себе приблизительное оправдание, как нашел оправдание древний дракон в ископаемом перстокрыле. Течение идей не всегда верно течению природных явлений, благодаря сложности нашей преломляющей среды...

— Не знаю, увижу ли я таких ангелов, — отвечал Милькеев, — но во всяком случае мысль эта смелая, и ваша преломляющая среда неплоха!

— Эх вы элоквент, элоквент! — воскликнул Руднев. — У вас все любезности на уме! а вот я так вас от всего сердца люблю, и если бы мне предложили на выбор: с вами век жить и разговаривать или с любимой женщиной, — я бы выбрал вас!

— Течение идей не всегда верно развитию фактов; вы благородно ошибаетесь, друг мой!

— Поверьте, поверьте! — с одушевлением возразил Руднев, — я никогда не влюблюсь... Я так самолюбив и застенчив, что могу полюбить только ту женщину, которая сама бросится ко мне... А где ее найти? Для этого нужна женщина самого высокого умственного развития... А где она? Только такая, поняв меня, решится...

— Бог знает! решится и попроще, — заметил Милькеев. — Вы видите в себе только угрюмого и робкого мыслителя, а девушка, быть может, увидит только милого юношу с бледными и пушистыми щеками, которые ей смерть захочется целовать! Изредка Руднев впадал, однако, в прежнюю недоверчивость, принимал внимание Милькеева за жалость, не отвечал ему, удалялся от него, говорил ему колкости, но Милькеев видел ясно, что в эти минуты не он падает в глазах Руднева, а сам Руднев, и спешил всякими обходами и ласковыми словами успокоить и ободрить его; переносил его вспышки, заигрывал без малейшей гордости, ходил за ним и раз, когда Руд-

нев, обидевшись чем-то, написал записку, что не может больше ездить в дом, а будет только лечить в лазарете, Милькеев собрал всех детей за угол ворот; подкараулив доктора, все они закричали «ура!», схватили его за руки и насильно привели в дом. На верхней ступеньке лестницы сама Новосильская стояла с кофе на подносе вместо хлеба и соли Можно ли было тут долго сердиться?

II

И Милькеев стал меняться в последнее время. Давно уже дети жаловались, что он не играет и не шутит с ними и слишком много стал сидеть у себя и писать. Осенью он послал в Петербург большую статью об эманципации женщин, в которой старался доказать, что семейная добродетель не должна быть целью всех женщин; что свободу женщин не следует понимать только в виде равных прав и независимости труда; что прошедшие века, не рассуждая об эманципации женщин, создали Аспазию, Нинону, Марию Стюарт, которые так же необходимы, как и весталки и честные матери, и нам остается только не па-

дать ниже прошедших веков. Перед Святками ему возвратили статью, отзываясь, что ее нельзя напечатать, потому что она вся пропитана равнодушием к злу и разврату.

После этого Милькеев еще чаще стал задумываться и, с удовольствием внимая шуму и смеху в зале, ходил по ней, заложив руки за спину и не принимая ни в чем участия.

— Вы начинаете у нас скучать? Как вам не стыдно! — сказала ему Новосильская.

— Вовсе не скучаю; а так, вдруг что-то дурно станет. Весной надо будет ехать в Москву защищать диссертацию. Здесь я забыл, что есть на свете заботы о насущном хлебе, люди, которые будут мне вредить и которым я должен вредить, чтобы они не забывались... Жутко станет!

— После этой диссертации можно опять к нам вернуться, — сказала Новосильская.

Предводитель, который был при этом разговоре, заметил: — А я так думаю, что с тебя довольно этой жизни. Заснешь ты тут. Еще полгода, и марш!

— Не хочется ехать, — отвечал Милькеев, — здесь меня все любят, никто не оскорб-

ляет...

— То-то и скверно, что никто не оскорбляет! — сказал предводитель.

Руднев тоже спрашивал у Милькеева: — Зачем вы хотите бежать отсюда? Куда вы торопитесь? Еще бы годик или два... Я верю в вашу звезду, — она не уйдет от вас.

— Вы верите, что я буду всегда так счастлив, как был счастлив здесь?

— Нет, я не в этом вижу вашу звезду. Я знаю, что у вас будет много горя впереди. Но зато вы везде будете нести с собой движение и полноту. Разве вы засохнете оттого, что останетесь здесь еще хоть год?

— Для кого, — спросил Милькеев, — теперь мне придется повторяться? Для вас? Я вас ввел в жизнь, — идите сами. Для детей? Мои семена уже брошены в них. Для себя? До здешней жизни, до этих лет, я не знал здорового счастья. Здесь я узнал, что такое нравственное блаженство в счастливой семье. Но цель нашей жизни не одно благосостояние; благосостояние должно быть только ночлегом для тех, кто хочет оставить по себе след. Целью нашей должно быть богатство идей,

которое как тень остается в мире после нас. Если человек сумел прожить ярко, то никакая гибель не убьет его лица! Погибнет тело, но лицо свершило свой круг — поднялось и исчезло, но след его пройдет... Многое я и сам понял здесь, чего не понимал прежде. Я понял, глядя на Новосильскую, что можно жить самому *a la Dickens* и понимать тех, кто живет *a la Sand*. Я понял, глядя на нее, что мечтательная душа может достигать результатов несравненно высших, чем натуры стойкие, если только она захочет внести начало пользы в свою жизнь. Все это я понял здесь. Все это так, но мне надо бежать!

— Разве его деятельность здесь не полезна? И разве человек не имеет права быть покойным? — спросила в другой раз наедине у старшего Лихачева Катерина Николаевна.

— Он, именно он не имеет права быть покойным! — сказал предводитель. — Здесь он перекипит бесплодно.

— А мои дети? — спросила Новосильская.

— Узко, не по нем шито! — отвечал предводитель. — Ведь это — эгоизм своего рода: заедать человека одною любовью и покоем.

Учителем что ли ему навек остаться? Помилуйте, что это? Аполлон в пастухах у царя Адмета! Послушайте меня: та деятельность только практична и небесплодна, в которой примирены: правила рассудка, природные расположения и вкусы и личные обстоятельства жизни. Ясно?

— Ясно. Что же дальше?

— Ну-с, вот брат мой кутит с мужиками и любим ими, имеет много спокойной энергии, домосед, ума весьма положительного и острого, но до сих пор жил без правил и цели. Вообразим себе, что крестьяне отпущены, что учреждены новые должности на либеральном начале. Так вы как думаете, не может разве брат быть на своем месте, когда займет эту должность? А если местное самоуправление устроится, хоть к старости нашей, разве он еще не может вырасти на целую голову? Вот что я называю служить цельным убеждениям, составившимся из правил и вкусов, и только они-то и годятся; а натяжки все эти ни чорта не стоят; только на время годны для выработки. Понимаете?

— Для брата вашего понимаю, а для Миль-

кеева нет.

— Брат мой — здоровый, густой портер, вот что такое мой брат! Пусть шипит медленно и густо, а ваш Милькеев — шампанское!

— Вовсе он уже не так пуст; вы видите, как он прилежно с детьми занимается; сколько дети в год успели; сколько он для себя кончил в эти полтора года, как он аккуратно высылал отцу семьсот рублей за тех людей, которых он взялся откупить; теперь только он все это кончил и стал задумываться... Может, и правда ваша, что ему нельзя быть всегда нашим учителем... Что же вы сердитесь? и барабани-те пальцами по столу и за голову схватились...

— Да как же на вас не сердиться, Катерина Николавна! Посудите вы сами, что вы наговорили; слов множество, а без толку все. Исходная точка — фальшь. Не надо спешить и людей смешить. Слушайте обстоятельно.

— Точно *ami Bonguars*; недостает только рукой по столу методически пристукивать.

— *Bonguars* — почтенный человек. И я рукой буду пристукивать — слушайте. Милькеев ваш — шампанское и должен им быть; по-

стоял-постоял, да и хлопнул; еще закупорился, и опять хлоп! Последнюю копейку ребром, как все нервные натуры. Но этим, сударыня, я не хочу сказать, что нервные натуры, то есть вы или Милькеев, истрачиваются навек от этих выходок. Нисколько. Напротив того, я этим подвижным людям приписываю непостижимую живучесть души; упал, устал, никуда не годится, кажется, разрядился весь. Глядишь, нет! Вынырнул, да еще и как! Где наш брат, солидный, размышляет, а он уж вон где! Кавалерия, одним словом.

— Вы кончили? — спросила Катерина Николаевна.

— Кончил.

— Теперь вы меня слушайте.

Она объяснила ему, чего она хочет для Милькеева: призналась, что те самые должности, которых ждет Нико — лай Николаевич для брата, соблазняют и ее для Милькеева, что она готова купить или отрезать ему земли, если, как слышно, это будет необходимо и если он, конечно, согласится; что будет не одна такая должность, и все они вместе — предводитель, его брат, она, Милькеев и Руднев

составят огромную силу в краю, — силу, которая и теперь уже заметна в частной жизни, а тогда будет еще действительнее.

— Я не говорила еще ему об этом, — прибавила она, смеясь и краснея, — а сама, признаюсь, уже заранее даже придумала, что сказать ему, если будет стыдиться взять землю... Я скажу ему: «Разве Маша или Федя обиделись бы и не взяли бы? И вы должны взять!» Не правда ли?

Предводитель встал, прошелся по комнате, постоял перед ней и, не сводя с нее глаз, повторил задумчиво раза три-четыре: «А, это статья другого рода! Коли так — это другая статья!» Потом простился и уехал; но проходя через залу, спросил у детей: — Где ваш Вася?

— Васька зазнался больно, — сказал Юша, — знать нас не хочет! Все с англичанкой читает какого-то осла Байрона!

Предводитель с братом были всегда хороши, никогда не ссорились; но мало говорили между собою дома и если говорили, то охотнее о разных случаях и слухах, чем о чувствах и мыслях. Старший Лихачев иногда скучал без Милькеева, с радостью выслушивал от-

рывки из его статьи и диссертации, поправлял кое-что, советывал, готов был всегда ему помочь. Милькеев внимал дельным речам предводителя с большим почтением и научился у него многому в течение года; говорил, что «от бесед с ним я стал ядренее». В общих спорах в Троицком, полушуточных или вовсе нешуточных, они были часто заодно. Предводитель нередко выпускал вперед Милькеева, а сам «крепил его тяжелой силой» какого-нибудь анекдота про губернаторов, про раскольников, про жида, про судью или про армейца дедовских времен и множеством других осязательных, практических сведений, которыми изобиловали его память и суровый ум. Когда он говорил: «Постойте-ка! Слушайте!» — Милькеев нередко охлаждал свою пылкость и слушал, как тот рубил, пристукивая по-бонгаровски ребром руки по столу.

— Государственное начало, сударыня, Катерина Нико-лавна, извольте, прошу вас, отличать от общественного: нравы худые могут убивать хорошие учреждения, и наоборот: хорошие нравы умеют обходить худые учрежде-

ния. Так, например, у вас, несмотря на гнусное учреждение рабства, крестьяне бедствуют гораздо менее, чем свободные городские мещане, а дворовые живут лучше чиновников.

И хотя в словах предводителя нередко и нового было мало, но служебный опыт его, его начитанность, его медленная стойкость, самый бас его хриплый и таинственный — придавали столько веса и вероятия словам его, что и старое приобрело в его устах проникающую в сердце силу.

Иногда, наоборот, Милькеев говорил что-нибудь игриво или возражал Рудневу и Новосильской, кувыркаясь философски, и предводитель был так рад его ловкости, что спешил договаривать или повторять за ним слова.

— ...Нагая динамичность французов сделала то, что их народность состоит в стремлении к совершенной безнародности!.. — замечал Милькеев.

— ...Безнародности! — вторил с тихим удовольствием предводитель.

Многое, что было говорено предводителем брату, было не принято тем, но привилось

Милькееву; многие из простых и ясных лучей предводителя, проходя сквозь мильке-евскую призму и разлагаясь на множество разноцветных огней, возвращались к молодому Лихачеву и находили доступ в его ум, менее солидный, но больше требовательный по тонкости, чем ум старшего брата, и предводитель с радостью стал замечать это возвратное влияние к концу второго года.

Александр Николаевич на предложение быть членом будущих мировых учреждений, не отвечал ему, как пре — жде: «Что это! Вдруг я сделаюсь гражданином. Совсем не к лицу!» Милькеев говорил ему не так, как предводитель; предводитель говорил грубо: «Что, брат, ты небо коптишь!», а Милькеев совсем иначе: «Ах! если бы я был такой домосед, как ты, и так бы был популярен, как ты, как бы охотно занял бы я эту должность... Сколько в этом и пользы, и движения, и чести, и поэзии. И твой вид, твое русское лицо, даже мускулы твои!.. Это — прелесть! Вся твоя обстановка, серый флигель твой озарятся смыслом...» — и Александр Николаевич задумывался над словами Милькеева, и он, который

не давал себе прежде труда подумать, популярен ли он или нет и даже не знал, идет ли такое важное слово к его поведению и обстоятельствам, к нему, который сближался с народом только потому, что «дед-чудак — смешит, Арина отлично пляшет, а Марфуша удивительно мила, когда она в штофном сарафане и кисейных рукавах говорит ему: «ну, ты! за что это тебя барином только зовут! отпустил бороду, настоящий купец! поцалуй-ка меня, разнощик!» И Лихачев полусонным султаном целовал ее, приговаривая небрежно: «Чорт знает, что ты городишь!» — этот самый Лихачев стал говорить: «А, пожалуй, что и недурно бы делом заняться!» «Молодец Милькеев», — думал предводитель, замечая перемену в брате. «Вот, если бы он только Nelly оставил в покое!.. Пока брат не женится — не будет толку!» С этого дня, в который Новосильская так ясно сказала ему, чего бы желала она для своего любимца, предводитель еще чаще стал повторять Милькееву: — Пора бы тебе, брат, перестать пасти овец у царя Адмета!

Отпраздновали новый год с друзьями. Все были веселы. Милькеев выпил лишний бокал и, поднимая его, сказал: — В сторону все серьезное; давайте нам женщин, вина, лошадей и музыку!

— Однако статью кончил прежде, а потом проклял науку... — заметил предводитель.

— Женщин, танцев и музыки недостает в этой жизни, — продолжал Милькеев, обращаясь к Новосильской. — Если вы искренно хотите, чтобы я остался здесь подольше, заведите у себя то, без чего жизнь похожа на обед без вина и десерта!

Другие поддержали его, утверждая, что в соседстве можно набрать много красивых девушек и женщин. Руднев похвалил Любашу и сказал Милькееву: — Это, мой отец, штука хорошая. Вот бы вам заняться! Женились и остались бы навек у нас.

— Да, она ничего, — заметил младший Лихачов.

— И очень даже ничего, — прибавил предводитель.

— За чем же стало дело, Василиск? — спросила Катерина Николаевна. — Не пустить ли

в ход кудри и убийственные взгляды?

— Можно! — отвечал Милькеев. — Сколько месяцев до лета? Январь — вздохи и вступление; февраль и половина марта — сильная дружба; половина марта и весь апрель — страсть; май — сомнения, борьба, разрыв, отчаяние и отъезд! Ура! Да здравствует Любаша, и пусть гибнет все, что напоминает Руссо, Адама Смита, Фурье и тому подобных извергов! Когда же первый вечер?

Новосильская просила дать ей обдумать, рассчитать расходы, приготовить наряды для Nelly, для дочерей и для себя; но на следующий день приехал князь Самбикин звать молодых людей к сестре, на обед и бал, и к себе на утро после бала на завтрак и *folle journée* с волчьей садкой. Он умолял также — нельзя ли отпустить с ними как-нибудь Nelly, и предводитель взялся быть ее отцом и дядей на эти два дня.

Руднев сразу обещал быть, нарочно, чтобы не очень просили и чтобы потом отозваться болезнью или неожиданным делом; но без князя вся троицкая семья уговаривала его ехать; дети говорили: «вы, Василек, нам рас-

скажете много!» Однако он уступил только Милькееву, когда тот сказал: — Где же та дружба, о которой вы говорили? Вы находите удовольствие унижать меня контрастом между вашей солидностью и моей пустотой. Дайте мне вырасти немного от мысли, что и вы человек!..

— Ну, ну! — отвечал ему Руднев, — поеду с вами для того, чтобы видеть, как вы там будете витать!

— Не очень-то развитаешься, — возразил Милькеев, — когда знаешь, что первый слуга, который из дверей смотрит, спросит у другого: «Кто этот большой и косматый?» А тот скажет: «Троицкий учитель!» А все-таки поеду, несмотря на все страдания, которые буду переносить от этой мысли!

Князь Самбикин и сестра его Полина были близнецы и родились в ночь под 4-е января; поэтому они праздновали или 4-е вместе, или Полина 3-е, а князь 4-е, чтобы иметь случай веселиться лишний день. Протопопов любил покормить и попоить гостей, а Полина считалась всегда очень любезной хозяйкой и танцевать была сама большая охотница. Знако-

мы они были почти со всей губернией, и гостей с полудня у них уже было множество. Многие должны были остаться ночевать у них, чтобы вместе с хозяевами ехать на другой день тройками к князю в его еще недостроенный, но крайне красивый швейцарский chalet, которым он украсил неподалеку от материнской усадьбы горку, покрытую молодыми дубками.

Баумгартен, вполне счастливый и в белом галстуке, приехал вместе с Милькеевым, в троицких крытых санях с богатой медвежьей полостью; а Руднева привез младший Лихачев. Все они были представлены хозяйкой многим из гостей, между которыми особенно заметны были два военных генерала и один мрачный господин, с черными усами и седой головой, недавно возвратившийся из Сибири. Княгиня Самбикина, мать Полины и князя, была тут; Воробьев, Сарданапал, предводитель, Авдотья Андреевна, Анна Михайловна, Максим Петрович и Любаша, и Сережа...

Максим Петрович сейчас же подошел к Рудневу и почти до самого обеда не отпускал его от себя; водил его в бильярдную, в каби-

нет, рассказывал ему, как он в Польше попал, во время ночного свидания, в такое место, хуже которого ничего быть не может на свете, показывал ему портреты родных и предков.

— Вот этот в пудре, граф***, — говорил он флегматически, — дальний, очень дальний родственник Самби-киным. Однако они его вешают везде.

— Гордый вид! — сказал Руднев.

— Гордиться нечем. Впрочем, это он дома так смотрел, а в Швейцарии его не то Массена, не то Макдональд распатронил так, что насилу ноги унес.

И, вздохнув, Максим Петрович продолжал: — Графы ведь у нас заведение новое. А князья у нас двух разрядов. Настоящие князья — варяжские; это сейчас слышно — от городов имена: Оболенский, Трубецкой, Мещерский, Звенигородский... Это — князья. А то еще есть Шах-мамаевы, да Хан-лакаевы, да Уланбековы, да Сумбекины; это — все восточные! Там, которые побогаче, хорошо живут; а победнее — медведей водят. Прошлого года один такой мурза пришел к нашему кузнецу с медведем... »Дай-ка, брат, я у тебя перено-

чую»; медведя поводил по пчельнику, заклинания делал да два целковых с него взял. Пчелам это полезно. А пчелы-то у кузнеца через неделю и улетели; три роя пропало! — с злобной усмешкой прибавил старик.

— Я и то говорю княгине... (Вы княгиню Сумбекину знаете? — вот на диване с кольцами и оборками сидит, ' папироску курит) — я ей говорю: «а что, ваше с-во, Шах-Мамай тот, который у кузнеца нашего ночевал — не родня вам?» Не любит она этого! У них княжество и вовсе отнять хотели — все в Петербурге хлопотали...

Потом старик спросил у Руднева, будет ли он завтра у князя?

— Я думаю, не буду, — отвечал Руднев, — в Троицком и дома дело есть...

— Дело не уйдет, — сказал старик, — молодому человеку надо веселиться. У него домик славный. Дела у матери ихней плоховаты были. Она цветники разводит мастерица да колечки покупать, а насчет полевого хозяйства не так-то способна. Ну, так сын и поступил года на четыре в комиссариат, а тут война подошла... Он — человек расчетливый, аккурат-

ный, был зрителем долго и поправил дела... Долги материнские позаплатил и домик этот вздумал строить... Посмотрите завтра. Со вкусом. А Любу мою видели?

— Видел, Максим Петрович!

— Говорили с ней?

— Нет, очень много народа было кругом.

— Конечно, на народе, что за разговоры.

Вы — человек скромный. А танцовать уже будете?

— Нет, я не танцую; не умею.

— Ну, что ж. Это ничего! Не всем же танцовать. Я и военный был смолоду, да не мастер на это был. Люба, а Люба, поди-ка сюда!

Любаша подошла...

— Ты доктора видела?

— Видела. Я никак не ожидала, что вы здесь будете, — сказала она, садясь около Руднева и пожимая ему руку-Старик, как только увидел, что она села около Руднева, тотчас же ушел в залу. Но Руднев с Любашей еще не успели сказать друг другу и двух слов, как на хорах загремела музыка и все пошли обедать. К Любаше подбежал было князь Самбикин, но она уже прежде предложила руку Рудневу, и

они вмешались в толпу.

Садясь около нее за обед, Руднев, по обыкновению, поколебался с минуту, но она сама указала ему на стул около себя и сказала: — Отчего же вы не садитесь? Садитесь. Руднев сел и молчал.

Любаша ела с большим аппетитом, съела три пирожка с супом и сказала: — Нравятся вам эти пирожки? Возьмите еще... Я от жадности взяла четвертый; возьмите его, если вам не противно, что я держала его руками... Впрочем, я его, пожалуй, на вилку надену сейчас... Руднев с удовольствием взял пирожок.

— Вы любите хозяйство?.. — спросил он.

— Не знаю... право. Занимаюсь дома чаем всегда. Кто же будет? Тетушка Анна Михайловна нездорова... Папа и бабушка оба любят, когда я наливаю чай... Говорят, что у моего чая особенный вкус... Вот и все мое хозяйство... А другого я ничего не делаю... Иногда охота придет с нашей Ульяной... Вы ее видели... смешная такая, и помните еще, вы что-то с глазом ее хотели делать... Только я думаю, ей, бедной, помочь нельзя... Нельзя помочь ей?

— Нет, у нее бельмо слишком застарело.

— Вообразите, это ведь ей Павлуша инбрию много в глаз вдул... (Любаша засмеялась и указала на Сарданапа-ла) он все лошадей в полку лечил и ей вдул...

— Как же вам не стыдно смеяться? — позволил себе сказать Руднев.

Любаша покраснела и пожалала плечами.

— Такая глупая привычка; я сама знаю, что это нехорошо. Только, как вспомню Павлушу и все его штуки...

— Вы начали говорить о хозяйстве... Вы говорили, что вы с Ульяной что-то делали...

— Ну, что! Это совсем неинтересно. Я хотела сказать, что помогаю ей варенье варить; летом обираю ягоды, не-вейку люблю делать... Ну, что тут интересного? Я бы вот лучше желала, чтоб вы с Павлушей познакомились поближе...

— Может быть, Павлуша не захочет со мной знакомиться.

— Полноте. Что за вздор! Отчего Павлуша не захочет познакомиться? Он вовсе не гордый. Да и гордиться ему нечем особенно. Скорей вы. Вы, вот, гордый... Сколько раз я хотела

заговорить с вами, а вы все не обращаете на меня никакого внимания. Помните?

Руднев засмеялся.

— Да что вам во мне? — сказал он.

— Нет, вы мне понравились... Я слышала тоже об вас много хорошего. Хотела с вами сойтись. А вы, я думаю, думали: «Какая противная, скучная деревенская барышня!..» А! Признайтесь, думали? «Что я с ней буду говорить...» Думали?

— Думал, по правде сказать.

— А теперь, что думаете?

— Думаю, как Баумгартен прав, что недавно начал роман под заглавием «L'arragence trompre!..» — Вы разве говорите по-французски? Руднев захохотал и отвечал ей: — Нет, не говорю, а на что вам?..

— Я так и думала, что вы не говорите... А вот это «L'arragence trompre» вы произнесли хорошо... Я тоже не очень хорошо говорю по-французски... У нас жила одна m-lle Feloux... Только она пила, часто была пьяна; бабушка ей отказала... Я у нее училась... Перевожу, читаю иногда...

— Много читаете?..

— Нет, не очень много, — серьезно ответила Люба-ша, — то лень, то некогда, то книг нет... Да я как-то французских романов не люблю... Я больше люблю наших писателей. У наших как-то проще все... Наше такое понятное...

— Жорж-Занда читали?

— Нет; говорят, она такая безнравственная... Все против семейства писала... Ничего, говорят, у нее святого нет... Лихачев давал мне раз один роман читать, я не помню его названия. Только я не дочла: слишком уж серьезно...

— Вот вы какие, — вы ничего серьезного не любите, все веселое... Так как же вы хотели со мной подружиться, когда во мне веселого нет ни на грош?

— Я людей серьезных уважаю, — отвечала Любаша, — я не люблю книг серьезных...

— Отчего же это такая разница?.. Бедные авторы серьезных книг!.. — воскликнул Руднев громко... Он так увлекся, что не почувствовал, как прошел обед; уже подавали жаркое.

— Объясните же теперь, отчего эта глубо-

кая разница? Отчего вы любите серьезных людей и не любите серьезных книг?

— Я не говорю, что я люблю серьезных людей; я говорю, что я уважаю только их. Вовсе не трудно понять отчего, — отвечала Любаша... — Человека я могу издали уважать, буду смотреть на него и уважать, или изредка буду говорить о чем-нибудь, а книгу нельзя так издали уважать... надо ее ведь прочесть, чтобы уважать... Ну, и скучно... Я очень неразвита! Где мне было развиться! Папа добр. Только вы видите, какой он... Ну, бабушка — старый человек, тетушка Анна Михайловна тоже.

— Вот, если вы хотите развиться... вам лучше подружиться с Милькеевым, а не со мной; он как раз разовьет вас; а я не сумею...

Любаша поглядела на Милькеева, который на другом конце стола благосклонно разговаривал с седым генералом, и отвечала: — Он мне не нравится; он, кажется, много о себе думает... Так нейдет! Разыгрывает из себя такого светского человека. Положим, он собой молодец, хорош... Ну, вот, посмотрите, как он лорнирует барышень!.. Как я не люблю, кто о себе так много думает... И даже к должности его

совсем это нейдет...

— Вот уж это странно! — возразил Руднев.

В эту минуту все встали с бокалами, и смуглый генерал, который сидел около хозяйна, сказал громко: — Здоровье Пелагеи Васильевны Протопоповой!

— Здоровье Александра Васильевича! — закричал хозяин.

— Князя Александра Васильевича Самбикина! — перебила сама княгиня, привставая и протягивая с улыбкой бокал в сторону сына.

Музыка гремела; все чокались; князь pokrыл руки матери поцалуями.

— Теперь вместе, за здоровье близнецов и вечную дружбу между ними! — сказал кто-то вдали.

Музыка опять заиграла, и опять загремели стулья.

— Не стоит и пить за это! — заметил другой гость, когда шум утих. — Близнецы, известно, всегда дружны... У меня были два знакомых брата...

— Может быть, братья и живут хорошо, — перебил как можно громче Максим Петрович, — а вот если брат с сестрой близнецы,

так те не так-то ладят!..

Авдотья Андреевна покраснела; Анна Михайловна затряслась; князь опустил глаза; княгиня презрительно взглянула; хозяин нахмурился; Любаша тихо засмеялась; многие гости захохотали громко.

— Что это такое? — спросил Руднев у Любашы.

— Папа чудак! — отвечала она, — что вздумает, то и скажет. Княгиня Самбикина дочери не любит; князь — ее фаворит; княгиня, князь, бабушка, тетушка Анна Михайловна — это одна партия; а Платон Михайлыч и Полина — другая. А папа ни к кому не принадлежит: всех бранит; только бабушку не бранит, уважает. Он говорит — Полина не хочет, чтобы князь женился, потому что Коля после него наследник. А у бабушки и у тетушки с Платоном Михайлычем уже давным-давно были ссоры, из-за имения что-то! Как все это грустно, Василий Влад1мирыч! — прибавила она с веселым лицом.

— Это правда! — сказал Руднев. — Да вам-то что ж! Вы всех их любите?

— Мне-то никто из них не противен... Как-

то нет-нет, да и пожалеешь всех!

IV

Тотчас после этого Руднев пошел искать Милькеева, чтобы сказать ему, что дела его плохи, и передать ему мнение Любаши.

Он нашел его в кабинете в куче других мужчин, которые спорили, стеснившись около дивана; сидели: смуглый генерал, мрачный декабрист, недавно возвратившийся из Сибири, и еще один худой помещик небольшого роста с суровым выражением лица; перед диваном стояли сам хозяин и предводитель. Последний был окружен несколькими дворянами, которые осыпали его вопросами и возражениями, и Лихачов, медленно поворачиваясь то туда, то сюда, отгрызался от них, как кабан. Милькеев разговаривал в углу с тем седым генералом, с которым он подружился за обедом.

— Знаем, знаем, что хотите вы сказать — сельскую полицию!.. — «Сельскую полицию? Это за что я няньчиться буду!» — «Это еще бремя за что?» — шумели дворяне, подступая к предводителю.

— Пойдите, — говорил Лихачов, — это не я, а Аполлос Федорыч сказал — сельскую полицию... А я не то говорю...

— Для предупреждения... против опьянения свободы в прямом и переносном смысле! — перебил Аполлос.

— Дайте сказать! — продолжал предводитель, — чем меньше будет у нас власти, тем более будет влияния. Дворянство всегда будет впереди... Образование, предание, богатство...

Но тут несколько человек закричали разом: — Богатство? Богатство! — «А разве, сударь вы мой, не знаете вы, какие есть дворяне: «сам пашет, сам орет!» — «Деньги в чужих карманах не считаны!» — «Да-с! Сударь вы мой, да-с!» — Ни собственность, ни даже жизнь не обеспечены, — уныло заметил кто-то из толпы, когда шум смолк.

Лихачов взял одного соседа за пуговицу и сказал ему внушительно: — Поймите вы вот что: если вы сами не догадались это прежде сделать, так не возбуждайте против себя ненависть бессильной оппозицией, а лучше спешите забегать вперед, где можно! Сколько у нас привилегий...

— Однако, Николай Николаич, — заметил смуглый генерал, — от вас, *именно* от вас мне странно это слышать... Доверие, девятилетнее доверие!..

— Чем менее будет у нас власти, тем больше будет влияния, — повторил Лихачев. — Те, которые не в силах поддержаться наряду с богатыми, опустятся в народ и выиграют от этого. Не сами они, так дети их из плохих шляхтичей станут передовыми простолюдинами, и совсем другое общество, другое настроение самолюбия облегчат им экономическую сторону жизни. Сытый мужик в дубленке доволен и бодр, а бедный дворянин в заштопанной шинели жалок и болен...

— Хорошо тому жить, кому бабушка ворочит! — возразил издали один помещик двадцати душ.

— Не называйте меня «ваше превосходительство», — кротко шептал в углу Милькееву седой генерал. — Человеческая личность должна быть свободна; это вы правду говорите! Пусть всякий будет счастлив, доволен — это главное... Я вам скажу про себя; у меня прежалостливое сердце: вот теперь я вас слу-

шаю, так у меня в душе переворот такой делается... Мне очень приятно познакомиться с вами!

— Разберите теперь вопросы о караулах, рабочих днях, — начал сам хозяин, обращаясь в Лихачеву, — о стариках, наконец, и старухах, которых мы должны даром кормить. Я, я еще могу! Но многие другие... И народ наш так груб, так дик, так не приготовлен... В друзьях своих видит врагов... не правда ли, Николай Семеныч? — прибавил он, обращаясь к мрачному декабристу.

— Правда, — сказал тот, которому родные только что возвратили восемьсот душ.

— Что вы об этом думаете, ваше превосходительство? — спросил смуглый генерал у седого.

— Я что думаю? — отвечал старик. — Я сижу и думаю, что это г. Милькеев вот правду сказал или нет сейчас... »Коли, говорит, мужик нехорош — так зачем дворяне его не воспитывали!» Я сижу и думаю, правда ли это?

— Правда, — сказал предводитель.

Он хотел продолжать, хотел сказать о том, что русский дворянин сам давно пренебрега-

ет собой, предпочитая столицу и службу деревенской жизни, что их сторона еще лучшая по населению и деятельности; но слова Милькеева, переданные седым генералом, так возмутили многих, что дворяне подняли страшный шум, подступая одни к генералу и Милькееву, другие к предводителю.

В эту минуту младший Лихачев подошел к одной кучке, посреди которой с жаром говорил худой, суровый помещик, и, вставляя в глаз стеклышко, спросил: — Что это у вас за базар, господа?

— Базар? Базар! — с изумлением и злобой закричал худой и суровый помещик, выпрямляясь перед ним. — Базар! На базаре мужики, подобные тебе... с бородой, а здесь общество дворян, а не базар!

— С каких это пор мы с тобой на ты? — спросил младший Лихачев.

— Либералы вы все! Базар! Общество... дворян — базар! Поди с мужиками обнимайся — вот твое место!

— Чудак! — заметил Лихачев, — забыл верно, что я девять пудов одной рукой поднимая!

Опять все захохотали, а суровый помещик гордо отошел прочь.

— Что ж, отец мой, вы не боретесь? — спросил Руднев у Милькеева. — Разве не под силу?

— Конечно! — отвечал Милькеев, — здесь, чтобы не быть смешным, надо показать пример, надо иметь крестьян. Лихачевы имеют право спорить: у них мало земли и потеря их будет сильная. А я — не от м!ра сего!

— Жаль, а я бы желал, чтобы вы разгорячились!

— Зачем?

— Чтобы возбудить нервы и повитать после... А то Любаша вас не хвалит; говорит, что учителю нейдут ваши манеры.

— Будто? Ну, Бог с ней, — рассеянно и печально отвечал Милькеев.

— Как, Бог с ней! — надо вступить в борьбу, на мазурку звать...

— Едва ли я решусь здесь танцевать мазурку; это не Троицкое; там я — Вася Милькеев, честный утопист, Ва — силиск, старший брат, поэт, друг и наставник прекрасных детей, древний философ, поучающий в саду... А здесь

я только — троицкий учитель. Ослабею вдруг от грусти, упаду посреди залы, и все будут рассказывать, как троицкий учитель упал. Здесь надо по-вашему жить, а *vol d'oiseau*...

С этими словами он встал и пошел звать Любашу на кадрили.

Но кадрили не помогла: Милькеев поговорил с ней кой о чем, но ни сам не сказал ничего хорошего, ни от нее ничего особенного не слышал. Он был встревожен тем, что видел и слышал в кабинете, ушел с Рудневым и младшим Лихачевым в дальнюю, пустую комнату, сел с ними там и высказал им все, что думал о собравшихся дворянах.

— Что это такое? — сказал он, — я ничего не могу решить... Хочу понять — и не могу. Все спуталось у меня. Мне кажется, что я ничего не знаю! По правам это больше чем аристократия... Нравы, физиогномии, привычки в целом дворянстве разнообразнее, чем у другой небольшой нации, взятой в целостности... Люди средней руки, внешним видом, бытом, манерами, они почти все больше похожи на тяжелых западных лавочников или засидевшихся чиновников, чем на свежую и бойкую

сельскую аристократию!.. Что же это такое?

— Ты слышал, — отвечал младший Лихачев, — брат мой хорошо определяет их: это не аристократия, а шляхетство. Аристократия не может быть так многочисленна и так доступна...

— Я не могу теперь понять, — продолжал Милькеев, — как и с какой стороны примирить мне свой идеал с тем, что я вижу вокруг себя! Любить мирный и всемирный демократический идеал, это значит, любить пошлое равенство, не только политическое, но даже бытовое, почти психологическое... Развиваясь под однообразными впечатлениями посреди тех жалких уклонений, которые способны дать одно разделение полезного труда, характеры должны стать схожими... Одна разница темпераментов недостаточна. Необходимы страдания и широкое поле борьбы! На что тогда великие полководцы, глубокие дипломаты? Поэту не о чем будет писать; ваятель тогда будет только сочинять украшения для станций железной дороги или лепить столбики для газовых фонарей... Я сам готов страдать, и страдал, и буду страдать... И не обязан

жалеть других рассудком! Если сердце мое жалеет — это дело организации, а не правил!.. Идеал всемирного равенства, труда и покоя?.. Избави Боже! Истинная аристократия уже тем хороша, что она подразумевает *много другое* под собой. Уничтожая аристократию, мы оставляем только два начала: фрэнч-менство и народ. Уничтожая в свою очередь буржуазию, которая не допускает до себя народ, мы уничтожаем в сущности не буржуазию, а народ, потому что работник и без того с ума сходит, как бы ему надеть сюртук, хоть грязный и вонючий, но сюртук!.. «Дело, говорят — в конце!» Отчего же все боятся говорить о конечных целях в точных науках, которые проще жизни, а не боятся решать конечную цель жизни, которая еще до сих пор необъятна?! «Воля человека ничто перед общей статистикой», говорит точная наука; «L'homme s'agite, mais Dieu le mine!» говорит богослов. Конечная цель нам неизвестна... Вы понимаете ее так, а я иначе. Но нам есть указание в природе, которая обожает разнообразие, пышность форм; наша жизнь по ее примеру должна быть сложна, богата.

Главный элемент разнообразия есть личность, она выше своих произведений... Многосторонняя сила личности или односторонняя доблесть ее — вот более других ясная цель истории; будут истинные люди, будут и произведения! Что лучше — кровавая, но пышная духовно эпоха возрождения или какая-нибудь нынешняя Дания, Голландия, Швейцария, смиренная, зажиточная, умеренная? Прекрасное — вот цель жизни, и добрая нравственность и самоотвержение ценны только как одно из проявлений прекрасного, как свободное творчество добра. Чем больше развивается человек, тем больше он верит в прекрасное, тем меньше верит в полезное. Малоразвитой человек везде ясно видит пользу; но чем сознательнее идем мы в жизнь, тем труднее решить, что истинно полезно для других, для *рода*; сохраняя вас, я, может быть, стесняю или даже гублю десять человек; губя их, я, может быть, спасаю косвенно сто. Вы, доктор, и на прошлой неделе вылечили свирепого старика, который вернется на деревню и станет опять бить свою невестку. Невестка умрет раньше, и муж ее

женится на молодой девушке. Первая жена рожала все девочек; молодая жена от сорокалетнего вдовца будет рожать мальчиков, работников, и семья разбогатеет... Прекрасное не гибнет никогда: погребено здесь, поднялось там; вооружась прекрасным, мы понимаем и любим историю; с одной пользой, честностью и миролюбием мы видим в жизни народов только слезы, кровь и обманутые надежды. Я не боюсь демократических вспышек и люблю их; они служат развитию, воображая, что готовят покой; на почве этих стремлений вырастают гремучие и мужественные лица; их крайности вызывают противодействие, забытые силы, дремлющие в глупом благоденствии, и им в отпор блещут суровые охранители; а после, в года отдыха, из накопившихся богатств и противоречий слагаются глубокие, полные люди, примирившие в себе, насколько можно, прошедшее и будущее... В средние века была поэзия религиозных прений и войн; теперь есть поэзия народных движений; я даже не хочу сказать, что они лучше тех, но говорю только, что они под рукою... С другой стороны, я вот что скажу: «Стесните,

пожалуй, сословие, которое убивает развязность других, но не лишайте м!р широкого досуга и роскоши...» Только при этих условиях могут являться: Байрон, Гете, Жорж-Занд, Цезарь, Потемкин, граф Д'Орсе... Со всем своим гением Шекспир не вышел бы Шекспиром, если бы пестрая и вместе сдавленная там и сям формой жизнь Англии не посеяла бы ему в мозге разнообразных представлений. Не в том дело, чтобы не было нарушения закона, чтобы не было страданий, но в том, чтобы страдания были высшего разбора, чтобы нарушение закона происходило не от вялости или грязного подкупа, а от страстных требований лица! И Креон у Софокла прав, как закон, повелевающий убить Антигону, и Антигона, которая, любя брата, похоронила его — права!

— Но разве для народа не нужно вещественного благосостояния, чтобы облагородить его страдания? — сказал Руднев. — Страданий высших много. У дяди мужичок прибил до крови жену за то, что она принесла ему четверть часа позднее хлеб и квас на поле во время работы. А если бы он пошел по-

завтракавши в плоть пирогом и кашей, да выпил бы стакан вина, да жал бы, сидя на какой-нибудь машине? Помните картинку в книге, на которой представлен молодой английский фермер на машине с двумя здоровыми лошадьми, густая рожь и белый домик в зелени сбоку?.. Вы тогда сказали: «вот праздничный труд!» Глядя на это, веришь, что эти люди за ужином благословляют Бога и труд, который послан небом .. Если бы труд был таков, разве мужик стал бы с голода и усталости бить жену? Он, может быть, способен бы был влюбиться и пошел бы на войну от несчастной любви, если вы непременно хотите страданий...

— Я ничего не говорю против этого, — отвечал Милькеев, — мы с вами можем извлечь многое из бедности; а для земледелия не нужна личность; поэзия и достоинства крестьянина — в цветущем покое многолюдной семьи и правильной работе. — Ужасно видеть чиновника или портного, обремененного детьми и привинченного к месту, а здесь на чистом воздухе!..

— По твоему идеалу следует, — сказал

Милькееву Александр Лихачев, — что для всякого народа нужно совсем не то, что нужно для другого... Французам было бы полезно постепенное развитие, устояться бы им недурно, мохом порастить; а то Франция стала похожа на какой-то пустой, чисто выкрашенный балаган. Англию бы радикализмом хорошенько раскачать, чтобы не слишком уж повторялась; для Италии — то политическое единство, о ко — тором она теперь хлопочет; немцам бы Фридриха нового, чтобы из кабинетов их доброй войной вытащил... После этого и живется, и поется, и думается лучше... Все это так... Но что же нужно для России, чтобы дать ей в твоём духе прекрасную эпоху?

— Не знаю, не знаю! — грустно отвечал Милькеев. — Пусть скажет твой брат, что он об этом думает...

— Для России, — сказал предводитель, — поди спроси у дворян, что нужно для России! Поди, потолкуй с ними! Я думаю, брат, что я последний год служу! Уж на будущий год меня прокатят на вороных за все эти разговоры! Что ж, в посредники пойду. Нет, прежние бары были лучше; в тех была славянская шири-

на, сила, те умели иной раз, хоть в обход — да постоять за себя... А эти ни для себя, ни для других, на jeu de raume неспособны; вниз нагнуться не хотят, чтобы почерпнуть живой воды. Да, слава Богу, не сделать им ничего, против них и народ, и писатели, и мнения младших в семье, и сила вещественная. Для их же достоинства надо с них смыть пятно рабства и отнять у них страсть к казенной службе. Страдая, они вырастут... Я говорю: прежние бары жили дома, любили выборы, деревню и хозяйство, и наш край куда, до сих пор, еще много лучше других! Душа болит, как видишь под Москвой и везде заброшенные дома, заросшие сады, или чистые, да пустые... Наш край лучше многих... многолюден, жив... Трудиться легче там, где весело. Пропусти сквозь это веселье гражданскую струйку, доблесть и любовь к родному и посмотри, что будет... Ты, Милькеев, хлопчешь о разнообразии, о развитии лица. Я стану на твою же точку зрения и скажу, что для этой цели необходимо обособление наций. Народный дух — ярмо, под которое должны волей или неволей склоняться самые необузданные сердца. Вся-

кая нация только тем и полезна другой, что она другая! Уперлась одна нация в стену, не знает что делать; поглядела на другую и освежилась... Стесни пределы твоих любимых крайностей любовью к родному; крайности отсохнут, но запас духовный вознаградится более тонким и крепким развитием внутри. Ты ищешь разнообразия? Да где ты найдешь столько противоположностей, как у нас? Уж, конечно, не в Европе. Надо уметь их видеть; у нас все широко и рассыпчато, но все бледно и не выработано. Свобода и сознание — лак, от которого все черты становятся глубже и все краски ярче. Свобода и сознание только могут нам дать то внутреннее единство, которого нам недостает; без этого народного единства одни живут без свободы и сознания, другие довольны свободно и крайне сознательно носятся по воздуху, как ты, не зная к чему прилепиться. Чего у нас нет? В великой России земская община и рядом с нею помещик, у которого больше земли, чем у многих германских государей; в Малороссии — громада, без общинного владения землей; московский ученый и донской казак; петербургский без-

божник и непоколебимый в вере своей раскольник; кавалергард и степной киргиз... Разнообразие физиогномий и сложений в высших слоях удивительно; обычаи и поверья — вовсе разные в разных местах... Вообще мы более философы, чем французы и англичане, более поэты, чем французы и голландцы, более музыканты, чем французы и англичане, трезвее умственно итальянцев, практичнее и решительнее немцев, более художники-пластики, чем англичане, более пышны жизнью, чем немцы, более европейцы, чем турки или персияне, более азиятцы, чем другие европейцы (и по-моему, это не всегда порок), мы более искренни и страстны, чем англичане, мы воинственнее немцев, у нас более, чем во Франции, начал для областного самоуправления и т. д. Но на каждое качество мы найдем на западе или востоке, на севере или юге, в прошедшем или настоящем такое блестящее, сильное выражение, что должны склониться перед ним!.. Нам нужен градус, нужна крепость каждого народного начала, каждой родной черты, душа моя Милькеев, а не ширина, которой мы богаче других! Не за варварство,

не за азиятизм в Европе не любят России; боятся и не любят. Не любят за то, что прилепятся не к чему: все бледно, кроме государственной силы; а государственная сила — вещь великая, но холодная!.. А между тем, эти пестрые племена, это богатство темпераментов, это разнообразие быта, климатов и степеней развития — какое поле для обработки! Не жду я ничего от общества, пока народ, верующий, грубый и самостоятельный не влияет на него... В чем нет зла, суеверия? — но суеверие только застывшая пена веры; жестокость? — но без жестокости нет энергии. Все родное — спит; оно хранится у бедного народа, который тупо хранит, не развивая. Рука бы моя не дрогнула на того, кто святотатственно посягнул бы на земскую общину нашу, посягнул бы от подлого страха, что быт Европы основан на личной собственности; как будто рядом с этим нет у нас личной собственности; как будто ты, Милькеев, не прав, говоря, что для земледелия не нужна резкая оригинальность лица! Как будто Ломоносов и новый Кольцов не найдут уже Шувалова и Станкевича, для извлечения их из мирской сходимости! Об-

щина, песни, одежды, постройки — все спит и дурнеет у народа; и не может не спать и не дурнеть, не может вырастать вещь, предоставленная одним беднякам! А между тем, все иностранцы с жадностью глядят у нас на то, что не по-ихнему: на пеструю Москву, на розовые рубашки, на мелкие разноцветные дома; с наслаждением слушают наши песни; после мира в Крыму (вот брат Александр сам видел!) они с удовольствием прежде всего бросались к казакам и говорили друг другу: «Don! Don!» Баумгартен, и тот восхитился, когда в первый раз поехал кататься с нами в борзистой и увидал, что Nelly и девочки в ранжевых дубленках и цветных платках на голове и больших сапогах. А кто научил? — Я. Жаль мне было видеть, что Федя и все мужчины молодцами, а девочки шлюхами, в капорах и салопишках! — Один художник в Москве говорил при мне: «нам нужно строить не мраморные дворцы и белые храмы, это слишком холодно для нашего и без того холодного неба; нам нужны теплые краски, как у той милой часовни, которую поставили на Невском; и не только часовни, но дома и дворцы

надо строить такие. Теплые краски эти и народу любезнее, и к печальному добродушию нашего ландшафта идут, и ни на что чужое не похожи!» Все эти народные искры надо раздуть, надо посеять пшеницу, которая тысячи лет спала в египетских гробах... Быть сильно народным — значит в высшей степени служить космополитизму, чтобы пригодиться примером другим в чорный день! — Освобождение крестьян — каково бы оно ни было теперь! Широкие права! Образование переходных форм быта!

Предводитель приостановился и, помолчав, прибавил, обращаясь к Милькееву с усмешкой: — По твоей же эстетике, «красота есть единство в разнообразии». — Второе есть: надобно нам духовное единство. Посмотри на Австрию: государство сложное, богатое началами; а что она производит без его единства? — При нем здоровые станут тоньше, а тонкие здоровее; сознательные станут проще, а грубые сознательнее; взамен общественного мнения, которого у нас нет, проснется свежее народное мнение.. А если кто-нибудь кого-нибудь изредка прибьет, так, разумеется,

это не беда; мне даже иногда кажется, что Козлянинов, о котором теперь так много пишут — человек независимый, и я бы желал познакомиться с ним...

Молодые люди засмеялись; в зале заиграли мазурку, и младший Лихачев пошел звать Nelly, а Милькеев Люба-шу...

Руднев сошел вниз, тайком от приветливой хозяйки, отыскал шапку и шубу и уехал.

Он в первый раз в жизни обедал под музыку за таким шумным столом; в первый раз видел так много незнакомых и красивых женщин; в первый раз видел Любашу в праздничной воздушной одежде, с цветами. Она была в этот день столько раз то доступнее прежнего, то оторвана от него толпой развязных и танцующих щоголей...

Вырвавшись из освещенной и полной залы в темное и морозное поле с такой же радостью, с какой, бывало, выходил он в Москве из вонючего склада трупов в маленький казенный садик, покрытый инеем, Руднев почти возненавидел Милькеева за его соблазняющее влияние. К тому же все, что он слышал в дальней комнате от Милькеева и предводи-

теля, так кровно шевелило его, так сильно подрывало многое, во что он верил прежде. Одно уж то потрясло его, что демократия, как демократия, для них обоих ничего не значила: для одного она была только вечным орудием жизни и брожения, другой любил ее только тогда, когда она — архив народной старины, и сам говорил не раз и прежде, что демократия Соединенных Штатов «выеденного яйца не стоит»; ибо у нее нет и не будет загадочных, темных преданий... Как примирить все это?!

V

Заметив, что Милькеев танцевал мазурку с Любашей и был очень оживлен, а Руднев за обедом сидел около нее и тоже был оживлен, Полина Протопопова стала думать об обоих молодых людях и, сравнивая их между собою, казалось, решала, который лучше годится в мужа Любаше. Милькеев, конечно, виднее, смелее и развязнее; дай ему состояние, так он был бы вполне светский человек; Руднев застенчив, не дворянин, но зато имеет верные доходы, ремесло и гораздо, кажется, добрее и

солиднее. Она передала свои мысли мужу, когда осталась с ним наедине. Но в муже проснулась на минуту родственная гордость.

— Ну вот, какие же это женихи для Любаши! Милькеев, конечно, молодец и в компании славный малый. Я сам люблю слушать, когда он спорит или рассказывает. Да что ж... ветреный и пустой человек. В двадцать шесть лет с своими способностями, связями и образованием никакой карьеры не сделал... Домашний учитель! Это смех! А тот не Дворянин и бедный лекаришка, хоть и солидный человек.

— Я сама нахожу, что Руднев надежнее Милькеева и вообще, как жених, лучше; а что он небогат теперь, так это ничего не значит: ему всего двадцать четыре года; после дяди у него будет деревня; практика будет со временем большая. А что он не дворянин, кто нынче на это смотрит! Нет, я бы желала его сблизить с Аюбашей.

— Да это, впрочем, твое дело, — отвечал муж, — мне, право, все равно. У нее есть отец, бабушка, тетка... А о брате едва ли стоит тревожиться... он, кажется, вовсе не сильно

влюблен в нее...

На утро после бала Полина с Любашей поехали вместе к князю Самбикину, чтобы помочь ему по хозяйству. Они вместе расставляли букеты в вазы для украшения стола, и Полина сказала Любаше: — А что, Любаша, замуж не пора тебе? как ты думаешь?

— Отчего ж! — отвечала, смеясь, Любаша. — Всем замуж надо! Одна тетенька Анна Михайловна не вышла. Только я знаю, что не придется мне выйти за человека, который мне нравится...

— Отчего?

— Приданого нет. Даст бабушка или нет, это ее воля... По ее вкусу жених — даст, не по ее — не даст!..

— Бедной еще лучше выходит замуж, — сказала Полина, — знаешь, по крайней мере, что берут тебя, а не деньги...

— Это правда, — отвечала Любаша, — да если за бедного же выйти, каяться после? — Я хочу веселиться, а тогда что я буду делать?

— А богатый разве не найдется? — спросила Полина, — вот брату, кажется, ты нравишься...

Любаша покраснела.

— Может быть, я ему и нравлюсь. Да ведь он без спросу княгини не женится. А княгиня разве на такую невесту для него рассчитывает?

— Маменька сама не знает, чего хочет. Брату бы вовсе не надо жениться. Его всякая жена за нос будет водить. Еще тебя, Люба, мы знаем; ты добра... А другая — избави Боже! Впрочем, брат — такая флегма, что из этого никогда ничего не выйдет. Он будет рассчитывать; а у маменьки на одной неделе семь пятниц! А что ты думаешь о Милькееве?

— О Милькееве? Ничего еще не думала. Говорят, он очень умный... Я не знаю.

— А Руднев?

— Руднева я люблю. Такой он добрый и милый... И уморительный какой. Лихачев рассказывал мне, что он сделал раз от стыда в Трицком. Он Nelly боится, потому что по-французски не знает. Дети ее подговорили, чтобы она сама пригласила его танцевать; он хотел от нее в двери — дети не пустили; все кричат. У них в зале есть гимнастика — он на веревки влез и качается наверху. Однако со-

шел танцовать, все внизу стояли и звали его по-французски.

— Да! он уж слишком застенчив, — заметила Полина. — Это пройдет. Я уверена, что он будет со временем отлично жить...

Через полчаса Полина, увидавши, что мать ее, разодетая, выходила из сыновнего кабинета с раскрасневшимся лицом и кричала что-то, спросила у нее: — Что с вами, маман?

— Опять Афроська, та сниге amie, зазналась!.. Расфуфырилась, как червонная краля, и сидит в передней с лакеями кокетничает, вместо того, чтобы помочь Наталье меня одеть. Как можно — возлюбленная князя Александра Васильевича! А этот слабый, слабый человек! Никем не в состоянии управлять! Вот тебе рука моя, что он женится на ней; я с ума схожу от этой мысли и готова была бы хоть сейчас его с кем-нибудь обвенчать!

— Вот уж с этим я не согласна, маман! Бог знает, еще какая жена попадается! Брат так осторожен и расчетлив, что никогда не решится жениться на Афросинье. Да и разве он так сильно привязан к ней?! Все молодые лю-

ди это имеют, и с ней нам всегда легко будет справиться и найти ей место; а с женой что сделаешь, если он будет несчастен? Счастливых партий так мало!

— Это правда! — отвечала мать. — Но что ж делать — эта связь меня бесит! Я так люблю его и так всего за него боюсь... Ну, и она не должна зазнаваться...

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, ради Бога, сегодня, маман! Слава Богу, мой вчерашний бал удался и сегодня надо всем быть веселым...

Полина пошла к Афросинье и так пристращала ее, что та сейчас со слезами пришла просить у барыни прощенья, что не догадалась прийти помочь ей одеться. Княгиня успокоилась и сказала себе: «Правда, рано еще ему жениться!» Несколько больших саней тройками и беговых на рысаках и иноходцах подъехали друг за другом к крыльцу. В числе приезжих был и Богоявленский; его привез с собой Сережа по настоятельной просьбе князя. Подали кофе, и князь объявил, что волк уже снесен с горки на открытое поле, и многие из гостей поехали прямо туда, в

том числе младший Лихачев и Милькеев.

Волк, огромный и свежий, был принесен в большом ящике, вроде мышеловки с подъемной передней стеной. Все собрались за ящиком; псари держали собак. Александр Лихачев распорядился садкой.

Милькеев, в новой черной дубленке и хорошей боярке, помог Любаше выйти из саней, взял ее под руку, повел к ящику и любовался на нее, не думая ни о садке, ни об общественных вопросах.

— А если волк на нас выскочит? — спросила, заманчиво поглядывая на него, Любаша.

— Я не боюсь! — отвечал Милькеев, — мои сапоги и мою дубленку не скоро прокусят...

— Что мне за дело, что вы не боитесь! Я боюсь, — возразила Любаша. — Зачем вы пистолета не взяли с собой?

— Я боялся быть похожим на Чичикова, который в дорогу возил с собой саблю для внушения страха кому следует.

— Кто это такое Чичиков? Не здешний? — спросила Любаша.

— Отчасти и здешний. У Чичиковых род-

ство большое. А Гоголя вы знаете?

— Гоголь полицмейстером, кажется, в Петербурге был. Одна моя знакомая вышла за его дальнего родственника. Ах! смотрите, смотрите! Ящик открыли. Выскочит сейчас, выскочит!.. — закричала она без испуга и взяла Милькеева за руку.

Это движение так понравилось Милькееву, что он желал бы в эту минуту иметь оружие и пять волков перед собой, чтобы защищать ее.

Смущенный волк выбежал из ящика, оглянулся на толпу и собак, которые рвались со свор, и пустился по полю вдаль. Когда, выждав немного, спустили собак, все ринулись за ними кучей и с криками — дамы, мужики, охотники, мальчишки...

Милькеев не бежал: ему хотелось побыть подольше с Любашей; взяв ее под руку, он шел за другими большими шагами, и Любаша насилу поспевала за ним.

Толпа остановилась, и раздались новые крики. Протеснившись вперед, Любаша и Милькеев увидели окровавленный снег и волка, который боролся с собаками. Весь зад

был оборван, и кожа висела клочьями...

— Какая жалость! — воскликнула Любаша, — зачем это так много собак напустили! Посмотрите-ка, кто стоит перед нами, по ту сторону! — прибавила она, указывая вперед.

Перед ними стоял в теплой шинели и старой шапке Богоявленский; он криво усмехнулся, заметив движение Любаши, и спросил у Сережи: — Это кто ж этот лихач-кудрявич с твоей сестрой? Уж не Милькеев ли?

— Он, — отвечал Сережа.

— Красивый зверь! — сказал Богоявленский. — Да полно тебе Сергей, улюлюкать... Помещичья кровь взыграла. Глядя на этого волка, я подумал, знаешь что? Что серый, злой, израненный волк — это я. А псы...

В эту минуту псарь Лихачева хотел подойти с кинжалом, чтобы сесть на волка и заколоть его; но волк рванул — ся, хватил за нос одного борзого, щолкнул зубами и кинулся назад в ту сторону, где стояли Богоявленский и Сережа.

Все расступились; но Богоявленский не шевельнулся, а только махнул рукой на волка, надеясь его испугать... Один миг — и волк

схватил его за руку...

Закричали все, бросились... Богоявленский со злобой бил волка по голове свободным кулаком. Лихачев вынул пистолет и размозжил зверю череп.

Окружили семинариста, приложили снег на окровавленную руку; Любаша перевязала ее надушенным платком своим и сказала ему с улыбкой: — Вы, однако, не очень испугались!

— Рука не голова-с, Любовь Максимовна! — отвечал семинарист, — да и голову-то разве уж стоит так жалеть? Зубы — вот досадно — у него большие... Больно укусил, проклятый!

— Какой энергичный хам! — шепнул Лихачев Миль-кееву. — Говорят — радикал в своем роде. Жаль только, что наружностью похож на озябшего дождевого червя...

— Пойду познакомлюсь с ним, — сказал Мильке-ев. — Я его в первый раз вижу.

Он догнал Сережу; заговорил сперва с ним, а потом с раненым радикалом и спросил у него — отчего он не был вчера у Протопоповых?

— Фрака нет! — отвечал Богоявленский. — Сшить фрака не на что. Да и сюда-то я уж так... по неотступной просьбе Самбикина приплелся. Не следовало бы...

— Отчего?

— Вот Сергей знает... Маменька ихняя, княгиня Самбикина, очень знатны, брезгливы... С полгода тому назад в Чемоданове у них за обедом кричала-кричала на семинаристов и на всех простых людей. Даже героические кости Дениса Давыдова в гробу шевелила: «мошки да букашки, говорит, полезли из щелей...» У меня тогда, от неопытности, голова разболелась; из-за стола вышел. Ну, а князь зовет; клянется, что надо простить старушке отсталость...

Обидите, говорит, меня. Человек сладкий; на что ж его обижать!

— Конечно, нарочно бы надо приехать. Кто ж смотрит на эту бедную княгиню? Я даже и лица ее до сих пор не разглядел, — отвечал Милькеев.

Они пошли пешком до дому и всю дорогу разговаривали: Милькеев — интересуясь идеями Богоявленского, как проявлением лица, а

Богоявленский — насильственно примирясь с молодцеватыми и театральными формами Миль-кеева, за те идеи, которых он ожидал от человека, пославшего, как он слышал, в Москву статью в пользу эманци-пации женщин.

— Что ты в нем открыл? — спрашивал после младший Лихачов у Милькеева.

— Я вспомнил Хавронью Крылова, — отвечал Милькеев, — которая кроме грязи ничего не нашла на барском дворе. Но с другой стороны, думаю, что никто лучше этих людей не сумеет разрыть этот двор так, чтобы на нем выросло что-нибудь роскошное, чего они и сами не ожидают. Только прошу, не передавай моих слов никому; я хочу сохранить с ним хорошие сношения.

VI

С волчьей садки все вернулись бодрые и голодные. На большом столе покоем, рядом с вазами, полными цветов, уже стояли груды ростбифа и котлет; люди разносили в чашках бульон. Поели и выпили. Заиграла музыка; Милькеев стал танцевать с Любашей.

— Вашего поклонника нет, — сказал он ей.

— Кого, Руднева? — спросила она, оглядываясь вокруг.

— Отчего вы не боитесь так прямо говорить? Немногие девушки так откровенны; мне это нравится.

— Зачем я буду скрывать, когда я не чувствую ничего особенного? — отвечала Любаша. — Если бы я была влюблена в него или в другого, я бы, может быть, стыдилась... Да и то нет — я думаю...

— А в вас никто не влюблен?

— Нет, я вам скажу правду: я нравлюсь одному человеку, и он мне... Только из этого ничего не выйдет — он здесь.

Милькеев вздрогнул, но пересилил это внезапное движение и продолжал: — Нельзя ли указать? Хороший случай доказать вашу откровенность.

— Поищите, угадайте сами... Я вам скажу, если угадаете...

— Лихачев?

— Нет! Отчего он первый вам пришел в голову?

— Оттого, что по-моему он лучше всех: красив, ловок, умен, молодец...

— Тоже и у него есть большие недостатки... Манеры слишком гордые, потом язык злой — я этого не люблю, и еще один недостаток...

— Какой это?

— Вы сами знаете... Он пьет часто и даже с крестьянами...

— Это-то и хорошо. Жаль, что вы не цените его! Да об нем мы поговорим после... Кто же еще? Этот улан, который так хорошо все танцы танцует?

— Ну, вот! Я его всего второй раз вижу...

— Разве сразу нельзя влюбиться? Поверьте мне, что можно...

— Не знаю; только не он.

— Этот молодой человек с красивым носом, который давеча долго говорил с вами?..

— Он мне двоюродный брат; я за него замуж не могу...

— Разве нельзя влюбиться в того, за кого замуж нельзя? — с удивлением и любопытством спросил Милькеев.

— Зачем же, из чего я буду хлопотать? Вы не знаете Вареньку Шемахаеву — сестру Павлуши, вот что Сарда — напал... Его сестра Варенька два года как влюблена в Лихачева... А

он не хочет жениться... Она плачет; сюда не приехала нарочно, чтобы не встретить его. Разве это приятно? Посудите сами...

— Вы очень положительны, я вижу, — продолжал Милькеев. — Кто же? Жаль, что я многих здесь не знаю...

— Нет, вы его знаете. Милькеев думал и осматривал всех.

В эту минуту князь Самбикин закричал, глядя на Любашу: «*Les dames en avant!*» Любаша улыбнулась ему.

— Уж, конечно, не Самбикин! — сказал Милькеев.

— Отчего не он? — спросила Любаша.

— Лицо, положим, красивое, — отвечал Милькеев, — но вялое такое. Глуп; как будто добрый; а я из верных рук знаю, что мать скажет: «бей людей» — он бьет; мать скажет: «секи!» — он сечет.

— Он очень любит мать, — возразила Любаша. — Если бы не он, княгиня теперь нужду бы терпела, а он ее дела поправил.

— А вы думали когда-нибудь, какими средствами он это сделал? Ведь здесь, где мы с вами танцуем — каждый ореховый стул, каж-

дая чашка чаю украдены у полумертвых на Кавказе и в Крыму.

— Богоявленский то же говорил мне, — отвечала Любаша. — И я после спросила раз у князя, что он делал в комиссии; он покраснел и говорит: «конечно, говорит, были выгоды, только я, говорит, добр и никого никогда не обижал. А возьму, например, половину капусты себе; если давать щи, как казна отпускает, так уж будет очень густо!..» Он хочет, как только устроит все — на бедных пожертвовать тысячу рублей, чтобы совсем совесть была покойна.

— Grand rond! — закричал князь.

— Какая скотина! — сказал Милькеев.

— Что с вами? Что вы так просто бранитесь? — с удивлением спросила Любаша.

— Да разве только для того, чтобы не вредить, не надо было трогать эту капусту? — спросил Милькеев. — Не надо бы к ней прикасаться, чтоб самому не быть грязным. Есть своего рода душевное *comme il faut*, которое этого требует. Не всякий вред грязен, и не всякое добродушие чисто!

— Очень жалко, очень жалко! — прибавил

он, возвращаясь на место.

— Что жалко? — спросила Любаша.

— На вас смотреть жалко... Много хорошего вам судьба дала; а еще было бы лучше, если бы семена хорошие посеять... Аицо у вас красивое...

— Говорят, у меня нос слишком горбат, — заметила Любаша, проводя рукой по носу.

— Да! вот и это невинное кокетство кстати! — продолжал Милькеев. — Только видите ли что... Можно все вам говорить?

— Можно!

— Если бы вы убежали с Лихачевым или с Рудневым и никогда бы не вышли замуж, так можно бы вас было, пожалуй, еще уважать. А будьте вы самой доброй женой такой дряни, как этот князь, вы этим самым замараетесь и унизитесь... Женщин не только за то следует уважать или презирать, что они делают, но и за то, с кем они что делают. Подумайте дома; пошевелите у себя на сердце, и вы меня поймете. А главное, вам надо познакомиться с Новосильской, ездить к нам в Троицкое и, поверьте, через месяц вы будете думать так, как я вам теперь говорю!

Любаша отвечала, что она сама бы очень желала бывать в Троицком, но не знает, как это сделать, и Милькеев обещал употребить все усилия, чтобы сблизить ее с графиней.

К вечеру все разъехались. Милькеев всю дорогу при Nelly говорил, что Любаша — прелесть; и Nelly много смеялась, когда Милькеев рассказывал, как он уничтожал и позорил хозяина, у которого они так много ели и веселились. Баумгартен почти не слушал его: он был покойнее обыкновенного; Nelly выбрала его при всех раза три в мазурке, и теперь он обдумывал стихи на первый выезд ее в свет. Пока ему нравился только припев, которым кончались все куплеты: *Oh' ma Sylphide, Veux-tu un quide? Me voici!*

VII

После обеда у камина Катерина Николаевна села вдвоем с Nelly. Милькеева не было дома: он уехал в первый раз к родным Любаши. Дети играли в зале под присмотром француза.

— Что, отдохнули вы от бала? — спросила Катерина Николаевна.

— О, да, — отвечала Nelly.

— От души танцевали и много?

— Много!

— Я у вас еще мало расспрашивала. С кем вы танцевали первую кадрили?

— Ах! с m-г Bongars, — отвечала, смеясь, Nelly.

— Для этого не стоило ездить, — сказала Катерина Николаевна, — по крайней мере, другой раз были счастливее?

— Вторую танцевал со мною m-г Лихачев и один lancier и мазурку, и вальсировал со мною много.

Катерина Николаевна пристально глядела на тихую девушку, сторажая желанием узнать, что она думает и чувствует.

— И весело было? — спросила опять она.

— О, да, очень весело! — спокойно отвечала Nelly.

— Оживились вы немного?

— Не знаю! Самой этого видеть нельзя никак. Не думаю, впрочем. M-г Лихачев смеялся даже надо мной и сказал, что танцевало только тело мое, а не душа.

Катерина Николаевна рассеянно улыбну-

лась и переспросила.

— А мазурку, вы говорите, танцевали с меньшим Лихачовым?.. А grosфатер был?

— Был, я его танцевала с князем Самбикиным. Это очень забавная вещь — этот grosфатер. Я его нигде, кроме России, не видала.

— О, так у вас все хорошие кавалеры были! А если я у вас спрошу, Nelly, откровенно одну вещь, вы скажете?

— Если могу — с удовольствием.

— Скажете? Ведь ваша мать просила меня быть с вами как с дочерью... Это, конечно, ничего не значит... Самую снисходительную мать редко дочь выберет в подруги. Но вы ведь мне не дочь и тем лучше, все-таки я вам желаю всего лучшего от души... Скажете правду?

Nelly поблагодарила и обещала сказать правду.

— Кто вам больше нравится — Лихачев или Мильке-ев?

Nelly покраснела и пожала плечами.

— И тот и другой, и ни тот ни другой, — отвечала она, подумав.

— Как так? Это интересно. Скажите обстоя-

тельнее, как это?

— Я не люблю брюнетов, — сказала Nelly.

— Значит, наружность Лихачева для вас лучше.

— О, да! он лучше.

— Еще чем он лучше? Если бы вы только могли знать, какое вы наслаждение доставляете, когда говорите; говорите больше!..

— Неужели? — спросила Nelly с удивлением и отвечала, — если вас это занимает, я постараюсь вам сказать побольше. Лихачев танцует гораздо лучше; Милькеев уж слишком высок, с ним неловко.

Nelly приостановилась, но Катерина Николаевна с беспокойством взглянула на нее, и Nelly продолжала: — Теперь что следует — ум? Я гораздо больше серьезных вещей слышала от Милькеева, но мне кажется все — гда, что если бы м-г Лихачов не был так ленив, он мог бы столько же говорить хорошего, сколько и тот...

— Знаете, я сама это думаю! И остроумны они оба, только на разный манер... Ах! как я рада, что вы согласны!.. Еще что?

— Еще что? — продолжала Nelly. — Лиха-

чов, мне кажется, надежнее Милькеева, — (но заметив, что по лицу Катерины Николаевны пробежало что-то), прибавила с поспешностью, — я думаю, что Милькеев способен быть твердым во всем благородном, во всем добром; но как это сказать, не знаю, ему, кажется, так скоро все может надоесть... Il a, je pense, la tournure d'esprit plutôt allemande, mais le caractire un peu francais... C'est tout le contraire de l'autre, qui a l'esprit plus lйger, mais le caractire plus solide...

— Это великолепно! что вы сказали сейчас, — с удивлением воскликнула Новосильская. — Какая это правда! Ах, какая это правда!

После этих слов Новосильская задумалась так, что забыла о присутствии Nelly. Nelly молча поправляла щипцами дрова. Наконец Катерина Николаевна пришла в себя и спросила: — Ну, скажите... а если бы, положим, необходимость заставила бы вас выбирать из них двоих для себя, кого бы взяли? Вы мне простите этот вопрос...

— Кого бы я взяла? Я никогда не думала об этом, — отвечала Nelly, краснея.

— Это искренно?

— Как же мне думать об этом... Я не русская; мне никогда в голову не приходило прожить всю жизнь в России... хотя я русских очень люблю.

— А если бы пришлось вам выбирать непременно?

— Если бы это случилось, я бы желала смешать их вместе, — отвечала Nelly, — волосы и черты Лихачева, его постоянство, его спокойные манеры, а у Милькеева взять глаза, его познания, его веселость и предприимчивый нрав... С Лихачевым таким, какой он теперь, мы бы заснули.

— Вы думаете? — сказала Катерина Николаевна, продолжая подозревать, что Nelly не договорила до конца правду.

Больше ничего она не стала добиваться, несмотря на все муки любопытства, надеясь, что постепенно скорее узнает все, и полагая, что первый шаг уже сделан.

«И тот и другой; ни тот ни другой». И это на первый раз хорошо. Все-таки оба ей нравятся!» Катерина Николаевна, оставшись одна, долго думала, помогать ли Милькееву,

пригласить ли Любашу или нет?

Он так хвалил ее на разные лады, что Новосильской самой захотелось познакомиться с такой милой девушкой.

— Она не идеальна, — говорил Милькев, — это чисто русская красотка, из веселых... Когда я думаю, что в старину жила точно такая же Любаша русая и белая, румяная, сытая и рослая, стройная белоручка — так я вовсе не воображаю ее себе в тереме, вечером, у окна, задумчивою при лунном свете, как Светлану, а представляю ее себе в роще с кузовком за ягодами или с плетушкой за грибами: хочу, чтобы она непременно покрылась платочком, чтобы черемуха и калина цвели в роще и чтобы ветер играл ее платочком; чтобы она смеялась и любя, смеялась и хозяйничая, пела и смеялась. Крылов назвал ямочки на щеках красавицы «умильными». У Любаши все лицо умильно. И что за коса! И как она танцует хорошо! И как проста в движениях и словах! И как мне нравится, что у нас в России, рядом с правильным воспитанием, существует неправильное. Она читала иных новых авторов наших, а не знает, кто такой Го-

голь! Надо постараться, чтобы она перепрыгнула прямо из природного добродушия в прочное сознание добра.

Полагая, что намерения его непорочны, Катерина Николаевна решилась помогать ему. Но как сделать это поприличнее? Она так давно жила в отдалении от всех соседей и кроме Лихачевых и старого Руднева ни с кем почти не видалась. Поехать прямо к бабушке не хотелось: женщина эта была известна по всему околотку своей жестокостью, и самый ум ее имел неприятный оттенок хитрости и злости. Анна Михайловна тоже не могла нравиться Но-восильской. И если бы еще не было детей!.. Но вводить часто в свое семейное святилище людей, которых присутствие было бы пятном на троицкой жизни, ей казалось даже непозволительным. Протопопова сделала ей когда-то визит, и она его не отдала ей. Протопопова, которой муж был шесть лет губернским предводителем, которая всегда первая на губернских балах, во время проезда царской фамилии танцевала польский с государем — теперь без визита с ее стороны не поедет! И зачем допускать к себе ложную свет-

скость! Женщина эта так пуста, так неприятна! Уж лучше тетка Любаши. Эта хоть и недобра, но стара, смешна и здесь от благоговения и благодарности будет безвредна. Она еще раздумывала, как вдруг Баум-гартен подвинул ее на решение.

Бедный француз, по-прежнему, часто тосковал; бал развлек было его на один день; но там, несмотря на всю любезность хозяйки, он играл неблистательную роль, не ту, которой он считал себе достойным. Милькеев был по-прежнему не только учтив с ним, но даже внимателен; из всех сил принуждал себя быть гуманным и выслушивал по целым часам его жалобы на Nelly и его рассказы о прекрасной жизни в *Celesta*, но не мог никак угодить ему. Милькеев иногда нарочно отдалялся от Nelly, чтобы доставить ему удовольствие, но и здесь Баумгартен ловил его: «Ah! je le prends! — говорил он ей, — он нарочно удаляется от вас, чтобы заставить себя сильнее полюбить».

Nelly выходила из себя, просила его оставить ее только в покое... »Грвсе! Грвсе! — говорила она, — покоя, только покоя!» — Это ваш

квиелизм! — твердил Баумгартен, преследуя ее по зале со скрипкой в руках, — правила общежития важнее вашего покоя. Если у вас нет любви, будьте, по крайней мере, вежливы, сострадательны.

Всплеснув руками в отчаянии, Nelly уходила к себе, а Баумгартен бросал детей, бежал в свою комнату и плакал на кровати.

Не раз уже жаловались тот и *другой* Новосильской, не раз уже она мирила их, убеждала его быть благоразумным, а ее терпеливее; просила их, наконец, не нарушать покоя в ее доме, для нее, которая дорожит ими обоими; но, наконец, принуждена была сделать строгий выговор Баумгартену и сказать ему, что этим он ни до чего не достигнет, а только все больше вооружит ее против себя.

Француз с горечью объявил, что или ее, или его не будет в доме.

— Я ее не отпущу от себя, — холодно возразила Новосильская, и Баумгартен, который не хотел без капитала вернуться в Celesta, испугался и был потише. Но ведь и его было очень жалко, и Катерина Николаевна старалась утешить его, чем могла: приглашала его по це-

лым часам аккомпанировать себе на скрипке, внимательно слушала отрывки из его романа: «L'arrarencse trompre», поправляла ему этнографические ошибки (например, по всей России нет *mignonier du village* и потому мужики на постоялом дворе не могли спорить, кто лучше играет на скрипке, он или *le mignonier du village*)... кормила его почти каждый день яичницей, подарила ему голландского полотна на двадцать четыре рубашки. И он принимал все это с благодарностью, с радостью, казалось, забывал на миг о Nelly и говорил только, что хорошо бы отдалить от нее Мильке-ева *avec son Эжель et son йготизме*, я не смею сказать «эгоизм»!

— Теперь, — говорил он, — у меня к ней только дружба, она упала в моих глазах; я только жалею ее, как одинокую и неопытную девушку...

Но Катерина Николаевна не могла положиться на это; в октябре и ноябре он делал предложение и получил отказ; в декабре помирился на дружбе; в феврале уже опять начинал слабеть и писал к отцу Nelly; в марте получил и от него отказ за то, что он католик;

опять влюблялся до того, что рыдал и не спал ночей. Положение его было тем более трудно, что нельзя было заставить Nelly быть добрей к нему, потому что Баумгартен, при малейшей любезности с ее стороны, начинал очень свободно обращаться с ней: при всех хлопал ее по плечу, а наедине брал ее за руку и говорил, протягивая к ней бороду: «allons-donc — будем счастливы!» И вот... не успела Nelly уйти в свою комнату, как Баумгартен вошел в кабинет, сел против Катерины Николаевны и, краснея, достал из кармана исписанную бумагу.

Новосильская пришла в отчаяние.

— Это, верно, новая глава из вашего романа? — спросила она любезно.

— О, нет! — лукаво отвечал француз, — это кой-что новое. Я докажу вам, как вы ошибались, утверждая, что она равнодушна к Милькееву. Руководствуясь правилами нашего Эгоиста, который утверждает, что цель оправдывает средства, я решился тайно списать произведение молодой и влюбленной души. Прочтите!

Катерина Николаевна с беспокойством и

удивлением прочла: «Шел путник по узкой горной тропинке и увидел розовое облако над синими лесами, которые покрывали вершины. Он поднялся с трудом к прекрасному облаку и увидел — один туман. Он отдохнул на минуту в прохладе, любуясь сверху на пройденную дорогу. — "Облака нет!..."» — грустно сказал он, спускаясь по другому склону. Но путник ошибался! Облако было там; он не узнал его, когда был близко и, отдалившись опять, он обернулся и с радостью увидел, что на покинутом месте стоит опять то же облако, розовое... стоит там же, над синими лесами, лишь немного и не скоро меняя свой вид!

Не говори же мне никогда, милый друг мой, что идеала нет! Он есть, но вблизи ты не умеешь его узнавать!..

О, жизнь! жизнь! Все проходит, все меняется!.. Недавно ветка под моим окном висела зеленая и полная жизни, а теперь она покрыта снегом... Но жизнь в ней спит до весны. Осенью закрыли фонтан, но он не уснет навсегда. Придет весна — опять мы все пойдем в сад и будем слушать его. И ветка, и фонтан — и все будет то же, но я? Я буду **АИ все** то же? И *все*

ли мы пойдём вместе в сад?

Никогда Милькеев не был так близок мне, как пять или шесть дней тому назад, и вместе с тем я убедилась, как он далек от меня!.. Я спросила у него: "Зачем Child-Harold бежал от своей родины? Неужели никто не был достоин его? Или он был недостоин других!" — "Нет, — сказал он, — ни то ни другое. Разве бегут только от дурного? На родине Child-Harold'a было так много доброго, почтенного, честного... Но ему хотелось бури, борьбы и страстных наслаждений! И общество не было так дурно, как иные думают, стараясь оправдать Байрона, и Байрон не был извергом... Он хотел нового, нового и нового!..» Я сказала ему, чтобы он приехал к нам, если судьба занесет его в нашу сторону, что дом моей матери — его дом.

Он покраснел и сказал: "Хорошо иметь друзей!».

— Eh bien? Что вы теперь скажете? — воскликнул француз, когда Новосильская прочла. — Это разве не страсть? И разве вы не рискуете перед Богом и людьми за честь и счастье этой девушки?

— Во всяком случае, — отвечала с притворной строгостью Катерина Николаевна, — я не нахожу похвальным, что вы позволили себе унести это с ее стола и списать... Я вас не узнаю! Это можно извинить только вашим увлечением...

— Мое увлечение! Oh, madame! Мое увлечение! Мое увлечение наводит на всех скуку — я это вижу... Но это — увлечение дружбы и сострадания... Честь и счастье этой девушки, которая приехала сюда издалека, подобно мне, для меня дороже моего спокойствия. И ее страсть, которой вы видите образчики, меня пугает!

— Я не знаю, страсть ли это, — сказала Новосильская в раздумье. — Конечно, она ничем почти не занята у нас. Это пока еще только тоска по идеалу, которого она ищет. Она всегда как будто сонная и тихая, но воображение у нее раздражено... Она любит уходить одна или с Машей в лес... С восторгом говорит, что над тем пустым оврагом за лесом всегда кричат вороны. Я слушала раз нечаянно сказки, которые она рассказывает детям. Всегда пустые замки на горах, старушки у ками-

на... Все это опасно... я не спорю. Но теперь уже нечего бояться: Милькеев решился ухаживать за Любашей. Что ж, быть может, она составит его счастье; он останется здесь, и вы будете покойны...

— О, не верьте, не верьте ему! — отвечал Баумгар-тен. — Это — уловка... Любаша будет только щитом, из-за которого ему ловчее пускать стрелы в Nelly!

— Все-таки надо попробовать... Я теперь все придумываю, как бы получше устроить все это... Успокоить вас, отвлечь Милькеева от Nelly, ее развлечь, детей повеселить... Надо ехать с визитами... Знакомиться... Чем оправдаться... что до сих пор десять лет не ездила, и вдруг...

— Oh! qu'a cela ne tienne! — воскликнул Баумгар-тен, — дайте мне три-четыре дня, и я вам приготовлю комедию в трех действиях; она будет применена к актерам... Она уже давно у меня зреет... M-me Эме не может, конечно, поддержать дельный разговор на французском языке; но она произносит порядочно. Я ей приготовлю простую роль!..

И точно, дня через три-четыре, француз

принес тетрадь и прочел: *La faiblesse de la force* ou *La force de la faiblesse*.

Милькеев был разбит вдребезги в лице блестящего и ничтожного парижанина; сам *ami Joseph* выведен был в виде простого и честного земледельца. Особенно одно место живо напоминало Милькеева.

Фаншоннета (предмет спора и ревности) спрашивает у парижанина: «Вы все говорите: *поэзия*; что такое поэзия?» «Поэзия? — отвечает парижанин, — это нечто невыразимое; это — игра радуги... Это — божественная искра, которая уносит нас вверх, уносит, увлекает, пленяет... и, облекая все душистым туманом, заставляет забыть печальную действительность!» Читая это *ami Bonguars* лукаво улыбался Новосильской, и Новосильская от души похвалила пьесу, которая, в самом деле, вышла довольно жива и местами забавна.

VIII

Во всей окрестности не было тройки лучше лихачов-ской; и на этой тройке Александр Николаевич вез теперь, по морозу и сумеркам, Милькеева к Любаше.

Въезжая, проездом, в деревню, где уже зажигались вечерние огни, Лихачев спросил своего спутника: — Любишь ты эту картину?

— Люблю; но больно, что уже не чувствуется того, что чувствовалось прежде. Понимаю больше, а чувствую слабее.

— Я не знаю, отчего это у тебя, а я, напротив, нахожу, что многое я стал чувствовать сильнее с годами, — отвечал Лихачев. — Попробуй-ка объяснить это мне.

— Попробую. Не оттого ли, что с утончением сознания крепнет в нас и то, что от природы было слабо. У тебя воображение не сильно, но с годами и оно проснулось.

— Недурно! — сказал Лихачев, — а отчего ты меньше чувствуешь теперь?

— Про меня скажи ты! — возразил Милькеев.

— Профершпилился прежде, — отвечал Лихачев. — Воображение играло на эту тэму, не спросясь у сознания; устало и требует нового.

— А где бы это новое достать — вот задача? — спросил Милькеев.

— Любашу достань — Эме, как говорит Ан-

на Михайловна.

— Что это, повелительное наклонение или имя собственное?

— Никак это ami Bonguars со мной едет! — воскликнул Лихачев. — К чему эта грамматическая соль? Однако, Федор, ты намерен, кажется вроде обоза тащиться...

— На горку вздохнуть, — отвечал кучер.

— Чисто что на горку! Ну-ка! тронь, как следует! Разве ты не видишь, с нами троицкий учитель едет.

— Перестань браниться, — сказал Милькеев, когда лошади понеслись во весь опор. — Скоро приедем, и я не успею спросить у тебя кое-что. Скажи-ка, кого ты находишь лучше: Nelly или Любашу?

— Правого-то мошенника подзадорь, — сказал Лихачов кучеру. — Коренной весь в мыле... Что ты, душа моя, сказал?

— Которая тебе больше нравится, я спрашиваю: Nelly или Любаша?

— Чем?

— Да всем.

— Всем? Всем — ни та ни другая не нравятся особенно. По бульвару пройтись, мазурку

протанцевать или в кавалькаде проехать — Любаша лучше, эффектнее; а для домашнего обихода та — я думаю, посущественнее будет.

— В моральном или физическом смысле?

— И в моральном и физическом. Любашу приятно показать другим, а питаться той, я думаю, и здоровее и вкуснее. Кстати, я тебе скажу, какой мне прежде вздор приходил в голову; все казалось, что свежи могут быть только русские, а иностранки все будто только притворяются свежими... Ведь это страшный вздор, а я так думал или даже скорее чувствовал так... Но теперь, если оставить в стороне все общественные условия и т. п., а взглянуть единственно с точки зрения какого-нибудь паши, так я бы не без удовольствия бросил платок этой скромнице... Коса такая черная, длинная, и синие глаза — очень недурна... И если бы потоньше нос...

— Ну, нет, я с этим несогласен... я бы бросил платок Любаше... Впрочем, в этом есть неодолимое химическое сродство... — отвечал Милькеев.

— Опять с точки зрения этого химического сродства, — продолжал Лихачев, — обе они

перед Полиной никуда не годятся; вот так женщина! ни сучка, ни задоринки нигде нет! Я думаю, Катерина Николавна в молодости была гораздо хуже, грубее... Но горе-то в том, что с Полиной ничего сделать нельзя: она так осторожна, кокетства сколько угодно, а дела ни на шаг... Я пробовал еще на выборах с нею заняться... Нет, шалишь!.. Летом сама предложит идти в лес, обрадуешься, — а она вдруг ребенка возьмет или горничную кликнет... Чтобы никто и думать не смел... Наконец, она сказала мне раз, чтобы я не ждал ничего, что она меня бы всем предпочла, если бы хотела выбирать, но хочет быть верной своему верзиле!..

— Ты уж слишком гонишься за мелкими и правильными чертами, — возразил Милькев, — а Руднев говорит, что в физиогномии от идеала до пошлости один шаг; есть психичность при правильных чертах — Аполлон и Венера; нет психичности — пустота и скука, Воробьев или твоя Полина. Жаль, что у Воробьева круглый нос, он бы как раз ей в симметрию годился! Оттого-то ты, заметь, и сам о ней выражаешься так, как не позволишь се-

бе выразиться о Катерине Николавне или Nelly — она ничтожна. Это наблюдение Руднева очень верно, и я еще его поддел тот раз на это, сказав ему, что между социалистическим идеалом, который он полусознательно любит, и правильно организованной пустотой даже и шага нет!.. Руднев ведь ничего, как ты находишь?..

— Да, если верить твоим словам; а у нас с ним еще ничего особенного не клеится...

— Постарайтесь заменить друг другу, друг другом, когда я уеду...

— А разве решено, что ты уедешь?

— Решено; или весной или летом уеду...

— А Эме? — спросил Лихачев, выходя на чемоданов-ское крыльцо.

— Пока еще не Эме в смысле причастия, да и Бог даст, не будет. Я ведь, ты сам говоришь, профершилился прежде! Ну, да во всем этом есть непреложные законы... Однако почти весь дом в огнях. Что это такое?

— Старуха до сих пор любит жить весело, — отвечал Лихачев.

Они вошли в неопрятную прихожую, где слуга в старом нанковом сюртуке бодро со-

рвал с них шубы.

Хотя в Чемоданове дамы уже носили сетки и кринолины, но от многого еще веяло здесь духом старой помещичьей жизни. Большие дряхлые хоромы, построенные еще тогда, когда имение не делилось между наследниками первого мужа Авдотьи Андреевны; запущенный сад; просторная баня в саду, с передбанниками и полками, куда сама старуха, зимой и летом, ходила почти каждую субботу; качели на запущенном дворе; вокруг ветхий плетень и крапива; где попало кусты сирени и черемухи. Громадная вершина перед двором (прежде тут был отличный пруд; но он ушел, и на поправку его у обедневшей помещицы не было средств). На половине дома тес был ободран; на другой цел и желтого цвета. За домом, в светлом саду, была видна мрачная еловая аллея; она и зимой чернелась издали. — Горничные, в затрапезных платьях и печатных платках, шили или пряли, распевая, по зимним вечерам в просторной девичьей; конечно, прежде их было больше десяти, а теперь всего три. Люди к столу приходили без перчаток; мальчики босиком вбегали в

гостиную; в прихожей на окне валялись щотки с ваксой; наверху, над лестницей, навалены были груды перин и сундуков; сама барыня умывалась, сидя на кровати, и потом, не вставая с нее, пила кофе, и в это время ей расчесывали голову пальмовым гребнем. Случалось, что красивая Евгения, горничная самой барыни, выходила с синим пятном на щеке, потому что Авдотья Андреевна иногда «изволили серьезно драться». Комнат в доме было множество; сама Авдотья АН&NBSP;— дреевна занимала три; пустая зала была часто заперта; все половицы в ней пели и плясали; все окна были кривы; все стены увешаны портретами: дети Авдотьи Андреевны с голубками, собачками и цветами; первый муж — худой и строгий; второй — молодой и женоподобный; третий — полный и простодушный...

Во всем были видны остатки широкого, покойного, веселого житья; всего было еще много: старой мебели красного дерева, с бронзовыми львами и грифами, посуды, белья столового; на зиму сушили груши, мочили яблоки, огромные бутылки с наливкой стояли в самой

спальне барыни, на окнах: водицу шипучую делали трех сортов: малиновую, яблочную и из черной смородины; невейку трех сортов: из черной смородины, из клубники и малины; по-стилу из клюквы и яблок; розовый лист и мяту обсахаривали в коробках; варили брагу и мед. Одних кошек было шесть у старухи. Все они спали и мурлыкали около ее кресла, на лежанке; все были жирные, пушистые кошки; Авдотья Андреевна сама занималась ими, наблюдала их свойства и говорила: «Ну, что Машка! Машка дура! Глупая кошка. Вот Арапчик мой, так кот! Всем котам кот. На плечо приляжет как нежно, лицо какое доброе; по столу пройдет, ничего не зацепит!» Взглянуть за сбежавший пруд было страшно: там были видны закопченные избы, кривые, с растрепанными крышами, с волоковыми окошечками. Старуха только в последние лет пять ослабела и присмирела. Своей рукой умела она ободрять ленивых и наказывать непослушных, и не дворовых только — крестьян на работах бивала она, сходя нарочно для этого с одноколки, и самые простые соседи неодобрительно рассказывали, что когда в

30-м году была холера, она, боясь заразы, загнала нескольких заболевших крестьян в баню, поставила им большой чайник с мятой и заперла и заколотила все окна и дверь. Больные выпили всю мяту, вышибли окна и двери; двое из них кинулись к пруду и пили из него до тех пор, пока смерть не застала их на берегу. Рассказывали также, что беременная горнич — нал от ее побоев выкинула и умерла. Но все это было давно, и что полегче худое случалось теперь — случалось не каждый день и забывалось скоро. Люди были бодры и не грустны, соседи и родные издалека собирались иногда толпою, шумели, ели, опять уезжали, и находила на дом скучная и тихая полоса.

Лихачев и Милькеев попали в бойкий день.

Все были тут: Сарданапал с сестрой; Полина; князь Самбикин и мать его княгиня; Богоявленский, Сережа; муж Полины щоголем, как всегда, ходил по комнате с Максимом Петровичем, который и не думал менять на сюртук свой голубой халат, сшитый из прошлогоднего платья дочери. Сама Авдотья Ан-

дреевна царила в своем кресле, и Анна Михайловна тряслась от смеха около нее. Только Любаши не было видно. Все о чем-то спорили, когда молодые люди вошли... Лихачев представил Милькеева старухе, и когда первые крики и приветы, которыми Сарданапал, Сережа, Платон Михайлович и Полина оглушили Лихачева, поутихли, — Максим Петрович продолжал прерванный приездом гостей разговор: — Как хотите, матушка! — говорил он грустно и жалобно, почесывая себе затылок, — а князь взял с Фомы два рубля... и рои улетели...

— К чему ты это поминаешь, Максим, удивляюсь я... Уши вянут твою ахинею слушать! — с досадой сказала старуха и поспешно обратилась к Лихачеву: — Давно мы вас, Александр Николаич, не видали... Так добрые соседи не делают... Новосильская вас отбила вовсе... Это не по-соседски, милый мой!

Лихачев не успел и слова сказать в свое оправдание, как княгиня Самбикина воскликнула, нетерпеливо вставая с дивана и поправляя складки своего шелкового платья: — Не у всех, дружок Авдотья Андревна, столько маг-

нита, как у графини! Александр Николаич, может быть, бальзаковских женщин любит... У этого французского писа — теля (пояснила княгиня для своей старой приятельницы, которая никогда романов не читала) все героини сорокалетние...

— Я очень рад и даже тронут, что мое отсутствие заметно, — с сухой любезностью отвечал Лихачев.

Сарданапал, с чубуком в руке, стал перед ним и, любуясь на него, сказал: — Найдет, найдет, что сказать... Найдет, что сказать! Максим Петрович опять вмешался и все с тем же печальным видом: — Да отчего ж к графине и не ездить гостю. Она — женщина отличная, стол у нее, говорят, хороший, вежливо все... Настоящая графиня. Оно, точно, графство это — заведение у нас не так-то старинное, со времен Питера нашего, не далее. А все-таки...

— Ну, опять стал титулы считать, — перебила Авдотья Андреевна. — Не знаете ли вы еще каких слухов о пресловутой воле, милый Александр Николаич? Ваш брат ближе нас ко всем этим слухам.

— Не слышал ничего нового, — отвечал Лихачев, — приходил ко мне старик один на днях и спрашивал, правда ли, что с господ будет рекрутчина, как с них; я, чтоб отвязаться от него, сказал ему, что это невозможно, потому что кость моя белая, так меня и не могут в солдаты отдать. Он задумался и ушел.

Все захохотали, даже Максим Петрович развеселился. Милькеева все это время занимала Анна Михайловна на французском языке.

— La comtesse живет так уединенно; и непонятно, почему она чуждается соседства; конечно, она больна, но однако...

Княгиня Самбикина услышала и тоже вмешалась.

— Именно, chère amie, однако! Странная болезнь, которая позволяет сорокалетней бабе по сто верст скакать на лошади во весь опор, так что никто поспеть за ней не может, и дети себе шеи ломают... Какая примерная мать!.. Может быть, она с неба звезды хватает, но я такой жизни и таких странных правил не понимаю... Alexandre, подай-ка мне папироску! Я, вот видите, и сама курю, — про-

должала княгиня, обращаясь к Милькееву, — а все-таки не стану за обедом между каждым блюдом курить и на тарелку перед собой пепел бросать... Не видывала я этого в порядочном обществе! Я, как вы знаете, туда не езжу, но вот это мне сын рассказывал... А я ее терпеть не могу, вашу графиню, *milles pardons*... Можете передать ей это...

— С удовольствием, — отвечал Милькеев.

Молодой князь весь вспыхнул, подавая матери папироску, которую та гордо закурила; из других кто усмехнулся, кто, как Сарданапал, Максим Петрович и Богоявленский, из угла засмеялись громко.

Милькеев насмешил их нечаянно; он почти ничего не слышал; для него было непонятно, что он не видит Любаши и желание поскорее «увенчать жизнь» выводило его из себя.

Он наконец спросил у Анны Михайловны: — А где же ваша племянница? ее нет дома?

— Любаша! Ах! *c'est vrai!*.. Любаша... И чай уже пора давать! Чай пора... Она это все с доктором...

— С каким доктором? Руднев разве

здесь? — с удивлением спросил Милькеев.

— Хи-хи-хи! — отвечала Анна Михайловна, поспешно вставая, — да! она пошла с ним...

Максим Петрович остановился в эту минуту перед ними и сказал сестре: — Дай же кончить; она пошла говорить ему о своих головных болях, да и засиделась верно... Не тревожься, я сейчас сам за ней схожу...

— Люба, — закричал старик, входя в соседнюю комнату... Тетка по тебе вся изныла. Да и гости тебя спрашивают — троицкий ментор и Саша Лихачев. Разве не слыхала, что приехали...

Любаша вышла из дверей, а за ней и полумертвый от стыда Руднев.

Ни Карус, ни Галль, ни Лафатер, ни совместивший их всех в себе сам Руднев не объяснили бы ему, что значила приветливая улыбка друга, который протягивал ему как будто радостно руку... »Насмешка? Нет, не насмешка! Зачем насмешка, когда он сам все хлопочет, чтобы Руднев жил? Скорей радостное удивление, что он решился наслаждаться. Однако — ведь он сам сюда же намерен направить свои стрелы... Да, наконец, у нее голова

ведь болит; чем же он виноват...» Все это взволновало доктора гораздо больше, чем откровенно плутовской вопрос Лихачова: — А, и вы тут? Кажется, науку прилагаете к живым организмам? Это — славная вещь!

Однако все обошлось: все на минуту не раз вспыхивавшие страсти приутихли, прежде всего благодаря несомненному такту старой хозяйки, которой беспрестанно приходилось следить и за Максимом Петровичем, и за княгиней, всегда готовыми сразиться, и за Сережей и Богоявленским, которые очень редко так удалялись в угол, как сегодня, и за Сарданапалом, который того и гляди бросит ком грязи во всех или заговорит нарочно по-французски и вместо «mon devoir» скажет «mon besoin». А старуха, хоть сама кроме русского ни на каком языке не говорила, однако понимала, что из этой замены может выйти.

Любаша разливала в столовой чай. Почти все молодые люди сели вокруг стола: Лихачев, Богоявленский, Миль-кеев, Сарданапал, Сережа и Руднев. Только Полина осталась с старшими, да скромный брат ее, которому мать указала на кресло около себя и сказа-

ла: — Сядь здесь, Alexandre; ты знаешь, мне и чай вкуснее, когда ты около меня!

Alexandre поцаловал руку матери и вяло стал толковать об устройстве вольнонаемного труда с Платоном Михайловичем, который, как дельный и богатый агроном, уже заранее делал очень удачную пробу.

Сестра Сарданапала, стройная брюнетка, лет двадцати четырех, с калмыцкими глазами и уж слишком залихват — скими манерами, подошла к Сереже и, почти вырывая из-под него стул, сказала: — Пошел вон! я хочу около Алексея Семеныча сесть... Вы позволяете, Алексей Семеныч?

— Позволяю, Варвара Ильинишна, — отвечал Богоявленский. — Только будет ли из этого соседства прок?

Варвара Ильинишна хотела было оттолкнуть стул, но вдруг переменяла намерение и села.

— Не плюй в колодезь, — сказала она.

— Терпеть я не могу, как вы изволите эти пословицы говорить, — сказал Богоявленский, — куда как нейдет!

— Как к корове седло? — спросила калмыч-

ка. — Люба! Послабее чай. Я и без того ночей не сплю, все об Алексее Семеныче думаю...

— А вы разве умеете думать хоть о чем-нибудь? — возразил с усмешкой Алексей Семеныч. — Уж не про вас слово *думать-то* выдуманно, мне сдается...

— Молодец! — закричал Сарданапал, — вай ей! Алексей Семеныч! Я тебя полюбил с тех пор, как ты мне Белинского дал читать. Я сплю с тех пор; а то была бессонница, да еще контуженная нога под Карсом разболится ночью... Страх!

— Под коленкой, я слышал, что болит нога, — через стол закричал Сережа, — а под Карсом не знаю... Где у тебя Каре?..

В ответ на это Сарданапал схватил из корзинки булку и с криком: «же ву тюэре», бросил ее в Сережу. Сережа схватил другую. Крик, хохот...

— Хлебом, хлебом, Сережа, грех, — кричит Любаша.

— Грех, грех, — подтверждает Богоявленский.

— Кес-ке-се! Кес-ке-се, Serge? — вбегая, шепчет Анна Михайловна.

— Э! финисе, машер, ожурдюи се комса! Але-ву-зан, старушка, — кричал ей во все горло Сарданапал.

— Тужур се-бетиз! Тужур...

— А я думал абажур! — отвратительно острит Сережа.

Милькеев, Лихачев и Руднев, по-видимому, смеялись всему этому, но каждому из них сильно хотелось знать, о чем думают двое других в эту минуту. Милькеев думал: «Уж не влюбится ли Руднев в Любашу? Надо бы выспросить у него его намерение. Она удивительно мила! И как этот чудак Лихачев на нее, живя тут с детства, не обратил внимания!» Лихачев думал: «А ведь и вправду Любашу приятно было бы иметь женой на короткое время... Как даже сутуловатость ее небольшая к ней идет... Но, однако, Бог с ней... Все эти официальные узы — ужасная скука!.. Пусть эти оба молодые философа с ней упражняются... Который-то возьмет верх... И вдруг Милькеев скиксует, а тот скромнец успеет! Это для курьеза было бы недурно!» Руднев думал совсем иначе, и его улыбка была натянута при взгляде на пошлости Сарданапала и

Сережи и перебранку Варвары Ильинишны и атеиста: «Ее тешит все это, — думал он. — Невзыскательный вкус! Какая привычка к грубой пище! Может ли ей понравиться человек мысли? Если бы ей понравился Милькеев, так это, конечно, будет не за игру его ума, не за благородство, которое дышит в его лице и поступках, вопреки его злым теориям, а разве за рост, дородство и кудри. Впрочем, и то сказать, едва ли она чувственна... На нашем севере, сколько я знаю, женщины чувственны те, которые ленивы в движениях и толстогубы, а она не вертлява, но и не ленива в движениях и уж слишком всегда спокойна и румяна...» — Налить вам еще чаю, Алексей Семеныч? — спросила Любаша.

— Наливайте, наливайте, — отвечал Богоявленский, — русским барышням один ресурс — хозяйство... Их идеал должен быть кухня и кладовая.

— Это вы что еще вздумали врать? Нынче уж это оставляют, — говорила Варвара Ильинишна, сбоку взглядывая на него.

— Положим, что не только нынче, а вообще теперича это оставляют... Да резону нет!

Ум как-то им не к лицу... Все невпопад выходит. А сантименты разные еще хуже. Куда уж нам... с деревянными... знаете чем... Сказать только не смею.

— У вас, может быть, деревянное рыло, а не у девиц, — возразила Варвара Ильинишна.

— Так-с, так-с, — говорит Богоявленский, — видно, в самую сердцевину попал, что браниться...

Руднев ждал с нетерпением, чтобы Милькеев расправил свои кудри и, подавшись вперед, бросил бы через стол доброе словцо одностороннему жолчевнику, но Милькеев, не обращая никакого внимания на пикировку Варвары Ильинишны с Богоявленским, не сводил почти глаз с молодой хозяйки.

Тотчас после чая все попросили Любашу аккомпанировать Варваре Ильинишне, которая отлично пропела, вместе с братом, несколько цыганских песен. После этого Любаша продолжала без приглашений играть соло, очень недурно и не без души; все, полувнимая, разошлись по углам и разговаривали: Богоявленский с Лихачевым, Сережа с Сардана-палом, Руднев с Варварой Ильинишной,

или, лучше сказать, она с ним, а Милькеев остался у фортепьяно.

— Хороший предлог эти фортепьяны для того, кто хочет свободно говорить, — попробовал он нарочно посмелее и рассчитывая, что из этого выйдет.

— Разве у нас есть с вами секреты? — спросила Любаша, продолжая играть.

— Я знаю, что нет и не будет, — вывернулся Милькеев, — но под музыку легко играет воображение.

— Зачем?

— Как зачем? Вот странный вопрос! Чтобы играло...

— Так это все, значит, неправда?

— То есть, что неправда?

— То, что вы говорите.

— Я еще, кажется, ничего не сказал такого, чтобы стоило отвечать мне загадками, — сказал Милькеев.

— Я неразвита ведь, все говорят — не умею, может быть, как надо говорить. Василий Владимфыч Руднев советует мне у вас поучиться всему...

— Если вы будете все кружиться так, как

сейчас, так какое же я могу иметь на вас влияние. Руднев хвалил вашу откровенность, но я вижу, что он ошибся...

— А если нет, если я с ним откровенна?., тогда что?

— Тогда что? Ну, мне это очень обидно — больше ничего.

— Совсем не следует обижаться. Руднева я давно уже знаю; папа его любит; он его лечил; мы вместе с ним за папа ходили... А вы мне совсем чужой. Зачем я вдруг стану с вами откровенна? Варя, а Варя, душка, спой-ка еще раз: «Того мне жаль, люблю другого!» Знаешь! Не ломайся, спой, голубчик мой.

— Не ломаюсь, не ломаюсь! — отвечала Варвара Иль-инишна, подошла и запела.

Все умолкли, и все стали слушать, кроме раздосадованного Милькеева, который думал: «Однако она — кокетка, и бедовая! Никак это меня она хочет в жалкие произвести! Надо подумать, с которой стороны ее взять».

Варвара Ильинишна пела сильным контральто а выражения страстного придавала даже слишком много, по мнению иных, но двое из присутствующих слушали ее песню с

особым вниманием: Лихачев пригорюнился, не замечая сам того, на соседний стол и подтягивал вполголоса, не глядя ни на певицу, ни на других, а Богоявленский сложил руки на коленях и качался на стуле, опустив глаза в землю.

Когда она допела и, вставши с разгоревшимися щеками, оглянула всех сверкающими и черными как угольки глазами, все захолопали в ладоши и благодарили ее, а Лихачев очнулся и, издали указывая ей на стул около себя, сказал: — Варвара Ильинишна! присядьте.

Она села около него, и они пожали друг другу руки.

— Давно мы не видались, — начала она тихо, пользуясь тем, что все остальные опять зашумели и заспорили: что лучше — танцевать до ужина или в разные игры сыграть?

— Сама виновата! — отвечал Лихачев.

— Я? опять я! Господи!

— Ты, разумеется! Я говорил тебе, что я буду жалеть о прошлом — ты не хотела, чтобы я рассказывался; а теперь вышли все те несносные дразги, которых я так избегал, все эти слезы, ревность, словом — скука.

— Знаю, знаю, что все отвратительно! Но я уже более не буду... Все пусть по-старому будет... Я *много*, а ты — *хоть каплю*.

- Бери, что дают, — отвечал Лихачев, — я, кажется, и сначала не притворялся и после ничего не обещал!.. Жалобы и раскаянье — пренесносные вещи!

— Еще какие несносные! Я это понимаю: стоит только на Алексея Семеныча посмотреть.

— Так мы с ним решительно соперники! Это интересно!

— Нет, ты не говори никому об нем... Мне сдается это так; а чорт его знает, может быть, он и не думает... Только ты не говори Милькееву своему, уж сделай одолжение... Алексея Семеныча и то здесь все не любят... Зачем же я буду еще терзать его... Ведь это уж свинство будет.

— Свинство, свинство, — отвечал Лихачев, — впрочем, Милькеев так добродушен, что если ему и сказать, он этим никогда против человека не воспользуется... Мне даже самому, если это правда, он будет больше нравиться: все-таки человек, значит, а не сухарь

школьный. Пойдешь ты за него, если он по-сватается?

Выразительные глаза Варвары Ильинишны вдруг стали сухи и горды; она быстро встала и отошла прочь, говоря: — Давайте, ребята, в жмурки играть!

А Лихачев встал за нею и подумав про себя: «это уж лишнее! Вовсе нейдет!», сказал громко: — Нет, лучше в рублик! сидя.

Все сели и играли в рублик, все шумели, иные смеялись, иные только улыбались; Сарданапал кричал и хохо — тал так, что Анна Михайловна опять выбежала в испуге, а князь Самбикин и Полина увлеклись и вмешались в игру... Играли и шумели до ужина, пока Сарданапал не закричал: — Баста! Супе! Супе! Анкор нельзя!

Но если бы кто мог во всей этой свалке жмурок, четырех углов, всего туалета и жгутов, при звоне колокольчика, с которым бежали по просторным и темным покоем, — если бы кто мог, я говорю, хоть на миг пронестись по всем этим молодым и разнообразным сердцам, на миг, на один миг разоблачить их — сколько бы смятенья и мучительных

мыслей увидал бы он; услышал бы мимолетные сомнения, внезапные вопросы без ясных ответов, узнал бы отважные надежды и горькие жалобы на судьбу.

— Довольно! Ужин кончен, и все едут!

Все друг за другом садятся в сани и мчатся во мрак от крыльца, а в ободранном доме один за другим гаснут все огни.

IX

Один шаг — и все переменили настроение.

— Растаял наш сахар-медович у Протопоповых! — весело рассказывал предводитель младшему брату. Собралась через силу: и спина, и голова, и шея — все болит; а денек вышел ясный. Во-первых, сама Протопопова красива; а мы от всякой эстетики не прочь. Поцеловались: «я, говорит, люблю хорошеньких женщин». Потом Колю смотреть, а Коля не конфузится чужих; я, объявляет — «аи-аи». Сели мы в сани. «Приятно, говорит, видеть молодую мать! Все у них свежо и ново!» Я ей, конечно, тут отпел за непостоянство и слабость.

— Отыскивать во всем хорошую сторону —

это ее страсть, — заметил младший Лихачев. — А в Чемоданове как?

— Ну, тут мрачнее показалось. Однако, Максим-бородач сюртук надел; старуха глазком мигала; Анна Михайловна как дух кругом от радости носилась. Люба тоже рада! Триумф, а не визиты! Наша царица была любезна, и бабушка согласилась отпустить Любашу, хоть с Полиной, хоть с Сережей на репетиции, если тетке будет трудно. Для театра обещала и сама подняться.

— А Богоявленского звали в Троицкое?

— Милькеев хлопотал. Да нет! Твердость разыгралась у Катерины Николаовны. Ни за что! Милькеев подстрекать пробовал: «яду, критики боитесь!» — «Пускай, боюсь: и вы боитесь, чтобы вам клоп на малину не попал». Его же оружием бьет: «вы сами, говорит, не велите быть всегда гуманной!» — Что ж Милькеев?

— Утешал Богоявленского; сидел с ним больше, чем с Любашей. А он, кажется, намерен за ней увиваться?

— На здоровье! — сказал младший Лихачев, потом прибавил: — Сарданапал не был?

Брат искоса взглянул на него и отвечал угрюмо: — Не был; а Варя была. И ее звали, смотреть, конечно, пьесу, а не играть.

— Еще бы! — сказал Александр Лихачев, — Еще Любаша сыграет туда-сюда по-французски, а у этой всегда вместо французского N будет русский *наш!*..

Владимир Алексеевич тоже шептал в Деревягине племяннику о новом оживлении Троицкого.

— Мановение! мановение руки! — говорил он, — одно мановение руки!

Явилось, наконец, в Троицком и то, чего в нем недоставало, по мнению Милькеева: начались праздничные ожидания, приезды нарядных женщин; репетиции внизу; прогулки в лес; по вечерам танцевали под фортепьяно Но-восильской, скрипку еврея-винокура и кларнет дворецкого; танцевали запросто, весело, искренно, много; танцевали и радовались, что послезавтра будут опять танцевать. Дети были вне себя; горничные и слуги по три часа не отходили от дверей залы, а мальчишки и девочки с деревни по глубокому снегу влезали на террасу и висели на окнах. Ба-

ум-гартен совсем успокоился; бегал из угла в угол в блузе, вымаранной красками, поправлял некоторые места в комедии; помирился даже с характером Феди за то, что Федя не без души и очень складно пел куплет в его комедии: Rkve, parfum ou frais murmure, Petit oiseau qui donc es-tu?

И вообще, наслаждаясь игрой детей, которые должны были представлять цыганят, стал добросовестно сомневаться, не слишком ли поспешно он счел русских народом неспособным и пустым? Сообщил об этом сомнении Nelly, а Nelly совсем уже осчастливила его, сказавши зря и без всякого отвращения к русским, что они «все и ничего!» — Однако они переимчивы! — заступился он на радостях.

Милькеев уже не ходил задумавшись по целым часам по зале; не сидел запершись у себя, не пропадал на трое суток у Лихачевых; в свободное от уроков время он не брал книги в руки; без Любаши помогал Баумгартену писать декорации, а при Любаше был с ней и *развивал* ее. Любаша заметнее удалялась от него, когда Руднев был тут; но без Руднева...

держала себя немного свободнее, как думали все со стороны. И с тем и с другим она была уже на приятельской ноге; сама звала танцевать Милькеева, посылала не раз в Деревягино сказать Рудневу, что пора в Троицкое, что ей без него скучно.

Простодушие Любаши заменяло ей хитрость, и никто не мог понять, кого из них она предпочитает. Веселится ли она только с обоими, или любит одного из них. Особенно с тех пор, как князь Самбикин уехал в Москву по делам матери на целый месяц, она стала еще развязнее.

— Что, отец мой, как дела? — спрашивал вначале Руднев у Милькеева, — интересно мне будет видеть, как вы отобьете ее у кирасира. Хоть и смирный он, и уехал, а все кирасир, и брюнет, и богат, и друг детства... Зх! кабы наша-то взяла...

— Я надеюсь, что у нее есть вкус! — отвечал Милькеев, который никогда еще не был так весел.

Через три недели Руднев спросил у Любаши: — Как вы теперь находите Милькеева?

— Теперь я всегда вам буду верить. Какой

он славный, умный какой. А как он вчера хорошо в классе детям рассказывал про римлян и христианских мучеников... Я все поняла!

— Да! он красноречив, — прошептал Руднев и задумался.

Вернувшись на ночь в свою пристройку, он не мог спать: ходил, ложился, садился к столу и, наконец, решился написать Любаше письмо: «Я сам не знаю, когда *это* случилось со мной, только я теперь без вас минуты считаю. Все, что прежде мне казалось словами и фразами у других, все это теперь стало для меня понятно. Поверьте — надежд у меня нет! Кого бы вы ни выбрали — Самбикина или Милькеева, я все-таки буду в стороне! Надежд у меня нет; а иногда я думаю — может быть! Прежде я мог судить вас, а теперь только люблю; прежде я все думал, что не люблю, если женщина сама не откроется мне, а теперь иной раз я понимаю тех пожилых людей, которые, вопреки отказам, добиваются руки холодных к ним девиц, покупают их деньгами, вниманием, просьбами, надеются на привычку и усталость. Часто думаю я: жаль бы на вас во что бы то ни стало, год

пожить с вами, а там — пусть будет что будет! Как мне трудно стало в больницу от вас уходить, — я вам выразить не могу; на книги смотреть некогда; все об вас думаю. Когда это сделалось со мной, — не знаю! и прежде вы мне нравились, а все-таки были как чужие. Не тогда ли это случилось, когда вы вдруг вышли из зимнего саду в залу в белом шелковом платье с голубыми полосками и косу одной рукой поправляли, а другую дали мне поцаловать? Или тогда, когда я решился протанцовать с вами вальс по вашей просьбе и спросил у вас, где вас посадить, а вы сказали: "около вашего дяди!" Я по — думал: неужели она уже и дядю моего любит и жалеет, как я жалею часто то Максима Петровича, то Анну Михайловну, то вашу злую бабушку, оттого что они *ваши!* Или тогда, когда вы похвалили мою руку и спросили, мою ли я ее после операций, — я уж не знаю. Только я бегать за вами готов, у ног ваших лежать стал бы сейчас; самолюбия у меня уже нет... Я не знаю, где оно и не хочу знать!

Как я Чемоданово ваше полюбил, — я вам выразить не могу! Знаете ли вы, что иногда

оно мне кажется лучше, чем Троицкое; больше на русское похоже: дом старый, окна ближе к земле; вся душа изныла об этом! а калитка! Боже мой! Калиточка забытая в поле... Всякую травку я знаю там теперь! Если бы я мог вам объяснить, что я чувствовал, когда сиживал с вами долго в угловой комнате у окна, перед которым стоит елка! И вы ведь любите эту елку и это окно... Вы сами сказали раз с таким чувством: "вот наша елка!" О бабушке вашей я сколько раз говорил себе: "все-то теперь на нее нападают, все бранят ее: и Богоявленский, и Милькеев, и Лихачевы, и люди — а ведь она умна, и отчего-нибудь да болит же у нее душа? И не все же она одно дурное делала? Ведь вы ей не дочь, — а она заботится об вас, как умеет — и людям лекарства дает иногда..." О! Как бы я вас всех любил! Как бы я забыл пятно прошедшего! Скоро освободят крестьян, и старики будут безвредны; мы будем без страха тогда уважать их добрые свойства... Я буду вдвое трудиться, втрое — сколько хотите, лишь бы у вас были платья, лошади, духи... Вы будете порхать, и я буду счастливее вас, глядя на вас из угла..." Он исписал

еще листа два в том же духе, прочел внимательно письмо два раза, вздохнул и разорвал его.

«Что с тобой, Руднев? — говорил он себе. — Где твоя скромная сила? Где независимость? Не гордись тем, что ты отрывался не раз от рояля, на котором она играла, чтобы спешить в больницу, где стонали и ждали тебя му — жики. Этого мало! В этом тебя все видят и судят. А ты беги от нее для свободной науки, в которой ты один себе судья!» Но есть ли возможность устоять, когда вечером, подъезжая к лазарету, он видел освещенные окна замка, видел тени в окнах и узнавал их!

И то уже радовало его, что он скрывать умел безнадежные чувства.

Милькеев тоже не всегда наслаждался с Любашей. Иногда он мучился нетерпением, ожидая от нее признания в любви или, по крайней мере, такого намека, который бы облегчил ему признание... в чем? Он сам еще не знал!

Иногда она раздражала его именно тем, чем прежде нравилась не раз: простотой, неопытностью, незнанием; тем, что читая

книгу, говорила про героя: «Ах! он добрый; ах! он недобрый» — и больше ничего.

Раз из-за подобного предмета они рассорились и жаловались оба: он — Новосильской, она — Рудневу.

Любаша попросила его рассказать, как он был влюблен и почему не женился.

— Я слышала от Лихачева, что вы были сильно влюблены? — прибавила она. — Скажите все, как это было.

— Зачем это вам?

— Я сама никогда не была сильно влюблена, так хочу знать, как это бывает.

— Как это было? Вот как. Я берег лоскутки ее платьев, как драгоценности; целовал иногда. Все, что принадлежало ей; все, что касалось до нее, было мне мило. Она жила в строгом доме, и постом ей не давали скоромного; она потихоньку ела раз рябчика руками... Так я эти грязные руки сам съесть был готов. Она была не очень красива. Зубы были нехороши, лицо широкое, нос круглый, руки большие и сухие; талия только была эфирная и глаза огромные, серые с черными бровями. Она этими глазами умела выражать все, все: и

гнев, и доброту глубокую, и хитрость, и мечту... Она была старше меня двумя годами, хитра, упорна, тщеславна и старалась скрыть свое тщесла — вне. Так мне и в жизни, и в книгах казалось странным, что за охота людям любить девушек или женщин, которые очень молоды, у которых руки малы, лицо свежее, нос прямой... »Это все не то, думал я, все не то! Не знают они, где настоящее блаженство!» — И вы не женились на ней? — с удивлением спросила Любаша.

— Не женился. Она вышла замуж за богатого и привыкла к нему. Уж она была помолвлена и опять предлагала мне отказать ему, если я через год, когда кончу курс в университете, женюсь на ней или если оставлю учиться теперь... Денег не было ни у нее, ни у меня. Я не хотел трудиться, чтобы кормить семью; не хотел оставить университет — и отказался... Ноги подкашивались, жолчь разлилась; квартира опротивела; в больницу лег; все смеялись и жалели меня: думали, что она провела меня; а никто не знал, как она за неделю до своей свадьбы целовала мои руки и готова была убежать со мной... И все-таки я не же-

нился...

— Значит, вы ее не любили! — воскликнула Любаша.

— Может быть, — сухо отвечал Милькев. — Вы называете любовью одно, а я — другое. Я знаю только вот что, что через два года я был на другом конце России и сидел раз у камина с молодой вдовой... Она меня любила; красивее той была в десять раз; я любовался на нее и на камин, а сам думал: «нет! это все не то!» Через три года повернул раз за угол на улице, и вдруг лицом к лицу встретил высокую, круглолицую женщину с прекрасными серыми глазами и в точно такой соломенной шляпе с лиловыми лентами, как у нее была. Ноги задрожали, и сердце дрогнуло!.. А все-таки прекрасно сделал, что не женился. Теперь у нее много детей... Что бы я делал!?

— А теперь что вы делаете? — спросила Любаша с негодованием и ушла от него к Рудневу.

— Ваш друг — пустой человек! — сказала она, — можно ли было так поступать! Боялся для детей трудиться. Как стыдно!

— Бог знает, Бог знает!.. Это надо обсудить

внимательно, — отвечал обрадованный и смущенный своей радостью Руднев...

— Вы бы так не сделали...

— Не знаю-с, Любовь Максимовна; не знаю, право, как бы я сделал, — продолжал доктор тревожно, — а Милькееву лучше всего быть свободным... Ему, верно, чтонибудь и тогда шептало — будь свободен!.. Он не женится никогда и прекрасно сделает!.. У него такая уж звезда!

— Не женится — никогда?.. — повторила Любаша задумчиво. — А вы?

— Я тоже никогда не женюсь — отвечал Руднев грустно. — Но по другой причине... Он не хочет, а я... я не могу...

Любаша посмотрела на него, взяла его руку и сказала: — Какой вы милый! Какой вы славный! Как я вас люблю!..

— Хм! — отвечал доктор, не сводя с нее глаз.

— Что это хм!? Разве так вы должны отвечать?

— Признаюсь, — отвечал Руднев, вставая и отходя от нее, — я желал бы лучше, чтобы вы меня бранили, как его... чем это... люблю! Уж

это плохо! Это очень плохо...

— Куда вы? Куда вы?

— Нет, нет, у меня есть дело! Прощайте...

Это плохо! Хуже такого объяснения нет ничего!.. Это очень плохо! Это скверно! — твердил Руднев, уходя.

Дети в зале схватили его за платье; но он сказал с такой силой: «ради Бога — оставьте!», что никто не стал его удерживать...

Милькеев, с своей стороны, жаловался на Любашу Новосильской: — Куда как она тупее Nelly! — сказал он, — я той тоже раз говорил о моей первой любви — слово в слово то же самое. Но она совсем не так отвечала мне! Со всем не так!.. «Я думаю, тогда вам было стыдно (она сказала); а после, как вы были рады и гордились вашей независимостью... Фи! как унижает человека этот мелкий, еже — дневный труд!» **Так что мне еще пришлось** защищать труд!..

Новосильская засмеялась и отвечала: — Да! Здесь вы с вашими воздушными стремлениями ничего не сделаете. Любаша, должно быть, очень практична, и дорогу в ее сердце прокладывать надо дружбой, добротой и при-

вычкой, а не дон-жуанством или немецкими сентенциями... Как бы Василек не взял верха над Василиском?.. А! что вы скажете?

— Нет; это было бы слишком хорошо! Я боюсь, что она поиграет-поиграет, да и выйдет за Самбикина... От этого надо ее отучать. Если б я этого не боялся, я бы, несмотря на ваши проклятия, возвратился к бедной Nelly, которая без меня, я думаю, страшно тоскует... Сами хотите, чтобы я здесь побыл еще, а жить не даете... Я обещаю вам, что я дальше поцелуев не пойду.

— Нет, нет, нет! — с испугом воскликнула Катерина Николаевна. — Я опять вас прошу — ради Бога, оставьте... Я даже готова сказать вам одну вещь... Смотрите только — молчите! Старший Лихачев и спит, и видит, как бы брата женить на Nelly... И брату она нравится; только он об этом не говорит: думает ли он, что она вами занята, или еще находит, что жениться ему еще рано... не знаю. Теперь он чаще с ней стал говорить с тех пор, как вы с Любашей. Разве вы, Вася, захотите мешать этому? Он, любя вас, не хотел вам мешать прежде, а вы будете? Такая милая жена разве

не исправит его пороки? Разве не приятно сделать ее русской, когда она и без того уже любит нашу жизнь?..

— Это ужасно, однако! — воскликнул Милькеев, — жить на свете нельзя! Если б я знал, по крайней мере, что Nelly наверное ко мне равнодушна, я был бы покоен... И оставил бы ее вовсе...

— Вы не хитрите, Василиск? — спросила Катерина Николаевна.

— С вами-то! — отвечал Милькеев.

— Ну, смотрите... Я на вас надеюсь.

Она передала ему все разговоры свои с Бaumгартеном, предводителем и самою Nelly, показала ему даже заветные листики, списанные французом, повторяя беспрестанно: — Это слабо, это гадко с моей стороны. Но я знаю — вы меня не обманете!

Милькеев был поражен, читая о розовом облаке на горах, о разговоре в зимнем саду, о самом себе столько лестного. Ему было не до шуток; молча сложил он листы и отдал Новосильской. Смущенный, задумчивый... не зная куда скрыться от самолюбивого восторга и внезапного прилива чувств, он поспешил

уехать в Чемоданово, надеясь около светлой и бесстрастной, по-своему загадочной Любаше забыть близость той, которая ждала только одного серьезного движения с его стороны, чтобы отдать ему душу без страха и угрызений.

Х

— Что ж ты, Сергей, не едешь в Троицкое? — спрашивал Максим Петрович у сына. — Ты видишь, тетка больна; сестре ехать не с кем.

— Боюсь бы скучно не было, — отвечал Сережа, потягиваясь.

— Дома веселее? Опух от сна! — сказал отец и прибавил, обращаясь к Богоявленскому, — вы, что ли, его не пускаете?

— Я ему не отец и не помещик, Максим Петрович, — отвечал Богоявленский.

— Поедем, Сережа, голубчик, — говорила Любаша, — посмотри, как там хорошо. Все идеи твои там объяснят тебе. И графиня, и доктор, и Милькеев... У Милькеева я нарочно для тебя спрашивала об этом...

— Баба ты, баба, Любаша, глупая баба!

— Видишь, какой ты грубый: что это — баба! Там ты бы отвык от таких манер! Поедем, голубчик! — уговари — вала сестра, которой дома после Троицкого все казалось и грубо, и скучно.

Сереза пошел к Богоявленскому и сказал ему, что от сестры отбоя нет, что нельзя не ехать.

— Поезжай. Что ж! попляшешь там...

— Неловко как-то! — заметил Сереза.

— Да ты говори начистую. Обиняк-то брось... Что тебя конфузит?

— Несовременно как-то! — сказал Сереза. Богоявленский усмехнулся.

— Проверь себя — прекрасный случай, — отвечал учитель.

Сереза в восторге уехал с сестрой, а Богоявленский заперся у себя и, схватившись руками за голову, просидел над столом целый час.

Постучали в дверь и позвали его обедать. Он вышел, как часто выходил: бледный, всклокоченный, злой, но в столовой душа его прояснилась: Варя Шемахаева была тут.

Отобедали молча. Только под конец Авдо-

тъя Андреевна начала бранить Милькеева.

— Презлой язык у этого человека, — сказала она, — непостижимо для меня, что ему княгиня Самбикина сделала; не проходит разу, чтоб он ее не чернил! И кривляется, и свету настоящего не видала...

— Ужасно, ужасно! — воскликнула Анна Михайловна. — Возненавидел и чернит... А про князя прямо говорит, что он глуп...

— Я ему последний раз сказала, — продолжала старуха, — мне очень жаль, мсьё Милькеев, что мой старый друг, княгиня, вам не по вкусу, но что ж делать! Всем не угодишь. «Извините, говорит, Авдотья Андреевна, я не знал, что она вам друг!» Я говорю: «Не беспокойтесь, мой милый, она от вашего мнения ничего не теряет!» Покраснел и ни слова.

— Покраснел и ни слова! — с восторгом взвизгнула Анна Михайловна.

— Не хотел отвечать верно! — заметила Варя, — по доброте не хотел старого человека сердить.

Богоявленский ободрительно взглянул на Варю, и Варя продолжала: — А я так со смеху умираю всегда, как княгиня начнет всю свою

родословную перебирать... Граф Иван женился на княжне Прасковье; а Прасковья сестра была графу Василию, и граф Василий брат княгине Василисе... А уж Василиса никак самому Чорту Иванычу Веревкину была сродни!

Богоявленский и и Максим Петрович засмеялись. Авдотья Андреевна побледнела еще сильнее обыкновенного.

— Не нам с тобой, Варвара Ильинишна, о людях так строго судить! Еще к тебе люди слишком добры. Мало ты дурила и дуришь, а тебя все на глаза к себе пускают! Ну, заступалась бы ты за Лихачева, коли он тебе и твоему брату приятель; а Милькеев что тебе дался, что ты за него взъелась?

— Умный и образованный человек! — пылко возразила Варя. — И молодец — третьего дня приехал на тройке, на крыльцо вышел — картина! Сел и полетел!

— Образованный? — спокойно переспросила старуха, — с каких это ты пор за образованностью гоняться стала?.. Прошлого года никак книги вверх ногами держала, да на девку сваливала, что, мол, девка, каналья, так пода-

Ла...

Варя покраснела и отвечала еще задорнее: — Что ж! Коли я сама необразованна, так в других цену знаю. А в необразованности моей старые же дворяне виноваты, а не я. Ваш брат, а мой папа был так глуп, что не позаботился. Все это старье на одну осинку бы.

Богоявленский ликовал молча. Авдотья Андреевна потеряла терпение.

— Послушай, ты, глупая девка, если я тебя на глаза к себе пускаю, так это оттого, что ты моего брата дочь, а сама ты грязной ветошки не стоишь... Ступай вон — и не ездь больше сюда. А не то я тебя холопьям велю вытурить...

— Погодите, — сказала Варя, глядя в окно, — еще лошадь за мной не приехала. А вы не командуйте, когда у вас своих мало... Дали Любаше тройку — да и все тут, и прогнать меня не на чем... Пешком я не пойду по снегу.

С этими словами она встала из-за стола и ушла в комнату Богоявленского.

— Экая вышла дрянь! — грустно сказала Авдотья Андреевна. — Кто бы мог подумать! Девочка была милая прежде.

— Это она занеслась оттого, что ее в Троицкое на вечер пригласили, — заметила Анна Михайловна.

Авдотья Андреевна вздохнула.

— Нет! — отвечала она потом, подмигивая ядовито, — это пустое. От этого не испортится. Скорей этот Милькеев вбил ей что-нибудь в голову или кто-нибудь еще почище Милькеева. От зла и низости нигде не убережешься. Вот и Сергея послушать, так волос дыбом станет... Да, впрочем, я скоро все это по-своему перековеркаю!

Богоявленский понял намек и, вставши из-за стола, пошел в свою комнату. Варя, услышав, что он идет, схватила со стола книгу, перевернула ее вверх ногами и притворилась, будто читает.

— Эх, Варвара Ильинишна, вы вот балуетесь да шутите... — сказал Богоявленский, — а мое дело плохо. Авдотья Андреевна хочет и меня согнать со двора...

— Большая беда! — отвечала Варя, — а у брата дом на что? У нас поживете, пока место найдете...

— Эх вы! Вы не знаете. Я себе дал слово на-

жить рублей хоть триста, чтоб уехать куда-нибудь отсюда... Куда-нибудь, где люди больше на людей похожи. Авдотья Андревна должна мне за два месяца; пока не заплатит, не выгонит... Терпелива, крепка, старая!.. А заплатила — марш... и не хватит по моему расчету... Уж надо рожном против рожна... Терпение против терпения...

— Оттого-то вы за обедом меня не поддерживали? И за Милькеева не заступались? А я так его за одно то уж люблю, что он, как придет, все им наперекор говорит... Надоели они мне все, как горькая редька! Рада я радехонька, что с Новосильскими познакомлюсь... Я уж приготовила светло-лиловое платье к вечеру и бархатками черными обшила... Блеснем!

— Ой! не хвались, едучи на рать! — сказал Богоявленский. — А я бы на вашем месте не поехал.

— Это отчего? — с гордым и кокетливым движением головы воскликнула Варя.

— Да что ж... По-французски вы не знаете; в светском обществе не бывали. Срежетесь еще — что хорошего!

— Срежусь! — с досадой возразила Варя, — еще это увидим!.. Чем это я так плоха? Что там экзаменовать меня будут, что ли?

— Экзаменовать, Варвара Ильинишна, точно что не будут; а что срежетесь — мудреного нет!

— Зависть это вас гложет... Самих не звали...

— Как не звать — звали! Вчера Милькеев говорил... А я все-таки не поеду!

— Милькеев! Так вы не понимаете до сих пор, что Новосильская сама об вас и слышать не хотела — Милькеев насилу-насилу упрямил ее...

Богоявленский в свою очередь покраснел.

— Коли так, спасибо вам, что сказали, — продолжал он, — спасибо Милькееву, что беспокоился... Рыбак рыбака видит издалека: хоть бы и не поехал, а все-таки спасибо ему, что хлопотал. Кабы не он да не беседа его изредка, так голову бы, кажется, другой раз себе размозжил об стену здесь. Поговоришь с ним час-другой — и вздохнешь полегче...

— А я... А со мной? — игриво спросила Варя.

— Что вы! Разве барышни, подобные вам, людей ценить умеют? Вот я вас прошу для вас же самих не ехать в Троицкое, а вы кобени-тесь. Милькеева вы хвалите за что?.. Разве вы знаете, что в нем хорошо?.. Давича про образование за обедом упомянули — и бабка вас ловко вздула за это! А вам вот что нравится — сел и полетел!

— Грубиян!., вот назло же вам поеду в Троицкое и всех там с ума сведу! Прощайте; лошадь моя приехала... вот она, — видите...

— А руку сегодня не дадите? — спросил Богоявленский.

— Не дам! Знать я вас не хочу! — отвечала Варя шутя и вышла. Потом вернулась и подала ему руку, — на счастье — послезавтра в Троицком! — сказала она, сверкая глазами.

Богоявленский проводил ее на крыльцо и, возвращаясь к себе, встретил в зале Пелагею.

— Муж, а муж... муж... дай хлебушка! — закричала дура.

— Нет у меня хлеба, отвяжись! — сказал Богоявленский.

— Что ты меня бьешь, дурак, а дурак, что ты меня бьешь! дай мильон... дай мильон...

— Мильон — я тебе дам... Постой... Послушай, видишь — вот двугривенный... видишь, не чорный мильон, а белый... Вот пятак чорный, а это белый; я тебе его дам, скажи только, о чем я думаю: *да* или *нет*!

- Нет! — закричала дура.

— Прах тебя возьми! На вот тебе, — сказал Богоявленский.

Пелагея Сергеевна понесла двугривенный к Авдотье Андреевне с криком: «Алеша дурак... Муж мой белый мильон мне дал!» Все удивились, что семинарист так расщедрился, не подозревая, что он гадал.

XI

Все выучили твердо свои роли; поставили декорации; большую лестницу убрали цветами и устлали ковром; приехал из города оркестр; залу и другие комнаты осветили сотнями свечей, как для многолюдного бала. Новосильская была здорова и бодра; блаженствуя от мысли, что другие будут веселиться, она попевала везде и не совестилась даже хвастаться своими чувствами.

— Вот, доктор, это — практичность настоя-

щая: доставлять удовольствие другим, — говорила она, краснея, Рудневу, — это — практичность! Я только такую и уважаю...

Потом подходила к Баумгартену и говорила ему: — Вы счастливы сегодня, — я вижу. Я вас люблю за то, что вы при ваших серьезных знаниях умеете веселиться. Вы очень хорошо развесили этот шатер под дубом, и перспектива в заднем занавесе хороша! очень хороша! Как я рада, что у меня под старость еще есть способность радоваться на других!

— Что, Василиск, рады вы? — спрашивала она у Милькеева. — Будете блистать?

— Постараюсь! — отвечал Милькеев, — поселиться там не стыдно, где всякий олицетворяет какую-нибудь идею!

— Я какую олицетворяю? — спрашивала Новосиль-ская.

— Идею пользы и добра, доведенную до прекрасного.

— А вы?

— Идею разврата, доведенного до косвенной пользы! Мимоходом и слугам Новосиль-ская успела доставить приятные минуты: велела Оле надеть не московские башмаки, а те,

которые ей сшил из серого атласа к празднику берейтор, отставной солдат и башмачник, и просила дворецкого и винокура играть увертюру внизу около занавеса, потому что для той комнаты, где устроен театр, городской оркестр слишком силен; у экономки попросила дюжину чашек на этот вечер: «боюсь, не достанет моих»; экономка чуть не заплакала от гордости и радости!

Съехались все: Анна Михайловна, Полина, Любаша, муж Полины, Лихачевы, дядя Руднева, Сарданапал с сестрой.

Заняли места. За стульями господ образовался род райка; винокур и дворецкий заиграли вальс; Баумгартен зазвонил за кулисами, занавес поднялся, и все притихли.

Цыганский табор в лесу; шатер; бочка, на бочке Баум-гартен; дети поют в пестрых одеждах.

Все были довольны; Милькеев в синей блузе был мо-лодцоват; Любаша и Nelly были очень милы в своих костюмах; Баумгартен играл недурно и с душой. Грамотным слугам были розданы еще прежде тетрадки с кратким изложением пьесы на русском языке, и

люди много смеялись; особенно когда Баумгартен будто бы напился пьян, погнался с хворостинкой за Федей и упал. Больше других радовался и хвалил француза бородатый истопник; во все время репетиций он служил при театре и, зная заранее то место, когда француз должен схватить хворостинку, выставил вдруг на сцену из-за кулисы бороду и лицо, чтобы видеть любимый пассаж.

Автора и актеров покрыли аплодисментами и пошли наверх танцевать.

Варенька Шемахаева решилась не подходить сама к Аихачову и ждать от него первого шагу. Она старалась веселиться сколько могла, старалась забыть угрозы Богоявленского, но вечер был уже в исходе, уж подали знак начинать мазурку, а Лихачев не сказал с ней и двух слов.

«Дура я, дура! Зачем это я поехала? Зачем, скажите мне, ради Христа! Ах я дура! Ах я низкая, униженная тварь!.. Я ему еще больше опротивела теперь!..» В отчаянии ушла она в кабинет и села у камина; долго была она одна; никто не приходил из залы; вбежал на минуту Юша, посмотрел на нее и убежал. Варва-

ра Ильинишна думала: быть может, ребенок увидит, что она грустит, расскажет, и Лихачов придет. Но вместо него вошел Милькеев, осмотрелся и, подойдя к ней, позвал ее на мазурку.

— Я вас давно искал, — сказал он.

— Будто бы? — отвечала кокетливо Варвара Ильинишна, — это что-то невероятно, чтобы я вам вдруг занадобилась!..

— Всякий человек другому надобен, — отделался Милькеев.

— На подставку! — с натянутым смехом и сверкая глазами возразила Варя.

Если бы бедная Варя могла подозревать, почему Милькеев пришел ее звать, и если бы знала, что Юша вбегал не даром в кабинет — она бы еще больше огорчилась... Катерина Николаевна, разговаривая в углу залы с предводителем и Анной Михайловной, не спускала глаз с танцующих и следила всем сердцем за всем. Ей было недостаточно, что в первый раз видела, как Маша в белом платье стройной сальфидой порхала по очереди со всеми кавалерами; ей было недостаточно, что Федя в восторге гремел, как исступленный, каблук-

ками в lancier, что Nelly кротко и приятно отвечала на приглашения всех: «très volontiers», что лицо Баумгартена оживилось от самодовольствия, приняло совсем новый характер «себе на уме», напоминая даже Генриха IV с бородой и горбатым носом; ей было мало, что Лихачев танцевал превосходно, как всегда, но гораздо больше и охотнее, чем где-либо в другом доме, судя по словам предводителя; что Милькеев, не стесняясь нисколько тем, что танцевал гораздо хуже Лихачева, не пропускал ни одного танца, ни одной дамы и даже вальсировал не раз с Олей, сгибаясь в три погибели; что даже два суровых мужа — Руднев и Юша увлеклись общим потоком и решились «пахать» в кадрилих, как выразился Федя про те угрюмые движения, с которыми они оба, казалось, совершали этот труд... Для Катерины Николаевны смотреть на чужую веселость было истинным счастьем, вся молодость ее проносилась перед ней; в троицком замке столько лет уже не было слышно ни музыки, ни гостей; она не раз уходила в темную спальню, плакала одна и опять бодрая возвращалась на свой трон, в углу между Ни-

колаем Николаевичем и Анной Михайлов-ной. Но веселости любимых или близких ей людей было очень мало: она хотела, чтобы все уехали с хорошим впечатлением из Троицкого.

И князь Самбикин танцевал, по-видимому, без принуждения, и Полина, ловко подобрав свой длинный шлейф, тоже вальсировала как следует, а Любаша толклась до того, что раз, когда кавалер ее оставил, она продолжала еще прыгать на месте под музыку.

Одна только смуглая барышня в фиолетовом платье с черными бархатками беспокоила ее; Катерина Николаевна заметила, что на первую кадрили позвал ее Федя; но это еще не беда; надо же и Феде с кем-нибудь танцевать; но на вторую Сережа, обойдя прежде всех дам, взял ее; на третью явился к ней Баумгартен... Катерина Николаевна испугалась, чтобы Варя не попала в жертвы, и раздумывала, кого бы из молодых людей отправить к ней на мазурку; в эту минуту на место Анны Михайловны, которая зачем-то встала, сел около нее Милькеев, и она спросила у него, с Любашей ли он танцует мазурку или нет.

— Нет, — отвечал Милькеев, — вдруг, вы знаете, нельзя... и другие заметят, и она избежится... Не знаю, кого пригласить.

Катерина Николаевна послала его к Варе.

Сначала, во время мазурки, Варя была молчалива и не могла скрыть своей грусти; потом вздумала оживиться и кокетничать с Милькеевым: давала ему свой веер, махала им на него, не доела мороженого и требовала, чтобы он доел его после нее; вздумала точно так же, как Полина, подобрать шлейф, которого почти не было, курила все время, беспрестанно роняя пепел с огнем на свой барезж, и принуждала этим Милькеева суетиться, гасить и хватать ее то за оборки, то за рукава. Лихачева не выбрала ни разу, так что все это заметили, и когда Милькеев сказал ей наконец, что она роняет огонь на платье нарочно и может сгореть сама, она отвечала: — А что же? вам, что ли, жалко будет?.. Никто и не подумает!

— Почему же так? — спросил озадаченный Милькеев.

— Ведь я никому не нужна! Что вы смотрите! Ну, скажите, еп гввсе, скажите, кому я

нужна...

— Я уже давно сказал вам, что всякий человек другому нужен.

— Ну, это вы из любезности приврали, а вы мне скажите, кому я нужна: брату? Это просто потеха! Любаше — тоже вздор. Вы понимаете, я хочу задачу вам задать, загадку, больше ничего... Заинтересовать вас хочу собой! Видите, брату и Любаше не нужна, Анне Михайловне и графине не нужна, Лихачевым обоим не нужна, Рудневу — тоже; уж не французу ли?.. разве уж не им ли в другой раз заняться... Послушайте, ну, вам, например, я нужна? Или лучше скажите, кто вам здесь нужен? Из всех, из всех... Кто?

Милькеев подумал и отвечал: — Никто.

— Как никто?.. Это неправда. Ну, это вы сочинили.

— Если уж вам непременно так хочется знать правду, я вам скажу, мне нужно, чтобы все здешние люди существовали такими, каковы они есть, но я и без них на краю света могу быть очень счастлив...

— И никогда тосковать, грустить не будете?..

— А разве грустить уж такое несчастье?..

— А что же несчастье?

— Невозможность делать то, что хочется — вот главное.

— А если сделаешь что-нибудь да после станешь рас-каяться?

— Все лучше делать, чем спать... Да зачем долго рас-каяться: старого не воротишь, а выйти можно с достоинством из всякого положения, чем-нибудь, ну, хоть смертью, если хотите!

Огненные глаза Вари расширились, она с удивлением посмотрела на Милькеева.

— Старого не воротишь, старого не воротишь? — спросила она, как бы опьяневши от слов этого человека, которого все считали умным.

Руднев не танцевал мазурку; он сидел в углу, рядом с тем капитаном, который год тому назад вез его на линейке, и смотрел, как веселилась Любаша: не дожидаясь кавале — ров, сама махала платком музыкантам, приказывая менять вальс на мазурку, а мазурку на польку-мазурку.

«Я для нее не существую», — думал он.

Любаша хотела выбрать его, подошла, протянула ему рассеянно руку; Руднев встал, поклонился, собрался надеть перчатку, но она, думая, что он отказывается, поспешила взять капитана.

Капитан отщолкал с ней и, возвратившись на место, сказал: — Важная барышня, доктор, вот бы вам!

Руднев не отвечал; ему казалось, все заметили, как он остался не при чем и как он глупо развел руками, смутившись.

— Да нет, — прибавил капитан, — Милькев-собака обойдет ее! Все говорят, что она врезалась уж в него. Этакая собака!

Маша Новосильская взяла немного погодя Руднева вместе с Милькеевым и, сказавши им, чтобы они обменялись прозвищами: Василек и Василиск, подвела их к Любаше.

— Василиск! — сказала Любаша, и Руднев пошел с ней солидным шагом.

— Что вы так тихо идете? — сказала Любаша с досадой. — Танцуйте как надо! Какой же вы Василиск — вовсе не похожи!

— Да вы знаете ли, что такое Василиск? И в каком смысле употребляется это слово в Тро-

ицком?

— Конечно, знаю! Посмотрите, посмотрите скорей, как Варя кокетничает с Милькеевым, — отвечала она невнимательно к его вопросу.

«Конечно! — подумал он, — на вечере я кажусь ей жалок».

После этого подошел к нему Милькеев и звал делать вместе новую фигуру.

— Куда мне! Это вы вот с ловкостью почти военного человека, — отвечал Руднев.

— А вам завидно, верно? — сказал Милькеев, стараясь тащить его за руку.

Руднев вырвал руку и сказал: — Прошу вас, не оскорбляйте меня! Довольно с вас всех ваших успехов. Зачем же топтать людей ногами? Не думайте, что я совсем колпак; это может очень серьезно кончиться!

Милькеев пожал плечами и пошел танцевать. Мазурка кончилась; пошли ужинать.

— Что вы этим хотели сказать: старого не воротишь? — спросила Варя, подавая Милькееву руку.

— Хочу сказать то, что сказано, без всяких штук... Варя подумала: «Кончено! Кончено! Он

рассказал ему все! Хвалился, Боже мой! Хвалился, бессовестный! Ну, пусть, все равно... Дура я! низкая дура, зачем я приехала...» Молча досидела она ужин, не слышав ни одного слова из речей Баумгартена, который рассказывал ей, как он в Nancy был *la coqueluche des dames*...

— А здесь я пария, — прибавил он весело и с заигрывающим выражением, надеясь, что она поймет это не иначе, как в обратном смысле.

— *Ouï, c'est vrai*, — отвечала Варя.

После ужина, когда заиграли гротфатер, Варя, стгорая желанием узнать еще что-нибудь от Милькеева, подошла и сказала, подавая ему руку: «Пойдемте-ка со мною, я хочу с вами еще переговорить!» Скрепя сердце, пошел Милькеев, которого уже ждала к себе Любаша, глядя на него с улыбкой из угла; но не мог удовлетворить любопытству Вари, которая желала бы самого худшего, но какого-нибудь решения; он не понимал ее намеков, потому что Лихачов не говорил ему ни слова об ней, и отвечал ей вздорными фразами, тем более, что последняя выходка Руднева его сильно

тревожила. Варя вообразила себе, что он все знает и смеется над ней, хотела в бешенстве поднять вдруг платок перед ногами Лихачева, когда тому приходилось перепрыгивать через него, чтобы он упал, но Лихачов взглянул на нее и сказал: — Вы бы, Варвара Ильинишна, пониже держали платок: я уж растолстел теперь и высоко прыгать не могу.

Перепрыгнул и молодцом пробежал с Nelly по зале.

Тотчас после grosфатера, он, крайне недовольный, но не показывая никакого вида, уехал и, только проходя мимо Сарданапала, сказал ему на ухо: — Сестра твоя дурит опять. Я сюда ездить не буду, если она будет эти финти-фанты строить.

И не одна Варя уехала домой по морозу, несмотря на все уговоры хозяйки, которая позвала даже доктора и при нем спросила, здорово ли это после grosфатера за двадцать пять верст по весеннему холодному ветру ехать. Этот самый доктор отвечал: «да, это скверно; грудь у вас и так часто болит; опасно!», но сам поспешно спустился вниз, схватил свою шубу и теплую шапку из комнаты

Милькеева и, не дожидаясь саней к подъезду, вызвал Филиппа из кухни и уехал.

— А за дядей опять вернешься, — сказал он в сенях. — Ведь ты не озяб?

— Какое озяб, — отвечал Филипп, — я из коридора все глядел на вас, как вы за хорошенькими увивались. Чемодановская барышня по-моему лучше всех будет... Милашка, просто ахти мне! Да все хороши! Что говорить... И англичанка вышла в розовом платье, Лизе графской говорит: «Лиза, я тебя люблю, когда дай воды!» Другие смеются над этим, а мне ничего! Уж чисто-то по-русски всякая дура у нас говорить умеет на деревне. А она так нежно, не воды, а *вади*. Дусецка такая, шельма! Нечего сказать, вечеринку важную Катерина Николавна задала. Все хороши! Только вот коптевская Варвара Иль-инишна подкапустила. Что, у них траур по ком, что ли?

— Никакого траура нет! Ступай скорей! Нечего балагурить тут.

XII

В Чемоданове все родные осыпали Анну

Михайловну и Любашу вопросами: кто там был и как... Богоявленский присутствовал тоже при этом, отвернувшись ото всех и барабанил пальцами по оконному стеклу.

— Ну-с... Так значит, много вчера мужицкого пота съели, — спросил он Любашу, оставшись с ней один.

— Я не понимаю, что это такое, — сказала Любаша.

— Я тоже думаю, что не понимаете; нельзя и требовать... Я спрашиваю, что все эти наряды, небось, стоили в сумме столько же, сколько стоит десятка два дубленок простых, да избы две новых, да коровушки три... Ась?

— Какой вы, Алексей Семеныч! Какой вы этакий!..

— Какой этакий?

— Такой вот, все на всех сердитесь... Злой, недобрый...

Богоявленский поправил очки, улыбнулся, посмотрел на нее и покачал головой.

— Наивное существо! так вас называет, я думаю, ваш интересный доктор! Он в вас влюблен, это верно! А что вы думаете, кабы я пришел вдруг, да все бы платья ваши посмял,

да свечи погасил бы, да вино все, которое ваши поклонники так дули за ужином, если бы я все это отнял да мужикам бы роздал или мастеровым, это еще лучше, из них больше проку будет... так те бы меня злым бы не назвали... Что вы на это скажете?

— Какое же вы имеете право... Кто же вам даст! — с досадой сказала Любаша.

— Право! Эх, Любовь Максимовна! Что такое право? Уж на что ваш чувствительный доктор плох, да и тот смекнул это: говорит, что закон есть суррогат добрых нравов.

— Что такое суррогат, вы мне скажите... Как вы любите слова такие употреблять...

— Это я в семинарии, Любовь Максимовна, привык к книжности... Схоластика!.. Вот вам еще... опять не поняли... Вы запишите да у своих джентльменов и спросите...

— Все не по вас! А там все люди хорошие... Например, Милькеев — разве он не ученый, не умный...

— Милькеев еще лучше других... Живой человек, не застыл, не даст заснуть себе... Милькеев еще перед другими молодец; ну, а еще-то кто?

— А Лихачев Александр Николаич? а Николай Николаич, предводитель!

— Нашли кого! Один псарь, другой все о легальном развитии дичь порет... Слыхали и мы... И нашим и вашим: как бы и перед мужичком полиберальничать, и дворянский окладец сохранить. Фарисей! Дома лампадку держит, чтоб мужики ему больше верили...

— А сама Катерина Николавна какая добрая... Мужиков хотела давно на волю отпустить с землей — не пошли...

— Расчухали, видно, что царской милости ждать не вернее ли будет! Впрочем, Катерина Николавна ничего еще, и знаете, есть французская поговорка: в царстве слепых кривые королями бывают... Так, разумеется, Катерина Николавна ваша между другими кривая... Хоть одним глазом, да видит... Это, Любовь Максимовна, французы так умно говорят, а не я...

— Я не люблю французов, — отвечала Любаша. — Вот еще вам Nelly, англичанка, какая милая!

— Напрасно французов не любите; они молодцы, как раз нос утрут тому, кто зазнался; а

Неллу этой я хоть и не знаю, да не думаю, чтобы из Англии что-нибудь могло быть доброе... Самый подлый народ... Все равно, как Николай Николаич Лихачев, и туда и сюда... Либеральничают-либеральничают, а сами ни с места... Да впрочем, на что вам все это говорить, вам это скучно слушать... Скажите-ка лучше, что Варвара Ильинишна блистала там или нет?

— Нет, — отвечала Любаша, — я ей говорила, чтобы она дикого платья не надевала; нехорошо было, да и кажется, она рассердилась, что с ней мало танцевали... Я боюсь, не грустит ли она, бедная. Вы бы съездили сегодня...

— На цуфусках? — спросил Богоявленский.

— Нет, надо похлопотать... Только вы уж не дразните ее...

— И мы ведь люди, и мы ведь люди, Любовь Максимовна. Не один ваш докторок человек, Любовь Макси — мовна. Достаньте лошадку, мы съездим... Отчего же не съездить...

Любаша выхлопотала Богоявленскому лошадь, и он застал Варвару Ильинишну в блузе, на диване; около нее читала по складам

дворовая девочка Саша, которую Варя давно уже учила, как могла. Предсказание Руднева сбылось: бок и грудь заболели. Сарданапал куда-то уехал; и они могли одни просидеть целый вечер.

Варя приняла Богоявленского с радостью и, не скрывая своих чувств, благодарила его.

— Не за что! — отвечал семинарист, краснея, — ну, как вчера?

Варя помолчала с минуту и, выславши вон Сашу, сказала: — Верно уж знаете, коли приехали! Правда ваша, что люди гадки... Так гадки, так уж гадки, один Бог знает, как...

— И без Бога мы с вами знаем, Варвара Ильинишна. О прошлом что вспоминать — вперед лучше урок...

— Дома-то как покойно, как хорошо... Особенно как этого осла нет — брата... От радости душа вся изныла, что одна... Лежишь тут одна... Тихо так все, вдруг птички запищат, начнут в карниз ноготками скрестись... и побегит-побегит что-то по сердцу... Эта комната угловая; слышно, как они под крышу лазают...

Богоявленский вздохнул и не отвечал.

— В монастырь пойти разве? — продолжа-

ла Варя, — в чистенькую келью; герань на окнах поставить...

— Без веры? — сказал Богоявленский. — Заморят заутренями, постами, бесплодным трудом... Лучше бы вы занялись чем-нибудь здесь... детей бы учили дворовых... Мало ли их у брата... Одних его детей сколько... Родные все ведь...

— Скучно! — сказала Варя.

— Труд — наслаждение, а не скука, — отвечал Богоявленский. — Когда бы я имел здесь возможность трудиться, я бы был доволен... Давайте вместе детей учить...

Мимоходом и сами вы будете развиваться... Мы им кой-что впустим в уши... Брат ваш не раскусит...

— Где ему! — сказала Варя, пристально глядя на него. — Хорошо, я подумаю.

— Что вы на меня смотрите?.. — спросил Богоявленский.

— Смотрю я на вас зачем? — рассеянно отвечала Варя, — смотрю я на вас затем, чтоб...

— Ну, договаривайте... Не надо ни перед чем останавливаться...

— Не надо? Милькеев то же говорит, толь-

ко иначе... Вчера я с ним мазурку танцевала...
Какой он славный!

— Вот видите, вы танцевали мазурку с Милькеевым, так за это одно все другие невзгоды можно простить.

— Неужели он так хорош?

— Милькеев-то! Милькеев — сила, сударыня вы моя; конечно, у него есть кой-какие феодальные закорючки, да все это я ему прощаю; тщеславен он, суетен, и это правда, для форсу многое делает, да по крайней мере кровь кипит... Милькеев! Я вам скажу, я — человек смелый, я — человек способный, а он еще смелее и способнее меня!..

— Так надо в него влюбиться! — с натянутой кокетливостью сказала Варя.

Богоявленский покачал головой.

— Опять вы за свое! Опять вы за свое! Оставили бы лучше эту игривость, бок у вас болит, по-французски не знаете... А я вот вас, несмотря на все это, люблю... — сказал он вдруг, краснея.

— Я давно это вижу и удивляюсь, — отвечала Варя... — Мы с вами бранимся, и кроме того, все лучше меня — первая Любаша.

— Что Любаша! Любаша — простака... Ее дело вот чай разливать вкусный, голубые ленточки надевать, канареек семечком кормить да с этой бабой-доктором таять в углу... Она вот истории жирондистов не могла дочесть, первой главы не дочла; Милькеев ей привез, а она попро — бовала да и говорит отцу: «Нет, папа, скучно!» А тот спрашивает: «Кто тебе дал?» — «Милькеев». — «Ну брось, может быть, еще какая-нибудь скверная книга!» Она, дура, и бросила! А вы — другое дело, Варвара Ильинишна! Вот вы ничего не знаете: в записке писали нонеча, вместо *нынче*... и вместо *часы* - *чесы*. А Белинского стали же читать; про Татьяну и про Онегина поняли, да еще, что мне понравилось, что вы с Белинским не согласны: нашли, что он Онегина слишком балует, а вы его бранили. И конечно, он ленивый пошлец — больше ничего.

Варя молча курила, закинув голову назад... Богоявленский продолжал: — Потом-с ваше пение мне нравится... Нечто вроде так называемой души вижу в нем; еще-с что? Еще считаю вас способной к решимости и труду... в минуту горя не забыли Сашу; дело — великое

утешение! Читать только надо, самой учиться...
ся...

Варя вдруг спустила ноги с дивана и села перед ним.

— Ведь вы мне это все зачем говорите... Жениться хотите?.. А? так, что ли? Ну, что, говорите. Жениться вы хотите на мне?

— Положим, что и так... А разве ни за что нельзя?

— Нельзя! — сказала Варя с слишком уже смелым и вызывающим движением головы и глаз.

— Нельзя — так нельзя! Верно потому, что я кутейник?

— Какой вздор... я необразованная, а все-таки не такая, как вы думаете!.. За кого вы меня принимаете? Нельзя по другой причине...

Она встала и прошлась по гостиной.

— Когда бы вы знали, — сказала она, — как бок у меня болит. Надо послать за доктором завтра. Или уж оставить так и умереть... А? как вы думаете? — продолжала она, подходя к нему, и положила ему руку на голову.

— Белые, белые волосы! — сказала она, — а у меня черные, как смоль. Парочка! Жаль, что

нельзя... Ведь нельзя; как вы думаете?..

Угловатые ужимки Вари, ее сознательно-томные позы, катанье глаз, детское надуванье губ и внезапные, негодующие повороты головы не понравились бы другому, но Богоявленскому было не до таких тонкостей: он находил ее умной, способной к труду, отважной, страдающей и нелюбимой людьми, — сколько общего с его судьбой! Сколько родного!

Погладив его по голове, Варя опять села против него и сказала: — Если вы хотите знать, почему нельзя, я вам скажу... Голос ее прервался.

— Скажу, — продолжала она, не сводя с него глаз. Богоявленский знал, что она хочет сказать, но молчал нарочно.

— Видите ли, — продолжала она, кокетливо рассматривая и трогая руками пуговицу его жилета, — видите; вы говорите, что Александр Николаич Лихачев — псарь... А если я вам скажу, что он был для меня не псарь, а царь... царь — и я была его рабой... Что вы теперь мне скажете?

— Скажу вам то, что вы мне недавно сказа-

ли: за кого это вы меня считаете — за дурака, что ли... Ха-ха-ха! Так от этого нельзя? Никак?

Богоявленский даже встал и продолжал смеяться.

— Чего вы хохочете? Что с вами?..

— Как над вами, Варвара Ильинишна, не хохотать!.. Вы, видно, думаете, что я, как многие, на словах одно, а дошло до развязки, так и свобода и права женщин к чорту! Нет, я не свинья, я не дворянчик гнилой какой-нибудь... А что же, если кроме вас с Лихачевым никто не ликовал, так уж все дело и дрянь вышло? Напрасно! Напрасно! Да посудите сами: это только свинье или дураку прилично так думать.

— Кто ж вас знает... — отвечала Варя в раздумье. — Никто так не думает... кроме вас: ведь это исключение...

— Нельзя сказать, — возразил Алексей Семенович. — Милькеев тоже говорил в Чемоданове, что все это — чисто вопросы эстетические, от которых пользы никому нет, иначе сказать — вздор; а я прибавлю, что это — остаток восточного рабства... выдумка мужчин для собственной гастрономии и эгоизма...

Ну-с, и теперь нельзя?

Варвара Ильинишна протянула ему действительно слабую от утомления руку; дала расцаловать себя, не только эту руку, но все лицо и шею; сама не отвечала на его ласки, но и не мешала ему.

— Хорошо, успеем еще, — сказала она наконец. — У меня уж в голову вся кровь ударила... в глазах зелено... теперь уезжайте, а на днях займемся нашей школой... Да не забудьте мне привести, что вы обещали, какую-то книгу вам Милькеев дал?..

— Это французская, которую madame Новосильская на чердак забросила, а Милькеев ее там разыскал. Чего не поймете, запишите, вместе в лексиконе отыщем. Ну, будьте здоровы да непременно за Рудневым пошлите насчет груди вашей; на это дело он годен!

Богоявленский уехал обновленный и такой бодрый, каким он уж давно не бывал... Сделать из Вари лихую гражданку и помощницу себе, увезти ее потом в Петербург, скопить для этого еще денег, еще дольше и упорнее переносить духоту и мерзость чемодановского дома; наконец ее приданое (*ей, ей, ко-*

нечно) на подъем... Фу! Куда развернулись ширь и гладь будущего! Мелочь вещественных страданий ему нипочем, не привыкать; а жена будет пылкая и умная, молоденькая и отважная, ученая и игривая.

— Выучу, выучу ее всему, что знаю... Даже вот что; говорят, в Троицком собирается Руднев читать из естественных наук краткие лекции для взрослых, Баумгартен — историю литературы, а Милькеев — политическую историю. Рудневу уж тут с его дурацкой мистикой раздолья не будет: как ни финти, а законы притяжения не нарушит и *горе* земную оболочку не вознесет. Тот француз сообщит ей факты, которые можно будет разъяснить ей как следует, а на Милькеева я надеюсь... А ведь надо согласиться, что Новосильская эта — женщина бесполезная; все-таки с своими барскими затеями...

Но эта последняя мысль испугала Алексея Семеновича, и он со вниманием остановился на ней.

— Нет, Богоявленский, семинарист и хам, — сказал он себе, один содрогаясь и краснея, — ты будешь поистине хам и гад, если из-

за одной личной удачи забудешь статистику вознаграждения, которая правит природой, — везде угол падения равен углу отражения; и неравенство положений делает колебания счастья и горя слишком неравными; без колебаний этих нельзя, но конечный идеал истории тот самый, который представляет средняя температура погреба: колебание в ней так ничтожно в сравнении с тем, что делается на дворе в январе и в июле, что для практики эту разницу можно считать нулем. И как бы ни было тебе хорошо, с людьми мириться не след! Тебе лучше, а другим в эту самую минуту, может быть, стало хуже от невыносимой игры страстей, которые порождает весь этот социальный хаос, возведенный в закон хитрецами! Стыдись, Богоявленский! едва повезло, уж ты и размок... Вот тебе живой пример этот Милькеев! Барчонок, его там балуют и ласкают, а он все свое ломит... Вперед, вперед!.. Так вот и сдается мне, что кто-нибудь теперь вдруг сильно застрадал!

С такими мыслями вошел он в чемодановский дом и на конце темной залы застал Любашу в слезах...

XIII

Когда после отъезда гостей из Троицкого в доме все утихло и последний раз зазвенела сенная дверь, которую затворил за собой истопник, почитатель Баумгартенова таланта, — Милькеев не мог заснуть; он погасил свечу, которая мешала утреннему свету, опустил шторы и долго ходил по комнате. Внезапный гнев Руднева, его отъезд, когда постель уже была готова, — все это навело его на догадку о любви Руднева к Любаше...

Едва только он убедился в этом, как им овладело раскаяние. Не Любашу щадил он в этом случае; он еще не *кончил*... В его глазах женщина не падала оттого, что любила до брака вполне; он сам бы женился с удовольствием на такой девушке, если бы он вообще хотел жениться; и много случаев русской жизни доказывали ему, что прошедшее не мешает русским девушкам выходить замуж и быть счастливыми не хуже безукоризненных; но увлечь девушку он считал позволительным только тогда, когда сам увлечен и когда девушка страстна и мечтательна, когда

она борьбу и наслаждение в силах предпочесть покою и миру. Словом — такт был здесь для него важнее правил. Любаша была не такова; да и сам он не чувствовал к ней ничего сильного; она представилась ему довольно новой и занимательной по простоте и по веселости, которые, к несчастью, у нас встречаются все реже и реже, и он занялся ею. Желание настоять на своем разжигало его... И при всем том у них не доходило даже до поцалуя. Раз только, в один из тех несравненных зимних вечеров, когда все маленькое общество их блаженствовало после работы, они, вальсируя, вышли из гостиной в залу; Любаша пожала ему руку (так что перчатка ее лопнула) и сказала, вздохнув так сладко: «Ах, Боже мой! я не знала, что здесь так хорошо...» Дальше этого у них никогда не заходило... Он, конечно, не был уверен, как бы дело пошло дальше, и потому досадно было оставить! Катерина Николаевна не позволяла ему ухаживать за Nelly, и, глубоко уважая серьезную девушку, он боялся в самом деле прикоснуться к святыне ее чувств; здесь хотел попробовать (ведь без романа скучно!) — и здесь нельзя...

Эту бы он не пожалел и для ее же пользы, для ее «развития» довел бы ее хотя до поцалуя в зимнем саду... Но Руднев, милый Руднев! Этот нежный сын крестьянки, его умный собеседник; эта душа, только с виду трепетная, внутри же чистая и твердая — его ли оскорбит он, у него ли отнимет он скромную отраду брака? Руднев не создан для бродячей жизни... Его назначение — ровный, честный труд, любовь спасенных им людей, наука и цветущая семья... Решившись оставить Любашу, Милькеев повеселел; ему казалось, что Руднев тоже не спит. Он пошел сам на конюшни; кучера уже проснулись, запрягли ему сани в одиночку, и он поехал в Деревягино.

Руднев не спал, но дома его не было.

Милькеев встретил дядю.

— Вы уже встали? — с удивлением спросил он старика.

— Привычка — вторая натура, — сказал дядя, — привычка — вторая натура... Привычка вставать в 7 часов.

— А что, доктор спит?

— Доктор уехал...

— Уехал!

— Напился только кофею и немедля в округ. Я и сам его просил отдохнуть, увещевал, просил-просил, увещевал — ничего! «Я, говорит, и то не в свои сани залез, говорит, в свет пустился уж очень...» Милькеев молчал. Он бы хотел погнаться за Рудневым, броситься к нему на шею, уверить его, что Любаша к нему равнодушна. Сколько проездит он в этом сомнении, в этом страдании!..

— Есть старинный стишок: «Наш доктор сердце потерял! ловите, девушки, ловите!» — заметил между тем дядя, лукаво и не без радости поглядывая на Милькеева.

Когда Милькеев приехал в Троицкое, все, в том числе и Любаша, спали; он сам заснул, давши себе слово отдаляться от милой девушки, как бы трудно и досадно ни было ему иногда; но когда проснулся далеко за полдень — Любаши уже не было; Катерина Николаевна лежала с головной болью в постеле, Nelly грустно сидела в зале у окна, Баумгартен задумчиво играл у себя в комнате на скрипке; дети бродили по комнатам.

— Скучно без гостей! — сказала Оля, лениво влезая к нему на колени.

— Скучно без гостей, — повторили Федя и Юша хором.

— Ему без Любаши скучно, — заметила Маша.

— Tout passe! — сказала Nelly, подавая ему руку.

— Tout change! — отвечал Милькеев, взял книгу из шкафа и сел читать.

Между тем Руднев мчался в кибитке на службу. Пересказать все отвлечение, которое он чувствовал то к себе, то к Милькееву, невозможно. Даже Любаша на минуту не падала в его глазах: то, что прежде казалось ему не только естественным, но и основным в ее вкусах, теперь унижало ее.

«Нет, она пуста и недобра! На что прельстилась! Ведь истинно хороших сторон Милькеева она не понимает; она любит его рост, его находчивость! Пустые качества, которыми и Воробьев сумеет блеснуть на уездном бале!.. Да! на уездном!» — думал он потом. «А этот разве только на уездном?» Больше же всего он презирал себя за свою слабость, за свои уступки, за то, что он согласился покинуть свое одиночество и увлекся куда

же!..

— Ворона! Ворона в павлиньих перьях! — твердил он... — Ощипали жалкую ворону! ощипали, и поделом...

Наконец он заснул и проснулся только у избы старшины, которого должен был освидетельствовать. Здесь ожидало его несколько тихих утешений. К счастью, старшина был в самом деле болен, и кривить душой из гуманности ему не было нужно; потом пришла старуха и бросилась ему в ноги, благодаря за сына, которому он купил лекарства на свои деньги.

— Батюшка, отец мой, — говорила она, — отец ты наш родной. Спасибо тебе, что ты нами не брезгаешь!

— Встань, Матрена, встань, — говорил сконфуженный Руднев, — встань, что я — образ, что ли, что ты передо мной лежишь... Это грех... Бога благодари... Без него, Матрена, и я бы не помог. Встань же, голубушка, прошу я тебя... Ведь это моя служба, я за это жалованье получаю.

— И не говори, отец мой, что жалованье!.. Что жалованье? А то дорого, что ты нами, ба-

бами да мужиками, не брезгаешь! Я уж, ты не прогневайся, яичек и холста тебе принесла. Возьми, ото всей души я тебя прошу...

— Не надо, старушка; нечего мне и брезговать-то... Моя мать была такая же крестьянка, как ты.

— Знаю, знаю, батюшка. Я не смела только сказать тебе... Я ведь ее знала. Я из одного двора с ней... Вот я тебе что скажу, — только ты не прогневайся: я ей, твоей маменьке-то, ручку даже раз вывихнула, ледешок ее перевернула с горы на маслянице. А она, родная, и ушиблась: «молчи, говорит, Мотря, ничего»; а какой ничего, — за костоправкой пришлось посылать!

Старуха долго еще рассказывала; Руднев угостил ее чаем, и на прощанье она уговорила его взять на память от сына хоть собачку, которую сын и принес тотчас же.

Руднев был растроган; взял собачку, поцаловал старуху, поцаловал сына, который испугался, когда он протянул руку, чтобы обнять его, и после до того обрадовался, что сказал: «Что ты это! что ты это?.. Не стоим мы того, чтобы ты нас цаловал-то, Василий

Владимірыч».

«Вот это жизнь моя! — думал Руднев, садясь в свою повозку с помощью своих новых друзей, — бедные, народ, книги! А я-то! на что решился... О, малодушие. О, низость! И все говорят: он ничего — он ничего, не глупый и не урод! О, гадость! Господи! Господи! Нет, ни Любаша не заслуживала осуждения, ни добрый Милькеев. Всякому своя дорога!» Решено, — он должен воротиться в свой тихий приют и бросить все свои занятия в Троицком. Иначе как еще победить сладкую привычку беседы с Любашей? Он не должен встречать ее. Но больница и средства делать пользу, но дети? Жалованье, которое уже вперед рассчитано на книги, на инструменты, лекарства для бедных, на помощь дяде!.. Отчего же он не может заниматься всем этим, понемногу отвыкая от нее... Слава Богу, теперь пост; все будут говеть в Троицком; веселья тоже кончатся, и жизнь пойдет опять тем ровным ходом, когда человек имеет время всмотреться во все подробности своего быта и своих трудов; книги уже не покроются опять пылью, не *будет* он искать всякий раз по четыре

часа сряду, куда он положил четыре месяца тому назад сравнительную таблицу роста, долговечности и смертности; возобновятся одинокие прогулки в окрестных рощах; стоит только не поддаваться просьбам Милькеева и Катерины Николаевны.

Двое суток ездил Руднев по округу; на третий день, остановившись на почтовой станции, вспомнил он, что Че-моданово недалеко отсюда — всего три версты. С крыльца можно было видеть даже лесок их и пятно еловой аллеи в саду... Горько ему было взглянуть туда. В первую минуту, увидев эту аллею, он хотел взять почтовых лошадей в ту сторону, но скоро опомнился и уехал к себе...

Дядя сказал ему, что Милькеев был два раза: один раз поутру, тотчас после бала, а другой раз приезжал вечером и оставил какую-то записку.

— У вас что-нибудь да вышло, Вася? — сказал дядя... — Уж не косточка ли между вами?..

— Не знаю, ничего, — отвечал доктор и пробежал записку.

«Вы сердитесь? За что? Вы не говорите со мной, как дитя. Стыдно. Пожалуйста, поис-

креннее. Вы знаете, что мне быть с вами в ссоре больно! Верите ли?» «Верю или не верю? Верю, верю! — сказал себе Руднев, — что больно! Но какво мне! Его боль скоро заживет. У него столько друзей: Катерина Николавна, Маша, Nelly, Федя, Оля, Лихачев; она, наконец, она его любит... Он и не заметит этого несчастья между всеми заботами. А я уже побуду один... Мне так будет легче!» Тотчас же написал он записку к Катерине Николаевне с просьбой уволить его от уроков и умолял ее не приглашать к себе после визита в больницу. На другой день, скрепя сердце, поехал он осмотреть своих больных и как преступник робко вышел на крыльцо... Он так и ждал крику, нападения... »Вот, думал он, выскочит опять Милькеев». — Но все было тихо... Перед грустной душой мелькал задний двор, стая галок на крыше большого сарая, бор, избы, вдали — гора и церковь... В лицо пахло весной... Он сел в сани и, как бывало полтора года тому назад, поехал мимо сада. Дети играли уже там: раздался издали какой-то крик. Федя бросил вверх фуражку, но никто из них не побежал даже в его сторону...

Подъезжал он к своему крыльцу и видит вдруг — кучер водит двух оседланных лошадей... Одна, кажется, с дамским седлом... Кто такая — Боже!

Нет, не может быть, да нет!.. Ее смех в приемной...

Вот тоже знакомый голос говорит: «Это он приехал».

«Да, это он!» — отвечает Любаша. Она, она сама, сияя, встречает его в дверях — розовая, озябшая, веселая, в черной амазонке и теплых перчатках. Она протягивает ему руку... За нею брат улыбается, за братом — дядя, тоже вне себя от радости кружится в углу туда и сюда... с табакеркой.

Они остались одни на минуту: — Папа опять болен, — говорила она, а сама так и хочет засмеяться. — Папа опять болен... Бок опять (и расхохоталась). Не умею я притворяться. Я приехала к вам потихоньку. Взяла брата. Папа здоров...

Руднев молча стоял перед нею.

— Что же вы молчите?.. А? Бабушка не позволила мне больше ездить в Троицкое: говорит, что вы и Миль-кеев совсем меня испор-

тили. Ну, я не вижу вас — и скучно. Только вот что. Папа вовсе не болен; он желает вас видеть и послал брата верхом. Такая распутица (никто не видит; дайте мне вашу руку)... нельзя ни в каком экипаже... брат поехал верхом к вам; я выпросилась с ним к Полине, а дорогой и свернула с ним к вам.

Руднев все молчал и слушал.

— Что же вы молчите?

— Что я могу говорить? — отвечал Руднев, опуская голову и поднимая руки. — Что я могу говорить? Любовь Максимовна!..

И, ни слова не сказав ей, вышел в переднюю и закричал, чтобы оседлали Бурбона.

Филипп оседлал Бурбона, и всадники наши, съехав шагом в соседнюю вершину, на всех рысях пустились по дороге к Полине... Руднев дожидался один в роще, пока Любаша с братом доехали туда, и ждал недолго. Сережа приехал назад мигом, и они поехали в Чемоданово.

— Когда же Любовь Максимовна воротится? — решился спросить ободренный счастьем доктор.

— За ней после обеда пришлем кучера, —

отвечал Сережа.

— А не будет поздно?

— Нет, Люба не труслива; доедет. Уж как, Василий Владимірыч, бабушка сердилась!

— Да я ничего не понимаю! — сказал Руднев.

— Да ведь и я не знаю, за что. Уж расходилась старуха! кричала, кричала — и язвительная она у нас какая! Алексей Семеныч зовет ее: вампир, а я говорю — какой *нам пир* - скорей: не пир — бомбардировка! страх!

XIV

Дня два после троицкого вечера, часов около двенадцати утра, приехал князь Самбикин и, встретив в гостиной Любашу за книгой, спросил у нее, кто дал ей эту книгу.

— Милькеев, — сказала она.

— Вам он, кажется, вскружил голову... Я думаю, мы скоро будем опять танцевать, только здесь, по случаю вашей свадьбы, — начал забытый кирасир.

— Нет, — отвечала Любаша, даже не краснея, — Милькеев никогда не будет моим мужем.

— С вашей стороны, значит, несчастная любовь...

— Александр (Васильич), Александр (Васильич), вы ли это! — воскликнула Любаша, — за что вы мне говорите такие колкости? Милькеев, если бы и посватался за меня, — так я за него не пойду...

— Отчего?

— Как вам сказать... Я вам скажу откровенно: ведь с мужем нельзя только сидеть и разговаривать,.. С ним я бы разговаривала целый день... но только, чтобы он был мне не муж...

Князь молчал и не верил и верил.

— Любовь Максимовна, — продолжал он, немного погодя, — вы знаете, что я давно думаю об вас. Я давно хотел сказать вам решительно... Конечно, я не такой умный и не такой красноречивый человек, как ваш Милькеев, но я зато давно люблю вас...

— Александр (Васильич), — отвечала Любаша, — я помню, как мы с вами вместе играли, как вы меня пасли на лугу и заставляли есть сено из копны в саду... Все это я помню... Помню, как мы с вами качучу вместе танцовали Жаль всего этого, да ведь не воротись...

Любаша сначала говорила спокойно, потом заплакала.

— Оставьте это лучше, Александр {Васильич)... подите теперь к бабушке... Я ничего вам больше не скажу, ни слова... Подите к бабушке... Почему я плачу — не спрашивайте.

С этими словами Любаша ушла.

Князь был человек мирный и смирный; хороший служака, точный исполнитель, любим был начальством, ни разу не ссорился с товарищами; войны не любил и уехал с Кавказа, потому что боевая жизнь была слишком тяжела для него и понаслышке он называл ее варварством, прибавляя, что рано или поздно люди поймут, что это вздор, и будут решать все дипломатическим путем (Милькеев отвечал ему раз на это, что царство варваров он предпочитает республике стрикулистов); хотел даже навсегда бросить кирасирский полк и поступил, как мы знаем, в комиссариат; но мать, которая с ума сходила, когда видела его в латах и белом мундире, хотела, чтобы он вернулся в этот полк, и он, как смирный сын, повиновался; и в самом деле, в белом мундире и золотой каске он с своими большими,

чорными и тихими глазами, с кирпичным румянцем на впалых и смуглых щеках, был вполне красавец.

Сколько раз сама Любаша любовалась им и говорила ему: — Ах! Александр (Васильич), как вы, в самом деле, красивы! Смотрю я на вас и ни одного недостатка в вас не вижу!..

А он, бывало, покраснеет, улыбнется скромно!.. И вдруг!.. Князь вовсе не был горд и не считал себя аристократом против Милькева; но теперь самолюбие и ревность взбесили его. Как! этот пройдоха, балагур и пустомеля; этот троицкий учитель! туда же носится верхом и через барьеры скачет — штафирка невыносимый!.. И она еще говорит, что он не будет ее мужем?.. Это вздор. Она лжет! Итак, прекрасная гостиная в помпейском вкусе; его кабинет, отделанный дубом и липой; его банановое дерево над письменным столом, на который не смеет сесть пылинка!.. Его дом в виде chalet. Все это должно задаром пропасть?..

В таких мыслях застала его бабушка; старуха вышла в этот день в гостиную и была в духе. Не заметив сначала, что князь грустен,

тем более, что лицо его чаще всего выражало скуку или ровно ничего, она начала ему рассказывать, что Машка окотилась и опять заела одного котенка... »Такая глупая кошка. Не могу расстаться с ней... а стоило бы ее утопить!.. Не могу: у нее такие милые глаза, когда она мяучит... и что за шерсть — тигр, настоящий тигр!.. Ну, что, как веселились вчера?

— Ничего, — отвечал князь.

— Что наша гордячка?

— Ничего — здорова...

— Уж и здорова стала! Удивляюсь! Что за баба — то с мужиками возится, то лежит, то балы дает... Удивительно! Ну-с... а в чем она сама была?

— В белом шелковом платье и с пунцовой камелией на голове...

— Ну, это довольно обыкновенно. Впрочем, к ее значительным чертам это должно идти... а Полина наша в чем?

— Полина — в малиновом тарлатановом с белым поясом, а в голову Катерина Николавна ей дала из зимнего сада две белые amaryllis... Прекрасно!..

— Хороша, должно быть, была... Сколько же всех их танцевало?.. Две девочки — Маша и Оля, англичанка, Полина, Любаша... Варя — шесть пар всего.

— Нет, семь пар. Еще еврейка Дебора была... дочь винокура.

— Вот как! А в чем же это она была?

— В пестром бареже... Очень хорошенький бареж...

— Ишь ты, матушки! Ну, и та красива?

— Даже очень недурна.

Старуха вздохнула, покачала головой и усмехнулась.

— Потеха! — сказала она, — нашей сестре-старухе только и остается, что хохотать в углу... Жаль, что я поленилась, не поехала... Да весело ли было, по крайней мере?

— Так себе, — отвечал князь.

— Вы что-то не по себе... и бледны, дружок, сегодня!.. Князь не отвечал и, опустив глаза, поиграл пальцем по столу.

— Что с вами?..

— Я уж больше не буду ездить к вам, Авдотья Ан-древна.

— Как, что вы, что вы!..

— Признаюсь вам, я сделал сегодня предложение Любовь Максимовне... и она наотрез отказала мне.

Старуха помолчала, внимательно посмотрела на князя; лицо ее покрылось багровыми пятнами; она сбросила с колен кошку и встала.

— Что-с? — сказала она, и светлые глаза ее так блестели, по лицу разлилось столько злобы, что князь испугался.

— Да, — сказал он робко. — Любовь Максимовна отказала мне...

Авдотья Андреевна помолчала еще, встала, вышла вон и кликнула Любашу.

Князь, между тем, сконфуженный и огорченный, предугадывая семейную сцену и жалея Любашу, удалился поскорее, сел в сани и уехал. Любаша вошла.

— Что это значит, — сказала старуха, бледнея и краснея, — что у вас было с князем? Отчего ты отказала ему? Отчего? Что такое это значит... ты с ним по беседкам сиживала! Нехорош он? Красавец!.. князь, богат, добр, смирен... Чего тебе еще нужно?.. А! чего тебе еще нужно? Разве я век тебя буду кормить, —

тебя и твоего безумного отца?..

— Я, бабушка, не хотела вас огорчить. Я думала, вам все равно, пойду я за князя или нет...

— Нет, это штуки! штуки... Ты повадилась с этой распутной бабой... с графиней водиться... Что она тебе за пример?.. У тебя там что-то в Троицком шашни завелись. У тебя есть страстишка там...

— У меня, бабушка, нет страстишки ни к кому.

— Ишь! Неколка упрямая!.. Отец, две капли отец... Ты лучше мне скажи — скажи прямо, кто твой предмет. Уж не Милькеев ли ваш кумир... О! матушка, выходи, выходи за него. Знай только, что не видать тебе от меня ни крошки на приданое, если ты выйдешь за кого-нибудь другого, кроме князя.

Любаша молчала, и старуха утихла.

— Позвольте же спросить, — продолжала она, приняв опять свой хитрый и спокойный вид, — кто сей предмет... Милькеев или Руднев?.. Верно, Милькеев!..

— Бабушка, — отвечала Любаша, — мне ни Милькеев, ни Руднев, ни князь и никто не ну-

жен. Князь мне нравился прежде, только теперь я уж не об нем думаю.

Помолчала еще Авдотья Андреевна с минутой, села и взяла даже опять на руки Машку, которая давно мяукала из-под стола, глядя на нее.

— Как знаете, Любовь Максимовна, — заключила она. — У вас есть отец; а я вам бабушка... больше ничего. Но знайте, что я вам не помощница, если вы выйдете за Милькеева или за Руднева; да и в дом вас с женихом вашим не пущу... Да, постойте, забыла.. Ваши поездки в Троицкое кончены... Сейчас напишу Полине, чтобы она вас туда не возила.

Любаша, оставшись одна, думала недолго; она пошла к отцу и рассказала ему все — Сегодня князь сватался? — спросил отец.

— Сегодня. Что мне делать?

— Что ж! прежде никак хотела за него, а теперь уж расхотела.

— Что ж делать! Кабы другой мне не нравился, я бы за него с удовольствием пошла.

— Кто ж тебе нравится?

— Сама не знаю; и князя жалко, и все это так противно!..

— Да ты мне скажи толком, Руднев тебе по душе, что ли, или нет?

— По душе.

— Так пошли Сергея за ним... я с ним поговорю — вот и все... Эка невидаль.

Максим Петрович лежал на диване, когда Сережа ввел к нему Руднева.

— А! медик! — сказал будто сухо старик, протягивая ему руку. — Устали?..

- Нет, ничего, Максим Петрович. — А ваше здоровье как?

— Мое здоровье?.. Да что вам сказать! — Сережа! тебя тут спрашивали?.. Пошел к чорту, болван. Убирайся к шуту, — спокойно и с благодушным выражением лица сказал старик. В глазах его видна была даже ласка.

Сережа ушел не торопясь и вовсе не обиженный.

— Как вы находите, умен Сережка этот или глуп? — спросил отец.

— Он напустил на себя что-то, — отвечал Руднев.

— Вы находите... Да вы совсем не о том думаете, я вижу... Глаза у вас бродят... туда-сюда...

— Нет, нет... Я слушаю... Я говорю, ваш сын что-то напустил на себя... Небрежность, что ли, неуместную...

или просто скучает... А что же, Максим Петрович, ваш бок?

— Да что бок... Все хлопочу о том, как бы без мушки обойтись...

— А сильно болит?..

— Да, болит-таки! А вы вот послушайте... Вот... Ну, что там есть?..

— Позвольте, позвольте — вы помолчите... Дышите только...

— Ну, ну... дышу...

Старик покачал головой и радовался, думая, что Руднев будет уверять, что слышит шум или свист, когда у него вовсе и не болит бок.

Однако Руднев не нашел, разумеется, ничего и сказал: «Должно быть, это — наружная простуда... и просто вы потритесь чем-нибудь... или горчишник», — прибавил он, думая, согласится ли старик терпеть его задаром или нет...

— Хорошо, я уже поставлю горчишник.

— Впрочем, зачем же?

— Нет, нет, поставлю ужо... Сергей, а Сергей, вели приготовить горчишник. Да небось озябли, выпьем пуншу?.. Пуншу, Сергей... Али уж Любашу подождать... Она лучше делает чай. Подождать Любашу, Сергей. . Слышишь, слышишь?

— Ну, слышу... слышу... Что пристали...

— Болван!

Выгнав сына, старик опять обратился к своему любимцу и, проницательно вглядываясь в его лицо, спросил: — Дядюшка-то ваш здоров?

— Здоров... благодарю.

— Не в благодарности дело. Я серьезно спрашиваю: каково вообще его здоровье... Постоянно ли он здоров или болеет когда? Я давным-давно его не видал... Э-э! еще когда! Когда жена-покойница была жива... Он всегда хилый был, а ведь препочтенный человек... и пребедовый делец. Много постарел?

— Не скажу... Кажется, у дяди такая наружность, что и в молодости не молод и в старости не стар.

— Не ослабел?

— Незаметно.

Максим Петрович еще помолчал, прошелся по комнате; повздыхал, побарабанил в окно, еще повздыхал, сел и вдруг так глубоко задумался, что Рудневу стало тяжело на него смотреть, и он вышел вон... Перешагнув за бездну порога, Руднев от людей узнал, что Авдотья Андреевна ушла с Анной Михайловной ко всенощной; что Сережа тоже куда-то пропал, а Богоявленский еще утром уехал к Шемахаевым.

Но мысль его не могла долго останавливаться ни на Богоявленском, ни на Максиме Петровиче, ни на Сереже. Глаза его не могли оторваться от окна и от грязного снега той дороги, которая, загибаясь за церковь, вела к Полине. Что чернеется, что белеется — все высматривал, все ждал с тревогой, но эта тревога казалась ему блаженством после *той* тревоги, которую он только что перенес.

Наконец всадница выехала шагом из-за церкви, въехала и на двор... И что за счастье, что за невыразимая радость: старухи у всенощной, Сережи нет, Богоявленского тоже нет... Максим Петрович только... Недолго, однако, и это его тревожило. Любаша тотчас же

сбегала к отцу, воротилась и сказала, указывая на часы: — На два часа мы одни, на два часа... Пойдемте на нашу ель смотреть...

— Вы будете амазонку еще снимать? — сказал с горестью Руднев.

— Очень нужно. А пуговицы на что? Помогите их кругом пристегнуть...

Устроили все: пуговицы пристегнули; положили развернутую книжку на окне — на всякий случай... и сели. Ель была на месте; только уже не в снегу или инее, как зимой, а кой-где бурая подсохшая, кой-где зеленее зимнего.

— Я все это так только баловалась; а люблю-то я вас, — сказала Любаша.

Руднев взял ее руки и, припавши к ним, умолял ее не играть его чувствами, не обмануть его, не измениться! Они просидели вдвоем больше часу, разговаривая и молча, и мучаясь страхом, чтобы им не помешали.

Наконец пришел Максим Петрович и позвал Руднева к себе. Старик был смущен.

— Вы — хороший доктор, — сказал он, — я вас дави-ча хотел обмануть; а вы сейчас узнали, что у меня внутри ничего нет. У вас будут

деньги! Вы говорили с Любашей?

— Говорил, Максим Петрович.

— О! Боже, Боже! — прошептал старик и прошелся, опустив глаза в землю, несколько раз по комнате.

Потом постоял перед Рудневым, посмотрел на него и сказал: — Матушка Авдотья Андревна — женщина крутая... Она умная, способная старуха, да княгиню очень любит... Смолоду дружны. Княгиня и так, и сяк... И женила бы сына, и нет! А матушка уж из одного того, чтоб ее не огорчить, не пойдет против нее... И то сказать — княгиня раз, как у нас неурожай был, сто четвертей хлеба прислала; вот хвалят все Любу, что она одевается хорошо... а ведь это княгиня ее выучила: сама сколько ей шила и кроила. Ну, и матушка ей была не без пользы! Ротозей-то, соня, соперник ваш, еще в корпусе был, а у княгини люди забушевали, не слушаются; той где справиться! Истерика! Вот матушка приехала к ней; да кого сама за загривок, а кого на конюшне обработала без станового! Баба лихая! Теперь еще случаи были... Та ни леса не сумеет продать, ни сделки никакой сама сделать, а матушка со всяким

гуртовщиком или с торгашом простым будет чай пить... Попьет-попьет и устроит все — и для себя, и для княгини... Видите сами, пойдет ли матушка против нее?.. А коли сын решил — значит, мать позволила и заодно с ним... У меня, милый мой, гроша нет... Приданое Любе — бабушка даст... Надо молчать и ждать, и практику заводить... Понемнож-ку-понемножку попадем мы на дорожку! Да-с, сударь мой! Терпи казак! а уж мы с Любой — подождем, потерпим, я за это ручаюсь; а пока отправляйтесь-ка домой, пока не заметили ничего! Вы куда теперь — в Троицкое или в Деревягино?

— Нет, мне еще в округе дело есть, я не раньше недели вернусь домой.

— Ну, с Богом! Да, постойте! Милькеев-то приударял за Любой или нет? Она говорит — да...

— Как вам сказать, право, не знаю!.. Он — человек, впрочем, очень благородный.

— Чорт ли мне в его благородстве! — сказал старик, — не мудреное благородство, коли она любит не его, а вас. Я разве боюсь его, что ли?! Я рад только, что он на бобах будет.

— За что вы его не любите? Я давно это замечаю, — спросил с удивлением Руднев.

— Не люблю, вот и баста! А ну, отправляйтесь-ка подобру-поздорову...

Прощаясь, старик обнял Руднева и подставил ему для поцалуя свою розовую щеку и белую бороду.

Авдотья Андреевна вернулась из церкви и узнала от людей, что Руднев был тут и долго сидел в темноте с Любашей. Она тотчас же пришла к сыну и сказала ему: — Коли у тебя есть чем дочь снарядить и не жаль тебе, что она за прохвостом замужем будет., отдай хоть сейчас... Я ваши шашни вижу. Отдай ее не только за Руднева, пожалуй, хоть за Филатку-кучера... Только ни ты, ни она, ни женишок от меня тряпки старой не увидят, и Рудневу дверь моя заперта отныне! Имеющие уши — да слышат!

— Чего вы, чего вы, матушка! — отвечал Максим Петрович, — спросите хоть у Любы самой; Руднев ей ни слова не говорил любовного; а вот Милькеев — другое дело: этот точно волочится... Да спросите у Анны Михайловны, она на вечере разве не была?

Анна Михайловна сказала, что это правда, что Милькеев весь вечер был с Любашей, а тот только одну кадриль танцевал.

— Не разберешь их, Ашенька! — сказала Авдотья Андревна дочери, оставшись с нею одна. — Не беспокоить же мне княгинюшку из-за этих прощальг... И князь такой милый, такой приятный человек... Что случилось с нашей девчонкой — непостижимо! Во всяком случае, вели Иринашке, чтобы когда Руднев или Милькеев приедут, для обоих нас нет дома...

— Особенно Милькеев, особенно Милькеев! это — такая звезда! — воскликнула Анна Михайловна, — я сама видела, как он Лихачеву на меня головой кивал. Так наглостью и пышет, так и пышет... А что он такое? Ничего, просто ничего!

— Бог с ними, Бог с ними! Лишь бы не ездили, да чтобы семинарист наш какие-нибудь записочки не стал бы передавать... Где он?

— Повадился к Варваре Ильинишне, к ней все льнет! — донесла Анна Михайловна.

— Час от часу не легче! — засмеявшись

сказала старуха, — одну внуку за лекаря-мещанина отдать, а другую — за кутейника чахлого! Ну, да эта как знает; я люблю княгинюшку и князя моего милого; и кабы не они, я бы померла со смеху, глядя на людей. Без дураков да без глупостей — на свете тоска бы была смертная. Не правда ли, Аша?

— Оуі, татап! хи, хи, хи! Правда, правда! Вы всегда правду говорите! Потеха, потеха! А я сейчас же побегу сказать Иринашке, чтобы не принимали ни Милькеева, ни Руднева. Сейчас же, сейчас!

XV

Пока Руднев странствовал по округу, сперва убитый горем, а потом вне себя от счастья, а Милькеев опять стал уединяться, читать и раздумывать, — Варвара Ильиниш-на принялась за дело. Богоявленский узнал, что в Троицком лекции расстроились и потому начал ездить через день к Варе и вместе с нею учить дворовых и крестьянских детей. Конечно, сразу дело не могло идти превосходно; дети слушали и смотрели с удивлением, боялись, смеялись некстати, затоптали, засмор-

кали, заплевали весь пол; девочки закрывались руками, мальчики скорее ободрялись и затевали драки. Варя смущалась и говорила, что из этого не будет толку; топала, схватила даже одну девочку за ухо, когда та двадцать раз не могла сложить слово «тя-тя» и говорила «дя-дя». Но Алексей Семенович обращал все это в шутку, уговаривая ее быть спокойнее и не воображать, что все пойдет так плохо, как сначала.

— Подождите месяца два, и вы сами их не узнаете! прежде всего, чтобы они нас не боялись.

За порыв выдрать девочку за ухо он строго журил свою вспылчивую невесту.

— Старый Адам, Варвара Ильинишна, старый Адам проглядывает; признайтесь, пристукивали иногда?

— Все случилось! — отвечала Варя, краснея. Богоявленский, может быть, не совсем выгодно для дисциплины, заставил ее покаяться при всех детях, что она поступила дурно, и скоро простил ей этот поступок, убеждаясь все больше и больше, что она хочет трудиться с честностью и рвением. Прежняя уче-

ница Вари — Саша, помогала им и указывала самым отсталым детям большие и пестрые фигурные буквы на огромном листе, которые раскрасил в Чемоданове сам Богоявленский, пока господа занимались дальше с самыми способными.

— Не все помещичье надо бросать, — сказала однажды Варя, — вот у нас, у всех, знаете, привычка на маслянице или на церковные праздники раздавать пряники и ленты девочкам; нехорошо только, что бросают как собакам, а они рвут друг у друга и дерутся за них. А я думаю, не будет ли практичнее по праздникам раздавать награды тем, кто хорошо учился.

Богоявленский покачал головой в раздумье.

— Видите что! Выходит, что они это для нас делают одолжение, а мы им за это платим; и потом надо от них требовать, чтоб они в самых занятиях приманку видели, а не в побочном. Скверная вещь эти награды — для награды учиться.

— Сначала только, — отвечала Варя. — Чтобы приманить, заохотить, пока *скучно*

еще им; или вот что, не будет ли практичнее так: ленты — это точно награды, заметно очень; а пряники, постила и яблоки, так вроде десерта всякий раз, чтобы было веселее. Вот в Троицком мы еще до театра слушали раз целый вечер, все вместе, как Милькеев читал из истории Рима, а мы пили чай и даже мороженое ели — как-то бодрее слушали.

— Ну, это другое дело, это другое дело! — воскликнул Богоявленский, не сводя с нее радостного взгляда и думая: «Не ошибся я в ней!» — Правда, правда, — повторял он и, обнимая ее, долго цаловал и упивался неожиданным счастьем.

Катерина Николаевна звала еще раз Варю и, получивши ответ, в котором Варя отказывалась болезнью, подумала, что болезнь эта душевная и сама, объезжая всех благодарить за вечер, заехала к ней и приглашала опять; несколько раз хотелось ей навести Варю на откровенный разговор и приучить ее к себе, но страшно было так поступить с человеком, которого она считала раздражительным.

Варя отвечала ей, что она очень занята теперь, учит детей и что она вообще для света

не создана.

— Отчего же? — сказала Катерина Николаевна. — И что за свет — Троицкое? Уж так просто! И я сама терпеть не могу всех этих стеснений и натяжек. И почему вы думаете, что вы не созданы для света?.. Вы скажите, что вы не привыкли к нему — это другое дело.

— О, нет-с! Я просто не создана! Во-первых, я по-французски не умею хорошо говорить, — с гордостью сказала Варя.

— Так это разве значит созданы, разве с французским языком родятся?.. Вы стройны, танцуете очень легко, легче Nelly и Любаши, — так говорили мне Милькеев и Лихачов-меньшой, и даже мой Федя.. Федя находит, что даже слишком легко: «не слышно, говорит, ворочать нечего». Видите! лицо у вас такое, что везде заметно будет...

— Своим безобразием! — сказала Варя.

— Нет, оригинальностью, — ласково продолжала Но-восильская... — Полноте, вы сами знаете, что это так. Зачем вы от меня отдальетесь? Наше Троицкое вроде болота: стоит только попасть в него, уж не выйдешь. Вот

Руднев слишком год не ехал к нам, а теперь как с нами подружился. И Любаша, и Полина Протопопова стали часто ездить. Я вас уверяю, что Бог дал вам все, что нужно: рост, и талию, и развязность, и ум, и глаза выразительные, а это что вы говорите о французском языке, или вот еще уменье одеваться к лицу, эти вещи не Богом даны от рождения, а приобретаются.

— Я не знаю, что Богом дается... Если Он и дает что-нибудь, так очень несправедливо: одним — много, другим — ничего. Вот Полине дано все — и красота, и богатство, и ловкость, и положение в обществе...

— Какое же общественное положение? Что ее муж был губернским предводителем и что она со всеми ревизорами и флигель-адъютантами танцевала в первой паре мазурку? Это ведь не всякому нужно... и по-моему, она не умна, и скучна, и суха... Да вот еще насчет французского языка я хочу вам сказать... Остроумие, находчивость, некоторые приемы, наружность и еще стройный стан — это везде и всегда будет годно; а язык этот скоро, поверьте, перестанут считать у нас необходи-

мым для светской жизни... Что за вздор... Знает — хорошо, не знает, да все другое есть — не беда... Мало ли есть порядочных англичанок и итальянок, которые ни слова по-французски не знают... И русский язык теперь уж современ Пушкина, Лермонтова и Тургенева приноровили так, что на нем и всякие эти легкомысленности очень мило могут выйти. Бросьте вы это недоверие и приезжайте к нам. После занятия с детьми еще лучше повеселиться... Наша молодежь тоже вся занята по утрам, и они могут вам много пользы сделать своими советами.

— Мерсі, — отвечала Варя, — мне не нужно — со мной Алексей Семеныч занимается... Впрочем, я подумаю и, если будет время, постараюсь... Я вам очень благодарна.

Новосильская уехала, упрашивая ее приехать не с церемонным визитом, а ночевать дня хоть на три, сначала, потому что деревни их за двадцать пять верст друг от друга; а Варя в тот же день виделась с Алексеем Семенычем и рассказала ему, как она отклонялась от приглашений графини.

— Щемило сердце, ох как? — спросил он.

— О! нет, — отвечала Варя.

— Будто бы?

— Перестаньте, какой вы демон, — отвечала Варя. — У меня вот когда щемит, когда вы начнете через очки так пристально на меня смотреть.

— Так хочется?

— Да нет же, нет... Противный!

— Если хочется, — продолжал, спокойно наблюдая ее душевные конвульсии, Алексей Семеныч, — если хочется, — говорил он медленно, — то можно и съездить. Прятаться от людей, значит сознавать себя бессильным. Отречение — вздор, сидя в своей мурье, но отречение для высокой цели, на людях, при увлекающей обстановке — вот это дело. Умей, живя с людьми, презирать их пустые радости, бороться с ними — вот это дело: в Фиваиду удаляются только те люди, которые не могут вытерпеть, чтобы не скоромиться постом. Поезжайте... Поезжайте. — Развлечение и испытание.

— А если?.. А если?.. — спросила Варя.

— Ну, что ж? Что значит это «если»?

— Если? — повторила она, краснея. Богояв-

ленский прошелся по комнате.

— Если? — повторил и он, — ну, что ж, тем лучше... Увидим, что делать дальше.

— А наше слово, — слово, которое мы друг другу дали?

— Что слово? Что такое слово, Варвара Ильинишна? Слово — пустой звук... Из-за слова надевать на себя цепи! Помилуйте... Кому же этим пользу сделаешь, посудите, Слово! Дело очень ясно: если *его* вы встретите, обсудите дело сами; теперь вы сблизились со мной, короче узнали меня и сравните, взвесьте, кто вам больше понутру...

— Как мило: *понутру*? разве можно так женщине говорить?

— Вот видите, хвостик Новосильской и остался... Ну, этак пусть будет — по душе, если нутро вам не понутру. Так, я говорю, разберитесь, взвесьте, оцените все, как знаете — к весне увидим, едем ли мы с вами в Петербург или я, бедняга, один уеду... А все-таки, сами согласитесь, что лучше нам разойтись, чем ненавидеть друг друга...

— Стоило поднимать все это!.. Что за любовь ваша, когда вам все равно: хочешь — лю-

бишь, хочешь — нет... Что это такое?.., что это такое? Это разве любовь? это разве любовь?.. — настаивала она, кокетливо приступая к нему.

— Любовь-с, любовь-с... Значит, любовь-с, когда я вот вижу, как вы от радости, что можете ехать в Троицкое, сами не знаете, что говорите! А все-таки не сержусь.

XVI

«Простенькое платье к лицу, прекрасное пение, скромные игры с детьми, неглупые разговоры с Катериной Николаевной и Nelly — молодец Варя! На все руки! И как Катерина Николавна ко мне внимательна! Значит, я не так уж плоха! И за что я так себя презирала? Теперь, если бы и он меня увидел, я бы верно не была бы ему противна!» Вот как в трое суток, проведенных в Троицком, зазналась Варя!.. Сознание того, что она дома все это время трудилась с Алексеем Семенычем, а теперь имеет и здесь успех, вдруг подняло ее до той бодрости, при которой человеку кажется, что он все себе может позволить и что ему все сойдет с рук.

Как нарочно, Лихачев приехал на третий день. И она не совсем ошиблась в его чувствах. Неприятно пораженный сначала ее присутствием, молодой человек скоро остался доволен ее скромностью и несколько томным и серьезным видом, который приобрела она после того, как у нее болели грудь и душа. Глядя мимоходом, как она, гладко причесанная, в чистом воротничке и темном толковом платье, смотрела с Машей большую книгу с старинными гравюрами и с участием спрашивала ее о той или другой картине и делала сама разные замечания, Лихачев подумал: «Как приятно, однако, видеть, что женщина, которой страсть нас обременяет, может еще жить помимо нас и не утратила способности к тем умным наслаждениям, которым всякого научит этот удивительный дом!.. Когда бы она меня забыла!» Интересуясь знать, как об ней думают здесь, он спросил, нарочно, у Nelly: — Кажется, Варвара Ильинишна ночевала у вас две ночи?

— Да, две ночи, — отвечала Nelly, — у меня в комнате... Маша уходила спать к матери... а она была со мною; она мне нравится. Бедная!

она, говорят, так одиноко живет!

— Этого нельзя сказать, — отвечал Лихачев, — разве недавно. А то ведь она безвыездно по неделям гостила то у Протопоповых, то у Авдотьи Андревны. Очень бойкая девушка, но с дурными манерами.

— Эти три дня она гораздо лучше была, чем на вечере. — Кажется, тогда она была чем-то огорчена, — сказала Nelly.

Катерина Николаевна выразилась про нее гораздо откровеннее и вместе с тем хитрее.

— Она ведь не глупенькая, Александр Николаич, только ужасно иногда кривляется, и я с ней все время на иголках... Того и гляди, чем-нибудь обидится; и еще вы заметили, как она плечами шевелит, когда смеется... Смеется совсем как горничная. Но она гораздо умнее Любаши, гораздо умнее! Вот бы вам заняться ею; воспитаем ее вместе, а вы женитесь; приятеля вашего сестра, и за ней пятнадцать тысяч серебром приданого. Годится все-таки... Мне кажется, что из самолюбивой и умной девушки можно все сделать... Она теперь детьми крестьянскими занимается. Как вы думаете?

— Мне кажется, что симпатичною женщину *сделать* так же невозможно, как самого умного и образованного человека *сделать* таким писателем, каков был Пушкин. Это — врожденное. Посмотрите, вот Nelly ничего почти не делает и, кажется, от нее особенной пользы не видать; да уж одна польза оттого, что она такая, а не иная... Не знаю, впрочем, как вы думаете... А я думаю, что я прав...

Катерина Николаевна на это не отвечала ничего, но глаза ее заблестели от двойной радости: слышать и правду, и похвалу своей Nelly.

Уезжая, Лихачев пожал руку Варваре Ильинишне и шепнул ей: — Прощайте; когда бы вы всегда так мало обращали на меня внимания, как бы я вас уважал... Вы здесь были очень милы!

Крайне довольный, что *все это*, кажется, кончилось, и Варя будет себе жить, как и все и еще гораздо лучше прежнего: учить детей с Божоявленским, будет ездить в Троицкое, в Чемоданово и к Полине — он встал на другой день, по обыкновению, рано и, севши со стаканом кофе у окна в большое кресло, взял

Пушкина, которого знал почти наизусть и все-таки не мог никогда им вдоволь начитаться. Вспоминая о Варя и Nelly, напал он нечаянно на одно стихотворение, крайне свободное и ясное до того, что только Пушкин мог себе позволить такую вещь: Нет, я не дорожу мятежным наслаждением...

Прочитавши Пушкина, взял он другого своего любимца, Шекспира, и отыскал то место, где французский король, уводя с собою обиженную отцом Корделию, говорит, что «отвергнутая родными, она ему еще милее...» Мысль за мыслью, Nelly и Корделия, Варя и Nelly, Дюбаша, Nelly и Корделия, Любаша, Варя и Nelly, Nelly, Вакханка, Клеопатра, Варя и капризная Катерина в «Исправленной строптивой», гражданский труд и бодрость, освобождение крестьян, либеральная должность, новый домик и свой очаг — вдали путешествие изредка как будто одиноким холостяком, но таким одиноким холостяком, который знает, что ждет его дома в глубине русских полей и за родными рощами, не на песке построенное счастье, — а жена добрая, си-неокая, румяная, с утра разодетая и всегда

ровная, как водное зеркало того озера в зелени, на берегу которого они все веселились два года тому назад.

Мысль за мыслью, картина за картиною, дошел он до того, что задал себе вопрос: как на него смотрит Nelly, и любит ли она Милькеева или нет, и что этот чудак Милькеев, в самом деле, намерен заняться Любашей или это он хитрит, чтобы там чего-нибудь достичь? Ведь он откровенен иногда до наглости и бесстыдства; но чего он ищет, чего он хочет — иногда так же трудно узнать, как у самого таинственного скрытника; скрытник молчит не сложно, а этот чудак отыскивает тысячи новых ресурсов в своем изворотливом уме и так часто является в новой коже, что в него надо бы было бить вперед, как в птицу на лету, если бы только можно было уловить, куда он полетит завтра!

«Да, в этом и весь вопрос! Куда он полетит завтра?» С этими мыслями Лихачев, надев дубленку и шапку набекрень, как всегда, сходил покормить собак на псарню, посидел на конюшне с кучером, полюбовался на мартовские поля, с которых крупными пятнами уже

начал сходить весенний снег, и хотел велеть давать себе обедать, не дожидаясь брата, который уехал надолго в город, как вдруг в воротах показался на беговых санках Милькеев.

Лихачев был ему всегда рад; он кликнул кучера, чтобы принять у него лошадь и распречь ее, но Милькеев распречь не велел, и тогда Лихачев заметил, что у него и глаза невеселые, и выражение всего лица какое-то скучное и сухое.

— Что с тобой? — спросил он, введя его во флигель.

— Что со мной? — спросил Милькеев, сбросив с себя полушубок. — Скучно, вот что со мной... Душно, скучно... Тоска такая, что сил нет...

И он начал скорыми шагами ходить взад и вперед по комнате.

— Нет! Это отвратительно, весь век провести в этой скромной доле... Это невозможно... Я уеду! Душа моя! Дай мне займы пятьсот рублей.

— Постой, постой... ты мне скажи...

— Нет, ты мне скажи, дашь ты мне пятьсот рублей... или нет? А то поеду чорт знает к ко-

му занимать... В Че-моданово поеду, к Рудневу, к Сарданапалу — осрамлюсь, но займу хоть по частям... а уеду...

— Да куда! Куда, скажи...

— Куда уеду? Что тебе до этого? Можешь ты мне дать пятьсот рублей или нет?

— Смотря по тому, скажешь ты или нет, куда едешь.

— Ты рутинер или нет? — спросил Милькев, — дурак ты или нет? Настоящий приятель ты мне на дне души или злорадный друг? Ну, что ж ты не говоришь? Скажи прежде всего, дурак ты или нет?

— Дурак, — отвечал Лихачев, — потому что ничего не понимаю, что с тобой.

— К Гарибальди еду — вот что. Теперь понимаешь? Вот что! к Гарибальди хочу ехать... Но ты понимаешь, что значит на такую вещь решиться нашему брату, в глуши? Понимаешь ли ты весь риск смешного? Я измучусь, если это не удастся... До тех пор, пока не сяду на тройку, не выеду вовсе из Троицкого — не успокоюсь... Это уж кончено!.. Дашь ты мне пятьсот рублей или нет?

— Погоди, у меня теперь всего двести,

спрошу у брата; у него всегда есть деньги.

— Я хотел с братом твоим посоветоваться насчет кой-чего по этому поводу... Так я заеду к нему, а теперь прощай. Я вижу, что ты веришь мне только на двести рублей серебром. Прощай!

— Постой, постой, — сказал Лихачов, — это вздор, дождись брата, я тебе слово даю, что я достану тебе или у него или у Сарданапала еще триста рублей. Будь только покоен... Садись, я велю твою лошадь отпречь и пообедаем, а к вечеру брат приедет... И чтоб тебя скорей утешить, подожди, я сейчас...

С этими словами он отпер ящик в письменном столе, отсчитал двести сорок рублей наличных денег, оставил себе двадцать, а двести двадцать отдал тут же Мильке-еву.

— И двадцать годятся, все меньше у других занимать! Милькеев обнял его и сказал: — Очень может быть, друг мой, что ты этих денег и не получишь. Потому что кто знает, что там будет... Но поверь мне, я, даже и умирая, раскаяваться уж не стану, что занял их у тебя.

— Очень приятно слышать, — отвечал Лихачов, — так уж я на всякий случай заранее

их похерю... Выпьем-ка хересу да потолкуем, какие это соображения заставили тебя сделаться таким коммунистом не на словах, а на деле... Иван! давай-ка обедать...

Милькеев с жадностью пересчитал еще раз деньги, выпил одну за другой три рюмки и съел две тарелки супу, объясняя Лихачеву, как ему пришла мысль уехать в Италию.

XVII

Они спорили и рассуждали до тех пор, пока стало немного смеркаться.

— Любопытно было мне самому узнать, что это меня гонит, — говорил Милькеев, — спрашивал, спрашивал себя, и все не могу... Строго добирался, уж не желание ли новых успехов — какие еще успехи? Меня здесь все любят и — баста! Ну, да что там толковать; знаешь ли, что Руднев влюблен в Любашу не на шутку... Не знаю, как она... Они оба что-то перестали ездить... Руднев заглянул только в лазарет, а теперь в округе третью неделю пропадает.

— Уж не ты ли его счастливый соперник? Впрочем, знаешь ли, что я тебе скажу... Что с

тобою? Что ты встал?

— Послушай, — сказал Милькеев почти с отчаянием, — Бог с ними! Бог с ними! Дай Бог счастья Рудневу и ей... Они оба стоят его... Но мне, клянусь тебе, не до них... Что же брат твой не едет, скажи мне... Послушай, душа моя, успокой меня, доставь мне вечер наслаждения, вместо целой ночи муки, чтобы эти пятьсот рублей были все сполна у меня в руках сегодня... Не жди брата, съезди к Сарданапалу.

— Поедем вместе... А ты лошадь отпусти свою.

— Ну, нет, ни за что! — отвечал Милькеев. — Лошадь? Ни за что! Я завтра же уеду, чтобы с деньгами в кармане продолжать там, пока до Святой, уроки... Я забрал уже вперед деньги до половины апреля, и надо ей отслужить... Да я у тебя умру с тоски без работы. А там пока все пойдет своим чередом... Вели заперчь и поезжай к Сарданапалу и привези мне еще триста рублей.

— Так вот сейчас ехать... Послушай, однако... После обеда.

— Последний раз, Лихачев; ведь скоро ты

меня и не увидишь... А я один подожду... Может быть, брат твой подъедет пока.

Лихачев, покачивая головой, велел заперчь себе лошадей и уехал; а Милькеев, спустивши только его с глаз, сел в свои сани и поспешил в Чемоданово.

В зале его встретил Максим Петрович очень неприветливо и спросил: «какими это судьбами?» — Я к Алексею Семенычу! — сухо и надменно отвечал Милькеев и, не обращая большого внимания на старика, прошел мимо него в коридор, застал Богоявленского одного за чтением и немного погодя заперся с ним на ключ.

— Я хочу огорошить вас, Алексей Семеныч, — сказал Милькеев.

— Извольте, горошьте, я готов, — отвечал Богоявленский.

— Едемте вместе, недели через две, в Италию, к Гарибальди; в волонтеры поступим, если удастся... Отчего же? Англия также чужая земля для Италии, а англичан, посмотрите, сколько там будет... Денег нам надо немного. Мы с вами не на балы придворные будем ездить... Ах! Алексей Семеныч, Алексей Семеныч...

ныч... Если мы с вами здесь в грязь и снег таскались на долгих в кибитках и в избах ночевали, так ведь вся Италия дворец перед этим... Чтобы бедный русский не мог перенести там то, что он иногда переносил здесь... Да в этом смысле нет! Я знаю, каково было ваше житье прежде; да знаю, здесь оно каково! А там-то, там-то! Горы! Неаполь — с народом вместе, и с каким еще народом... который страстнее и добродушнее французов и способнее их к той свободе, которой образец мы видим в Англии.

— Английская свобода — фальшивый идеал, — отвечал Богоявленский в раздумье.

— Положим так, в нем много фальши, потому что мало любви, но в Италии то же самое будет с любовью, и цветущего, бедного итальянского рыбака нельзя же ставить на одну доску с золотушным английским работником. Правда ведь... А? Скажите сами? Потом, в этом есть еще другие стороны...

Милькеев понизил голос.

Богоявленский встал, прошелся по комнате, потом сел и молчал.

— Конечно, — сказал он, — приятно быть

атомом в таком прекрасном деле... Но откуда вам вдруг пришла такая странная и смелая мысль?..

— Это кто мне говорит? Это вы мне с удивлением говорите — смелая мысль? Вы? Послушайте; отчего же я вас, именно вас выбрал себе в товарищи... У меня есть тут два приятеля, пожалуй, друзья — Руднев и Лиха — чов; однако я не к ним обратился... Выразить вам, как я уважаю Руднева — трудно, но я знаю, что ему предлагать этого не следует... Он — доктор, он страстно любит свой край, и к тому же его привлекает еще другое...

— Пойдите, я знаю, что это такое за другое! Знаю... И ему платят тем же. Я уверен. Она князю Самбикину отказала недавно... Но почему вы думаете, что и у других не может быть того же? Я, Василий Николаич, вас сам несколько уважаю, по крайней мере знаю разницу между вами и всей этой шаверой, которая нас с вами окружает, и не хотел бы, чтобы вы думали чорт знает что обо мне, что я рутинер, трус что ли, или Хлестаков, хвастун на словах... Я здесь и сам не намерен киснуть и гнить... все-таки мы хоть на что-нибудь да

годимся... Надо здесь трудиться, а там и без нас обойдется дело... Но пусть будет по-вашему — опыт, участие в движении, пусть мы имеем столько же права, как и богачи, ездить за границу и с большим смыслом съездить, чем все эти таскуны и обжоры... Но я вам скажу не обинуясь, что и у меня есть задержка здесь... Я хочу жениться... разумеется, если она не откажет... на Варваре Ильинишне... Девушка эта мне нравится... И я хотел бы вместе с нею, а не один уехать в Петербург. Я говорю вам это, надеясь на вас... Раньше времени не хотел бы я, чтобы кто-нибудь знал... Мне было бы это не по вкусу...

— И я ехал к вам с своим планом итальянского путешествия, с такой надеждой на вас... Подвергнуться насмешкам в моем случае опаснее, чем в вашем. Вас еще пожалеть могут, если ничего не выйдет, а меня осыпят насмешками... если не в глаза, так заочно! Да вот еще что... Она-то вас любит?

— Я люблю ее, — отвечал Богоявленный, — а она свободна и богаче меня в пятнадцать тысяч раз, так как у меня ничего нет, а у нее пятнадцать тысяч. Значит, если она со-

гласна, она знает, что делает...

Милькеев помолчал и поколебался, но начать дело и не доделать... это хуже всего!

— Бывает ведь и так, что девушка, любя безнадежно, выходит с горя за другого! Бывает ведь и так! — сказал он.

Богоявленский покраснел.

— Не знаю, насколько любит она теперь Лихачо-ва, — отвечал он прямо, — но знаю, что любила прежде, что она была его любовницей; но ведь вы понимаете, должно быть, что это все вздор... Из такой женщины скорее выработается друг, чем из невинной и презренной фитюльки, которая сама не знает, что она будет завтра...

— Я иначе вас и не судил... Но заметьте, что в такой-то женщине и друге особенно надо искать откровенности и правды... Уверены ли вы, что она с вами вполне пряма? Дело не в верности, а в искренности... уверены ли вы...

— Почти... — отвечал Богоявленский с болью на сердце.

— Смотрите, смотрите, я бы на вашем месте подумал бы, да и подумал.

— Спасибо за совет... Я вам дам ответ дня через три.

— Конечно, обсудите хоть сколько-нибудь... Я так буду гордиться, что мог увлечь такого человека, как вы... Я изною от нетерпения... Подумайте... подумайте, где мы будем, что увидим, к чему привыкнем... Прощайте...

— Подумаю, подумаю... Прощайте, — отвечал Богоявленский, и в первый раз, с тех пор, как он знал Миль-кеева, он задумчиво вздохнул.

Милькеев, не совсем довольный своей полуудачей, прошел опять мимо старика, который бродил по зале, едва поклонился ему, и, не встретив Любаши и Сережи и никого из старших, уехал опять к Лихачеву, а Богоявленский не спал до рассвета, ходил по комнате, даже в большие нежилые покои вышел, чтобы дохнуть свободнее, и половицы в огромной зале так скрипели всю ночь от его шагов, что Анна Михайловна наверху испугалась и завернулась с головой в одеяло.

XVIII

Милькеев вернулся от Богоявленского в де-

сять часов утра, подождал Лихачева до полуночи и потом заснул как нельзя спокойнее. Лихачев только часам к четырем утра приехал домой. Сперва он часа два подряд убеждал Ше-махаева дать Милькееву денег; написал, наконец, расписку и подписался под ней сам; потом, довольный успехом и вспомнив приличное и выгодное для него поведение Варвары Ильинишны в Троицком зашел в гостиную и застал ее за пядьцами. Варя с улыбкой протянула ему руку.

— Вот это дело, Варвара Ильинишна, — сказал он, — если бы вы были всегда такие... Что ваша школа? Я слышал об ней в Чемоданове.

— Я думаю, там от нас с Алексеем Семенычем одни кости остались — так нас за это изгрызли... Я рада-радешенька, что нет охоты туда ездить теперь... Гораздо лучше... Посмотрите, хороша эта подушка?..

— Подушка недурна, а школа что ваша, я спрашиваю?

— Подушка недурна, а школа еще лучше... Три девочки и два мальчика уж без складов стали читать. Правду говорит Алексей Семе-

ныч, что женщины способнее вашего брата.

— Я думаю оттого, что у них больше желанья нравиться и угодить, — отвечал Лихачев, вставая, — однако прощайте; у меня дома гость — Милькеев...

— Вот, гость! друг закадычный, а не гость... Подождет — посидите... Ну, посидите еще... Скажите, отчего вы не спросите, для кого эта подушка?

— Что же тут спрашивать — дело понятное, для кого... Для Богоявленского. Ведь вы за него замуж выходите?

— Кто вам сказал?

— Никто... Я сам догадался... Ну, прощайте...

— Пойдите (она взяла его за руку и притянула его к себе ближе) — видите ли что... Я думаю, по старой дружбе — бе можно было бы и посоветывать что-нибудь. Вы подумайте — я одна-одинешенька! Кто мне от всего сердца добрый совет даст?.. Одна я, горемычная сиротинушка... А? разве неправда?

Варя говорила все это так естественно и полушутя, что Лихачев почти без опасения остался еще посидеть. Он сказал ей, что не по

доброте, а просто для собственного спокойствия он очень рад этому браку и что верно они будут жить хорошими соседями. И хотя ему очень-очень хотелось, по привычке, подтрунить над ее планом, когда она сказала, что соседями они не будут, потому что она возьмет свое приданое и уедет с Богоявленским в Петербург — однако он на этот раз воздержался... А воздержаться ему от этой привычки трунить было так же трудно, как трудно было Милькееву не «развивать», Ба-умгартену не бранить русских, а Рудневу не видеть Любаши.

— Да-с, Александр Николаич, уедем мы от вас, — продолжала Варя, не поднимая глаз от работы. — Уедем, и помину не будет об нас... Дай-ка ты мне руку на прощанье, положи ее сюда на пальцы, чтобы я видела, — сказала она вдруг.

Люхачов встал.

— Не буду, не буду! — воскликнула Варя, вскакивая и обнимая его. — Останься, не буду, милый мой, не буду. Последний разок.

— А теперь что ты делаешь... Оставь поцелуи; что только попусту тревожить себя...

Варя с отчаянием всплеснула руками.

— Неужели, неужели я так противна?! Неужели, когда у тебя уж и не просишь никакой любви, когда я должна выйти за другого — и выйду непременно, ты не можешь мне дать ни минуты счастья... Один вечерок по-старому... Один вечерок... Саша! голубчик мой Саша!

— Я не для этого приехал, Варвара Ильинишна, — отвечал строго Лихачев. — Вы знаете, что вы бы меня не дождались долго, если бы не нужно было по делу... Пустите же меня...

Но она уже забыла все — и Троицкое, и жениха, и стыд, и гордость... Его рука была в ее руках: она то подносила ее к губам, то к щекам своим, то прижимала к своей груди; каким отвратительным показался ей чemo-дановский семинарист: худой, бледный, ядовитый, в очках, с каким-то незнакомым, чужим воздухом вокруг себя...

— О, милый, милый мой! останься! Один вечер, один час... Господи, зачем я не Палашка, не Марфушка твоя какая-нибудь... Держал бы ты меня где-нибудь в чулане — я бы сапо-

ги тебе чистила, снимала бы с тебя их.

— Варя, оставь; брат придет...

— Ты боишься брата? Очень нужно! Вот дурака бояться... Никогда не боялся прежде. Нет, я тебя сегодня не пущу, это вздор... Ты у меня наверху до полуночи просидишь... Я не пущу тебя...

Лихачев бережно отстранил ее, очень бережно, едва коснулся только, стараясь высвободить свою руку, и сказал: «Нехорошо смотреть на влюбленную женщину, которую сам не любишь! Отвратительно!» Он сказал это нарочно, чтобы совсем покончить дело, хоть оскорбительно, унижительно для нее, но она была неисцелима, неумолима, непреклонна.

— А, ты бьешь меня, толкаешь! — закричала Варя, — ты думаешь, я позволю тебе себя бить... Я сама умею... Вот тебе...

И, осыпая его грубой бранью, она начала бить его слабыми руками по груди, по плечам, по спине, куда приходилось.

Лихачев стоял неподвижно и смотрел ей в глаза с твердым упреком. Ни слова не сказал он ей и только покачал головой и вздохнул.

Как только она услышала этот вздох, весь

гнев ее пропал как дым; она упала перед ним на землю и обливала его сапоги слезами, цаловала его ноги... И... все-таки просила провести с ней один вечерок по-старому...

— Все будет кончено! Все — я буду на Фоминой жена его... Смотри, до Фоминой всего недели две осталось — больше не увидимся, коли хочешь.

— Нет, Варя, не надо, — отвечал Лихачев. — Не надо — и тебе не совестно его обманывать...

— Совестно, конечно! Совестно, — утвердительно сказала Варя. — Я чуть не сошла с ума в тот день, когда потихоньку от него написала к тебе записку, помнишь? А теперь уж сам случай вышел... Ну, я ему расскажу — ему это ничего, если бы только не обманывать его, а это ничего...

— Да, в прошедшем, быть может, ему и ничего, особенно когда у тебя пятнадцать тысяч приданого, а теперь, в настоящем — другое дело... Пусти меня, пусти, или я, наконец, толкну тебя... Нечего тебе перед свадьбой поднимать все старое...

— Да я бы уж сегодняшнюю ночь забылась,

а там! Варя махнула рукой.

Лихачев был молод; ему показалась она прежней Варей, самой первой Варей, которую он когда-то встретил на Святках в штофном сарафане, с платком в руке и в удалую минуту русской пляски, той плутовкой, той черноглазой барышней-крестьянкой, которая отдалась ему молча и нечаянно, без обещаний и клятв и хитростей ни с той, ни с другой стороны. Он остался и поужинал с нею и братом, а после ужина пробыл с ней один до трех часов ночи.

— Смотри же, — сказал он ей, — не потеряй ты своего жениха; сказать неловко, а скрывать еще хуже: через людей дойдет... Опять, скажут, повадился... Смотри... Ведь я, ты знаешь, не люблю тебя...

— Знаю, знаю... — отвечала Варя, — и за это спасибо, что по-моему сделал... Я больше ничего не хочу.

Так она думала в эту минуту; но оставшись одна, когда Лихачев уехал, вдруг почувствовала всю слабость, всю вину свою перед Алексеем Семеновичем, все отвращение, которое проснулось вдруг к нему, — когда она вспомнила такое славное прошедшее...

Не раздеваясь, сидела она с ногами на диване, распевая любимые Лихачевым песни и раздумывая, что ей сделать... К утру она решила, что нечего делать: надо пойти в монастырь этим летом, а до тех пор пожить уж как хочется, а Богоявленский как знает! Ведь и она не виновата, что не может любить его, когда любимец истинный на глазах; а если не на глазах, то только мостик да плотина, да три-четыре версты полем, и до куреевского осинника, за которым стоит серый флигель, уж два шага!.. Какая же сила вынесет это!

— Ну! — решила она, наконец, переkreстясь три раза, и написала Алексею Семеновичу письмо: «Не могу! не могу! Алексей Семеныч! Вы уж простите мне; но я за вас замуж идти не могу и в Петербург с вами не поеду! Я думала, что забыла его; однако — нет, не могу! Уж там как хотите ругайте меня, а я слово свое беру назад. И школу знать не хочу! Чорт с ней совсем. Разорвите это письмо!» Богоявленский с наслаждением разрывал его, стоя бледный перед мужиком, которого прислала ему Варя.

— Вот тебе! — сказал он, вынимая из кар-

мана гривенник, — не так-то я сам при деньгах, а то бы и больше дал за добрую весть. Куда это другая записка?

— Это к Александру Николаичу в Куреево, — отвечал мужик.

— Ну, это дело хорошее... Ступай скорей, брат! Он тебе больше даст. Постой, однако, я тебе тоже записку дам — в Куреево.

Перед обедом в Куреево вернулся Николай Николаевич Лихачев и прошел прямо в свой флигель. Молодые люди тотчас же пошли к нему. Молодой Лихачев еще поутру сознался Милькееву в том, как он провел вчераший вечер, и сказал ему, между прочим: — Конечно, Божоявленского мне ничуть не жаль... но забавно, что он ищет ее обратить в свою веру, а она за — благовременно ставит ему рога... Если мне жаль кого, так это ее...

— Позволь мне рассказать ему, что она его еще раз обманула.

— Зачем это?

— Я его зову с собой ехать... а он через нее колеблется.

— Ты зовешь его с собой? — с удивлением спросил Лихачев.

— Зову, отчего же. Это ему, должно быть, очень по душе.

Лихачев с усмешкой отвечал: — Конечно, это твое и его дело, а не мое... Но, в самом деле, старики правы, когда говорят, что мы в странный век живем... Наша губернская семинария и Неаполь; кардинал Антонелли и Александр Семеныч Богоявленский; Ламорисьер и ты!.. Ну, впрочем, твое физическое, если не духовное, величие еще годно и туда, а вот я удивляюсь, как ты не боишься, что он своим присутствием всю поэзию Италии испортит?.. Чорт знает что — Богоявленский в очках над кратером Везувия...

— В этом есть правда, — отвечал Милькеев, — но я надеюсь, что он как-нибудь там сам окрасится...

— Разве загорит, — сказал Лихачев.

Говоря так, они переходили через весеннюю грязь двора во флигель предводителя; Милькеев уже занес ногу на крыльцо, но Лихачев приостановился и сказал ему: — Смотри, ведь это от Вари мужик пешком плетется... вязнет; видно, проповеди твоего будущего спутника не очень-то плодотворны... По

этакой распутице пешком мужика с любовными письмами посылать... Ужасно она груба!

Мужик, в самом деле весь мокрый и в грязи выше колен, снял шляпу, с которой лился пот, и достал из нее две записки: одну побольше, другую поменьше.

— Откуда тебя это пугнули, душа моя? — спросил у посланного Лихачев.

— Да барышня к чемодановскому поповичу послала. Братец лошадки не дал своей... Да какая тут лошадь! утопнет всякая... Я пеший в вершинке вон в той так и повалился навзничь — лежу, ей-Богу, ни-ни с места — ровно пьяный! К поповичу, Александр Николаич, к поповичу...

— Зачем же ты ко мне пришел?.. Разве я попович? Спасибо, брат, за это.

— И к тебе, Александр Николаич, и к тебе тоже... Я поповичу уж отдал письмецо; и он вот гривенник мне дал; снеси, говорит, в Куреево... там барин в гостях из Троицкого, высокий такой, курчавый... ему отдай...

Молодые люди взяли письма и прочли их тут же на крыльце. Прочли, посмотрели друг

на друга и поменялись письмами.

«Сердись, не сердись; ругай и презирай меня, сколько хочешь, а я Богоявленскому отказала сегодня, — писала Лихачеву Варя. — Не бойся, я тебе надоедать долго не буду; даю честное слово, что уйду или уеду куда-нибудь летом, только ты хоть два раза в неделю, хоть раз приезжай к нам по-старому! Алексей Семенович зовет тебя «консерватором», и он мне объяснил, что это такое значит... Так ты должен старое любить... Видишь, какая я умница и милое дитя, шучу и об страстной своей любви к тебе не говорю ничего... Любить не надо меня, а только приезжай ради старого. Право, не надолго!

Твоя Варя Шемахаева».

«Я к вашим услугам, — писал Богоявленский Мильке-еву. — Хоть сейчас, хоть после Святой, когда вам угодно... У меня есть триста рублей с небольшим; у вас есть пятьсот. Отлично доедем. Будьте только осторожны, чтобы нас не задержали где-нибудь.

Ваш Богоявленский».

— Ну, что? — спросил Лихачев.

— А ты что скажешь?.. — спросил Мильке-

ев.

— Пойдем к брату пока... — отвечал Лихачев... — ответа не надо никому, — продолжал он, обращаясь к мужику, — скажи, что получили... Вот тебе полтинничек. Да барышне скажи, чтобы еще тебе дала за труды... Скажи, Александр Николаич Лихачев говорит, нехорошо даром в такую дорогу людей посылать... Поди, отдохни сперва в людской да пообедай у нас...

XIX

Полина едва только узнала, что Любаша отказала ее брату и что Авдотья Андреевна долго не будет пускать Любашу в Троицкое, — принялась сейчас же выпытывать от огорченной девушки, кто ей нравится, и, догадавшись по очень ясным признакам, что нравится именно Руднев, еще яснее намекнула Рудневу, что можно и почаще *сюда* ездить *теперь*, так как они слышали *стороной*, что он уже детям уроков в Троицком не дает... Руднев все это время не встречался с Милькевым; как нарочно приезжал из округа в Троицкое, когда тот тосковал и строил планы в

Курееве, и написал ему длинное и теплое письмо, упрашивая забыть все и простить ему «глупую вспышку», тем более, — прибавлял он, — «вы сами виноваты, что недостаточно еще переделали меня, несмотря на все ваше искусство затрогивать мне душу. Я не горюю теперь; вы, может быть, сами догадаетесь, почему, и при свидании я, милый мой, все вам подробно объясню. У меня теперь вдруг, *кроме всего остального*, скопилось так много работ по округу! Воробьев свалил на меня два вскрытия скоропостижных; я успеваю только благодарить судьбу за то, что в троицком лазарете теперь нет ни одного опасного больного. Хочется мне с вами давно поговорить целый вечер, да, Бог даст, в конце Страстной буду свободнее! *Я могу вас уверить, что ни одна женщина вас вполне не убьет в моем сердце!*» В зале Полины, в минуты отдыха, у рояля, возобновились прерванные беседы... Сестра князя не мешала им: то за две комнаты от них вышивала в пальцах, то няньчилась в детской с Колей, то читала; муж ее был беспрестанно в отлучках, да и дома, сидя в кабинете, не обращал внимания на

нескладную музыку Аюбаши, которая чаще всего играла одной рукой, потому что другая была в руке полуживого от счастья и от страха за свое счастье — Руднева. Иногда он успевал прочесть что-нибудь громко ей одной или при Полине... И при Полине хорошо; он взглядывал часто сбоку через книгу и выдел около себя розовые щоки и русые волосы, знакомые ямочки и веселые глаза, опущенные к работе. Сидели и по разным углам, то в том, то в другом укромном местечке, пробовали и за плющом, и на эсе за печкой, и на другом эсе посреди гостиной для очищения совести перед свидетелями. Иногда она играла как следует на рояле, и он смотрел целый час на ее спину и спину хвалил про себя, не говоря уже об игре.

Он рассказывал ей то самое, что он решил рассказать про себя Милькееву: про детское горе свое, про мать и дядю, про других недобрых родных, про разнородные муки молодости, которые теперь уже казались чем-то далеким и почти невероятным, наконец, про свою дружбу с Милькеевым...

— Хороший ли он человек? — спросила

Любаша.

— Я другого такого не знаю! — отвечал Руднев с восторгом. И объяснил ей, почему он считает его таким, а не иным.

— Мне кажется, он такой самолюбивый и для самолюбия своего готов все сделать... И все-таки, я думаю, что он фарсит-таки, важничает немного...

— Бывает! но он имеет, по-моему, больше прав на это, чем другой!.. Скажите, любили ли вы его хоть на минуту?

— Разве можно любить на минуту? Любить можно только всегда; я с ним так шалила, шутила... Нравился он больше при других, в обществе...

— Как это странно, — заметил Руднев, — он то же самое мне говорил об вас; я спросил раз у него: хотел ли бы он на вас жениться, а он отвечал: нет, я танцевать с ней хочу на всех вечерах, и за ужином, и за обедом рядом всегда хотел бы с ней сидеть и воображать... воображать; что мы друг друга не сегодня завтра полюбим страстно и без последствий...

Любаша на это не отвечала, и легонькое облако пробежало по ее лицу.

— Это нехорошо, — сказала она минут через пять, — это нехорошо, что я чувствую; мне стало что-то досадно, зачем это он так сказал; к чему это я так почувствовала? Вы мне простите это?

Руднев только пожал плечами и угрюмо отошел прочь.

— Не уходите, — сказала она кратко, — не уходите, я разве дурно делаю, что во всем признаюсь вам? Я еще не привыкла к вашему лицу, не знаю, когда вы сердитесь и когда конфузитесь...

— Не уйду! Не уйду-с! Куда я пойду от вас? Ну, посудите сами, разве я в силах уйти от вас?

— Какой суровый, и какой молодой! — сказала Любаша, качая головой, — как строго глядит, и сам какой еще молодой; что за лицо у вас, нежное, как у барышни... ничего еще здесь почти нет...

И, задумавшись на минуту, она провела рукой по его подбородку и щекам.

— Братец мой младший, Сережа... нет, не Сережа — другой брат, Вася... Посмотрите-ка на меня. Отойдите от двери; что я вам скажу,

чтобы никто не видал.

Руднев отошел от двери, и Любаша, вдруг указав пальцами на него и на себя, поспешно сказала: «это мой брат, Вася, а это я...», поцеловала его в губы, но слегка, истинно по-братски, и ушла спать, а Руднев простился с хозяевами и уехал к себе.

«Чем-то это все кончится? — думал он дорогой, — зачем бы это так долго ждать, чтобы старуха смягчилась!.. Впрочем, пусть будет так, как она желает и как советует Максим Петрович».

Дома он сказал тотчас же дяде, что надо будет завтра, наконец, в Троицком провести целый день... Стыдно на глаза показаться! «Через все эти разъезды да вскрытия», — прибавил он потом.

— Недурно бы, — отвечал дядя, — очень недурно бы!.. Спрашивали о тебе эти дни. Да и сюрпризик небольшой там есть... Есть сюрприз там нынче!.. Красное яичко к Христову дню!

— Что такое?

— Граф вчера приехал с Кавказа. Вчера около полудни.

— Граф, сам граф?.. Ну, это вы шутите?..

— Отнюдь не шучу. Приехал вчера при мне. Сидели мы с Катериной Николавной, вбегают опрометью дворецкий... Шар-шаром катится... »Ваше сиятельство, граф изволит ехать!.., я их узнал». Катерина Николавна взглянула на него, взглянула на меня, бледненька, вся побледнела. И Трофим тоже не без страха ждет ответа... Но, однако, этот минутный ужас продолжался недолго .. Она пришла в себя и встала с софы... Дети вбежали вслед за этим и кричат: «папа, папа едет!..» Уж что в их душеньках деялось — не объясню, не объясню!.. Не берусь за это! Но все как бы смущены и испуганы были... Кроме Юши, конечно, кроме Юши, который был уже на крыльце...

— И вы сами все видели это? Ну, говорите, что ж дальше. Как он приехал? на чем?

— Не по-барски, попросту, на перекладной... Толстейший, здоровый мужчина, нога выше колена отнята и на костылях; здесь, натурально, на плечах густота... Таким орлом глядит!.. Она его встретила сама на крыльце, и с Машей вместе не дали ни одному слуге

прикоснуться — сами высадили его из телеги; а Юша уж на нем повис; а Федя и Оля стоят и глядят из дверей: Оля хмурится, Федя плачет...

— Боятся оба, верно: они ведь его не помнят вовсе, — заметил Руднев... — Ну, потому что, дядя?.. Милькеева не было?

— К вечеру только отыскался, к вечеру отыскался; и он как бы ошалел немного — так, по крайней мере, по крайнему моему разумению, его наружность мне представлялась; а граф сам, нимало не стесняя себя ни в чем, идет на костылях на лестницу и рассказывает, как он возок у губернатора на дворе оставил через распутицу и сел на перекидную, и дочь старшую со смехом пополам похваливает, что она на английскую девицу, на англичанку молодую похожа... »В Англии я недавно был, — говорит, — так мне на всех балах девицы самого изысканного круга помогали на лестницу всходить и с лестницы сходить, увидав меня на костылях... Раненому человеку там почет великий.. « Отвели ему большую комнату внизу, в которой был театр зимой... понравилась... фасон окон долго хвалил. Я за ним все следил и слушал внима-

тельно!.. Поезжай, и ты увидишь...

— Ну, уж нет, теперь даже из лазарета к ним не заеду... Нет, уж не надо... Им не до нас.

— Да и тебе тоже, Вася, не до них... — осторожным голосом добавил дядя.

— Ах, дядя, дядя. Мартиниан-то наш (помните?) плохо умудрил меня! Да что там, Бог знает, еще что будет. Покойной ночи пока!

Дядя, оставшись один, постоял, поглядел на закрывшуюся дверь пристройки и подумал: «Ничего... Мартиниан — Мартинианом, а Любаша — Любашей... Спать нынче стал крепче и рано засыпает, не гнется над книгами до полуночи, не гнется над книгами... И то хорошо... Натура свое потребовала... Натура все делает... Без натуры человек ни на шаг! От нее все и в ней все обратно свой путь продолжает! Помяни нас, Господи, помяни нас, Владыко, егда приидеши во царствие Твое! Помяни нас, Господи, егда приидеши во царствие Твое... Помяни нас, Владыко, егда приидеши во царствие Твое...»

Лихачев и Милькеев еще раньше Руднева узнали о приезде графа.

Одно из личных физиологических замечаний молодого доктора возбуждало не раз споры в Троицком: он упрямо утверждал, что умных лиц и особенно умных глаз не бывает, а бывают выразительные лица и глаза.

— Ум, — говорил он, — в чистоте своей — процесс бесстрастный и не может сам по себе быть источником ни движения, ни твердого покоя во взгляде. Глаза могут быть добрые, хитрые, томные и страстные, веселые, покойные — одним словом, они могут выражать качество характера, а не количество и силу ума. У гениев не потому выразительные лица, что они очень умны, а потому, что у них и многое другое сильно, если не все; а идиот беден не только умом, а вообще он — нищий духом.

В пример он не раз приводил с одной стороны глубокие, кроткие и бархатные — словом, выразительные глаза князя Самбикина, а с другой — холодные, незначительные серые глаза обоих братьев Лихачевых, которых все, однако, считали людьми умными.

— Особенно у предводителя, — прибавлял

Руднев, — лицо добрее, чем у брата, а глаза навывкате, без всякой жизни. Допуская умные лица, надо счесть Николая Николаича глупым добряком и ошибиться. Я всего раз или два видел, как у него изображались в глазах жизнь и игра чувств: раз на балу у Протопоповых, когда он спорил с дворянами; а другой раз, когда Катерину Николаевну начала бить лошадь и он схватил ее за повод и остановил.

Теперь, после того, как Милькеев признался Николаю Николаевичу, что после Святой он едет в Италию, и расспрашивал у него, как бы денег немного истратить и цели достичь — этот случай в жизни старшего Лихачева Руднев признал бы третьим случаем игры страстей на лице серьезного и спокойного толстяка.

— Да! — сказал он, вставая без нужды с кресел тотчас после плотного обеда... — Да! — повторил он, не спуская глаз с Милькеева, который, развалившись в креслах, строил на радостях, что есть деньги и что Богоявленский увлечен, всякие воздушные замки, в половину которых и сам не верил.

Потом, сказав еще раз «да! недурно!», пред-

водитель все-таки не сел, а стал спиной к холодному камину и обвел заблиставшими глазами потолок.

— На Фоминой!... — начален. — Святая нынче поздно, на пароход и в Одессу — через Азовское море... Волга, Таганрог, Бердянск... В Одессе бывает всякий народ... Пожалуй! там найдешь охотников... Особенно в Одессе... Поляки там попадают, они ведь на эти штуки охочи... Да чорт ли в этих поляках! Какая-то смесь жида с французом.

— Найдем всяких! — отвечал Милькеев, — не все ли равно.

— Лишь бы не очень велика компания — и с разбором ищи людей, чтобы не встретить какой помехи... Впрочем, постой-ка... Ты мне скажи, почему ты непременно хочешь ехать к Гарибальди? Отчего в Италию? Я и сам говорил, что тебе не следует успокоиться здесь на веки веков, а надо ехать и страдать и кипеть. Отдохнул душой, да пора и честь знать... Все это ты говорил и сам еще на Святках...

— Ну так что ж? Говорил — так надо ехать.

— Надо, надо... Да зачем в Италию! Ты бы поехал лучше знаешь куда!

— Куда? Уж не в Петербург ли? — воскликнул Милькеев. — Знаешь ли, что такое Петербург?.. Гуляли мы с Рудневым и детьми в цветнике... Небо голубое, цветы также, солнце яркое; сели мы на лужайке под топодем, а Руднев поднял большой камень, около меня, чтобы показать детям разных насекомых. Я посмотрел туда — сырость, грязь, какие-то черви и вроде мокриц ползают... Руднев опять опустил камень... Италия, это — цветник, а Петербург, это — место, где ползают мокрицы.

— Катерина Николавна говорит, — отвечал предводитель, — что Петербург, однако, принес свою долю пользы для России. Это правда; но я думаю, что он натяжка, а не столица: ни национальности, ни климата, ни настоящей красоты... Резиденцию могли бы перенести в Москву — и множество мяслящих и образованных людей рассеялось бы по внутренней России и волей-неволей разнесло бы по ней гражданское сознание, как гугеноты разносили свои ремесла и трудолюбие, когда их изгнали из Франции, или как византийцы — свое просвещение, спасаясь от Мухаме-

да Второго!.. Никто и не просит тебя ехать в Петербург.

— Я знаю, — перебил молодой Лихачов, — куда он тебе посоветует.. Все туда же, в славянские земли..

Предводитель слегка покраснел.

— Ты говоришь, Александр, с легкостью об этом, потому что ничего в этом не смыслишь, брат, не прогневайся, — сказал он с досадой.

— Да ведь скука там, душа моя.. Ничего вообразить себе нельзя. Париж — понятно, что такое; английская деревенская жизнь тоже; ну, Италия, Испания, Америка, Индия.. Знаешь, что тебя ждет там, хоть приблизительно. Можно ждать опасности, лишений, горя, но не скуки, а все эти Дравы, Савы, Моравы.. Никакого, кажется мне, в них характера нет.

— Это все равно, что суждение французов о России, точь-в-точь! Такая же пустота с кондачка. Признайтесь оба, что вы даже читать себе не дали труда об этих краях, а судите.. Противен тебе Баумгартен, когда он говорит, что гораздо приятнее в Nancy или Celesta играть в шахматы в кофейной с каким-нибудь скотиной мэром, чем гулять в троицком бо-

ру? Ведь небось сволочью считаешь его, когда он это говорит, не зная ничего про Россию. Так и не врите вздору о том, в чем ни зги не видите... То-то! какие-то светские сапожники — вот что вы!

Предводитель так редко сердился, а младший брат так привык уважать его с детства, что не отвечал на это ни слова...

— Да и я плохо об них знаю, сознаюсь, — сказал Милькеев задумчиво.

— В этом-то и беда, — продолжал предводитель, — что наше общество глупо и невежественно. Оно способно сделать все, когда немцы или французы дали на это право примером своим, или когда прикажут, пошлют куда! Всякий дурак понимает Италию, Париж... Ярко, ясно, как $2 + 2 = 4$... Нет, ты пойми там, где чуть брезжится все; пойми там, где, как ты сам, Милькеев, раз сказал: краски пестры, да лаком сознания и свободы еще не покрыты!.. Скучно! Милльоны славян говорят почти тем же языком, которым писана наша Библия; в глухих, диких деревнях с восторгом произносят наше имя! А мы их не знаем и не думаем о них. Прогрессисты наши, разочаро-

ванные недоверием и холодностью здешнего народа, бегут из своих имений шляться по Невскому, пляшут в растленных притонах или жрут в парижских кофейнях. А там бы их на руках носили, пророками бы считали, если бы они шли туда не только официально, а сами по себе! Там всякому еще есть дело: учителю, попу-проповеднику, художнику, купцу, искателю приключений. Живописные места; Дунай; первобытные народы, которых даже западные путешественники ставят сердцем выше греков, а умом выше турок; монастыри в горах, где молятся за наше государство; монахи там настоящие монахи — знают близко смерть и нужду; древние забавы, песни народные и эпическое время не прошло еще для них... Благодушны, гостеприимны, чисты нравами; за «честный крест», по их словам, каждый мужик готов кровь отдать без приказа. Если южная пылкость у них слабее, чем в Италии, зато мудрой стойкости больше...

— Ты, — продолжал предводитель, обращаясь к брату, — почитатель Пушкина — знаешь ли ты стихи, которые он писал дочери Карагеоргия? Не посмотрел, верно! А?

— Не помню...

— Ну, конечно! Эх, брат Милькеев, поезжай ты туда... Там ты не только одноплеменником, но и *единоверцем* станешь с ними!

— Не вошло еще сюда! — отвечал грустно Милькеев, указывая на сердце. — Не пролезло в щелку, которая здесь есть... Чуждо!

— Италия ближе?

— Пока ближе. Не знаю, что будет после. Я влечениям своим охотнее внимаю, чем чужому рассудку. А пока все, что вы говорили, для меня только рассудок.

— Оттого-то вы оба неполные люди, — сказал старший Лихачев. — У тебя есть познания, а почвы нет, русского в тебе мало; а у него есть почва русская, да твоих познаний нет. Ну, как знаете! Только в Петербург ты, Милькеев, ради Христа, не езди, нейти ты по битой дорожке!

Едва успел предводитель кончить, как на двор въехал посланный из Троицкого с запиской, в которой Катерина Николаевна писала, что муж ее приехал, и звала Мильке-ева поскорее к себе.

Александр Лихачев захотел проводить его

до половины дороги. Уже совсем стемнело, когда друзья верхом въехали в лес. Со всех сторон оглашал его весенний крик ликующих птиц. Лихачев знал все эти голоса и объяснял их товарищу, который ехал молча и печально.

— А ведь ты горюешь, душа моя? — спросил Лихачев, пожимая ему руку.

— Горюю, — отвечал Милькеев.

— О Троицком?

— И о Троицком горюю, и сам не знаю о чем! Думаю, как бы граф не повредил бы им всем. Судя по ее рассказам, он молодец, и где-нибудь в ополчении или на севастопольском бастионе я бы его любил; но здесь... Послушай! что это за птица кричит? Послушай! послушай ее... Какой раздирающий крик... Когда я проводил первую весну в этом раю у Новосильских, я вначале пошел один в лес; еще мало знал их всех — но уже жилось сладко и покойно... Тогда тоже кричала эта птица... И что за воздух! Что за воздух! Слушай, видал ты много на Дунае убитых людей?

— Еще бы! — отвечал Лихачев. — Первый раз я увидел молодого казака лет девятнадца-

ти. Бомбой его убило. Руки нет ниже локтя; две кости торчат обломанные; лицо и все тело малиновое; ног тоже нет. Из лица куски мяса вырваны; говорят, у него дома осталась жена молодая, и я прежде не раз говорил с ним.

— И ничего ведь тебе? Не слишком жалко и страшно?

— Нельзя сказать! Хоть у меня и нет столько воображения, сколько у тебя, а все-таки! Обстановка, мечты! Война эта, проклятая, как-то облагораживает человека, сколько ни мудри против нее все эти мудрецы, которые честно прокисли над книгами! На Дунае я реже скучал, чем дома, и гораздо чаще грустил... А в Италии должно быть еще лучше!

— Надеюсь, что лучше. Вот, когда бы с тобой вместе! — с жаром сказал Милькеев.

— Если тебе это приятно, я с удовольствием поеду, — сказал Лихачов. — Ты меня соблазнил; страшно еще как-то обречь себя на вечную жизнь дома. Брат хочет, чтобы я служил после эманципации: так до тех пор вернись еще, если вернусь...

— Ты не шутишь?

— Нисколько! Я нарочно поехал тебя провожать, чтобы поговорить об этом. Молчи пока; не хочу толковать с братом: уеду — и конец... Если ты не боишься ехать, когда у тебя дома кровли нет, так отчего же мне и подавно не съездить: все же интереснее простого путешествия по дурацким гостиницам и минеральным водам! К тому же Варя... Хуже этого быть ничего не может! Бог даст, отвыкнет, образумится, и я отдохну...

— Надеюсь, по крайней мере, что ты не раскаяваешь-ся в прошлом насчет ее? — спросил Милькеев.

— Разумеется, нет! Надо поправлять, а не раскаяваться!

У выезда из леса они расстались, и Лихачов крупной рысью поехал домой, а Милькеев пустил вскачь свою лошадь к Троицкому.

XXI

Целую неделю граф отдыхал и веселился. Все ему нравилось в Троицком. Тяжелый хохот его раздавался то у Катерины Николаевны в кабинете, то в классе, то в манеже, то на гимнастике. Конюшню он нашел в порядке,

долго говорил с кучерами и берейтором и дал им по пять рублей; ходил с Рудневым в лазарет, шутил с сиделками, дал и фельдшеру денег; ловко перекинулся на костылях в лодку и долго катался с детьми по Пьяне; спрашивал у жены названия растений в оранжерее и цветниках; с Баум-гартеном беседовал о последних событиях во Франции; рассказывал Милькееву множество любопытных анекдотов московских, парижских, лондонских, кавказских; жалел, что со взятием Шамиля утихнет боевая жизнь в том краю, и Россия лишится, пожалуй, прекрасной военной школы, в которой выработывались сильные и самобытные характеры; интересовался всеми соседями и, чтобы видеть их, взял с жены слово, что в день Феदिного рожденья, через неделю, она даст хороший вечер.

Но ничто не развеселило и не тронуло так графа, как успехи, исправление и довольный вид Юши. Юша показывал ему свои тетради, игрушки, письменный стол, который Катерина Николаевна подарила ему на новый год в награду за сдержанное обещание отвыкнуть от ругательных слов и который привел Юшу

в такой восторг, что он один-одинешенек в комнате не раз подходил и отходил от стола, простирая к нему руки и восклицая: «письменный стол!» Юша отвечал хорошо из священной истории, отлично умножал и делил дроби, с жаром декламировал: «Терек воет дик и злобен...» и «Обвал» Пушкина; порядочно чертил карты; знал, где лежат у человека печень, селезенка и сердце; показывал даже «arbor vitae» в мозжечке; ездил уже довольно смело на клепере и ни разу при графе не кричал и не капризничал.

Оставшись раз с ним наедине, граф посадил его к себе на колени и спросил, весело ли ему здесь?

— Еще бы! Мамка мне совсем подарила Том-пуса клепера. Деревянных лошадей у меня шесть. Как запрягу четверку, закричу: «Малыш!» Малыш бежит.

— Кто это Малыш?

— Это мой слуга. Он невидим для других, но я его вижу. Все хорошо! Учителя только лихи — изверги, тираны! Васинька-Василек еще ничего; Васька тоже не строг; а уж Древо-садский — беда, заморит над книгой!

— Древосадский? Кто это Древосадский?

— Баумгартен значит — *дерево* и сад. Вот он и зовется у нас так, чтобы не понял. Однако догадался изверг; как заорет: «Je m'en vais vous ficher un Drevosatzky!» У нас с Федей душа в пятки уходит.

Граф видел, что Юша доволен. Он благодарил жену с большой теплотой и крепко жал руки Рудневу, Милькееву и Баумгартену, который чуть не приседал перед ним, особенно после того, как Новосильский сказал ему в классе: *vous avez la logique bien serrée!*

Как-то после ужина граф остался с глазу на глаз с Катериной Николаевной, протянул ей руку и сказал: — Житье у вас здесь! Что бы вы сказали, если бы я остался навсегда?

Катерина Николаевна ожидала этого вопроса; больно было ей отвечать ему сухо, но пришлось.

— Вы сами здесь не усидите! Вам нужно движение, — сказала она.

— Мне уже 47 лет! Толст; страдаю часто от ран ужасно; хочется отдохнуть. Eh! voyons donc! Будем откровенны. Разве вы не знаете, как года изменяют человека? Пора бы и на от-

дых! И что моя карьера? В 47 лет и с моими связями я полковник только! Кровь уж не кипит, как прежде. Я вас стеснять ни в чем не буду. Детей я всегда любил, а Юшу люблю особенно. Что ж делать — это естественно! Ребенок без матери, бедный!

Граф был взволнован и сильным движением откинулся к спинке дивана. Катерину Николаевну тронуло его родительское чувство.

— Послушайте, друг мой, — сказала она, — в память прежней нашей любви, не говорите мне так, прошу вас! Жить нам вместе нельзя. Разве вы себя не знаете? Разве вы можете жить той жизнью, которой живу я?

— Неужели вы думаете, — отвечал он с усмешкой, — что порок пропитал меня до костей? Что я уже вовсе без души и без правил?

— Нет; но страсти ваши всегда сильнее у вас и доброты, и тех правил, которых вы с вашим умом не можете не понимать.

Граф вздохнул глубоко, задумчиво побарабанил пальцами по столу и помолчал.

— Положим так! — начал он опять, — прошедшее скверно! Но кто же мешает нам добрыми друзьями дожить наш век? Как! Я имею

семью, жену такую, как вы, таких славных детей — и должен век скитаться, служить! Когда бы вы знали, как тяжело иногда! Я не жаляюсь обыкновенно; энергии, вы знаете, мне не занимать. Но я и здесь не останусь без дела: я бы мог служить по выборам. Пойдите... Вы не вздумайте оскорбиться тем, что я вам скажу. Вы не хотите быть моей женой — не будьте; вы хотите располагать вашим сердцем — располагайте! Я вижу роль, которую играет у вас в доме Милькеев. Это не беда. Он человек вполне порядочный... Не оскорбляйтесь же!

— Я не вижу тут ничего обидного, — отвечала Катерина Николаевна сурово и спокойно, — я имею право располагать собой и, если бы Милькеев был моим любовником, я бы не стала краснеть. Только это просто неправда. Вот и все. Вот, видите, не обидьтесь и вы тем, что я скажу теперь... Вы не поймете моих чувств...

— Говорите; постараюсь понять.

— Едва ли! — продолжала она, — по моему мнению, в браке еще много разных условий для того, чтобы заставить женщину принад-

лежать человеку без страсти, если он этого требует. А здесь? Что может заставить меня? Для меня ни Милькеев, ни вы не существуете, как мужчины. Я — вы видите — развалина!

— Что вы развалина, против этого я не спорю! — любезно возразил граф, — развалины часто бывают красивее и занимательнее новых домиков... а что касается до Милькеева...

— Я говорила, что вы меня не поймете! говорила, что не поймете! Вы судите...

— Я не досказал, погодите! — перебил граф, — Милькеев, может быть, и не любовник ваш, и это может быть! Мне до этого и дела не будет. Чем же я могу мешать вам?

Катерина Николаевна встала и подала ему руку.

— У меня голова кружится, — сказала она, — поговорим завтра... не могу больше.

Муж поднялся на костыли, вежливо проводил ее до дверей спальни, поцаловал ее руку, возвратился в кабинет и сел на прежнее место. Он долго сидел, снова барабанил по столу, шептал про себя: «душа и правила! душа и правила!», перекладывал костыли с места на место и не хотел спать.

Давно уже слышал он в зале чьи-то мерные шаги, но сначала не обратил на них внимания, потом вышел туда и увидел Баумгартена.

— Вы меряете залу? — спросил он. — У вас бессонница?

— Да! здешняя жизнь, граф, очень вредна мне. Я часто не сплю...

— Не хотите ли пойти посидеть ко мне? — сказал Новосильский. — Потолкуем; мне тоже не спится.

Баумгартен с радостью согласился.

— Так вам не нравится здешняя жизнь? — сказал граф. — Чем же она дурна? Кажется, жена моя живет весело, ни в чем не стесняется и других не стесняет?..

— Я не жалею, граф; о, нет! — отвечал Баумгартен. — Графиня очень добра; *elle est pleine d'attentions pour moi*; но слабость — вот задняя сторона ее медали!.. Если вы позволяете мне быть с вами откровенным...

— О! я прошу вас! — с жаром воскликнул граф, — к кому же она слаба?

— Она, во-первых, слаба к *miss Nelly*, которую поручила ей мать, и я не могу не осуж-

дать ее за это; во-вторых, она дала слишком много воли г-ну Милькееву. Он изучал Гегеля и Лейбница и, не стесняясь, при неопытной девушке, говорит, что все действительное разумно и что зло есть необходимый элемент прекрасного. И графиня, и доктор Руднев, и miss Nelly недовольны, когда я называю г-на Милькеева эгоистом, и я принужден был создать для него новое слово — *эготист*. Его материализм или, лучше сказать, сенсуалистический пантеизм во многом совпадает с тем кальвинистским спокойствием, которым была напоена miss Nelly еще в доме родителей... Позвольте мне принести вам и показать отрывки из ее дневника... Вы увидите, сколько у нее воображения и ума, и разделите то чувство жалости, которое я испытываю всегда, когда думаю, что такое сердце обратилось на ложный путь... Я сам не имею на нее никаких видов... Я сделал две копии...

— Принесите, принесите, — любезно сказал Ново-сильский, решившись терпеливо ждать конца. — Да где эта рукопись, у вас?.. Вам придется проходить через комнату детей, и вы их разбудите... Не отложить ли?

— О! нет, я не разбуджу детей. Я разуюсь, — отвечал француз и побежал на цыпочках наверх; у дверей детской снял сапоги, неслышным вихрем промчался к себе и принес графу тетрадку.

Утомленный граф прочел через силу и, заметив равнодушно: «que c'est une vme bien gkveuse!», свел опять разговор на то, что его интересовало.

— Мне самому г. Милькеев не по душе; и так как я вовсе не намерен отказаться навсегда от моих родительских прав, вы поймете, что я обращаюсь к вам как к честному и серьезному педагогу...

— Я очень хорошо понимаю вас, граф, — с достоинством отвечал Баумгартен, — и благодарю за доверие. Но, прежде чем перейти к г. Милькееву, я остановлюсь еще на miss Nelly; разве дурное обращение молодой девушки с человеком, который, подобно ей, живет трудами, не вредный пример для детей? Сегодня она не пошла гулять со мной и через час пошла с Милькеевым; вчера она не хотела танцевать со мной и танцевала с г. Милькеевым...

— Конечно, это — дурной пример, — перебил граф, — но я полагаю, вы со мной согласитесь, что слабость матери к человеку, который живет в доме и учит детей, еще вреднее и заразительнее... Не правда ли? Вот вам моя рука... Все это будет между нами. И, если я соблазнюсь решительно этой покойной жизнью и вздумаю остаться здесь, вы можете быть уверены, что я никогда не расстанусь с вами; несмотря на вашу скромность, вы сами, верно, знаете себе цену и понимаете, что не легко найти такого серьезного и просвещенного наставника за тысячу рублей в год... Я уверен, что вы согласитесь принять прибавку, которую вполне заслуживают ваши познания и ваша честность.

Граф, говоря это, взял за руку удивленного француза и смотрел ему пристально в лицо.

— Вы понимаете меня? — продолжал он, — я бы желал иметь доказательства тому... что теперь только подозрение... Я бы хотел знать, до какой степени моя жена близка к г. Милькееву. *Voyez vous, je suis un homme de bonne compagnie et j'ai les mœurs faciles...* Но я не хочу быть обманутым... Вы должны все знать...

Ваша наблюдательность...

Баумгартен покраснел и встал.

— Quant a sa! — сказал он, пожимая плечами, — я не имею права ничего предполагать! Я не имею никаких доказательств... Нет! Я слишком уважаю графиню... В ее лета! Нет, я решительно даже убежден, что та слабость, на которую я жаловался — не что иное, как слабость матери к старшему сыну... Позвольте мне ручаться за это...

— Вы боитесь быть доносчиком?..

— Я не могу быть доносчиком преступления, которого не был свидетелем! — возразил француз не без гордости и протянул было руку, чтоб пожелать графу покойной ночи. Но Новосильский не подал ему руки и сказал сухо: — Прощайте. Я хочу спать, и давно пора. Возьмите же тетрадку, в которой столько поэзии...

Баумгартен печально ушел, утешая себя, впрочем, мыслью, как он завтра расскажет Nelly о своем благородстве. Обманутый в своих ожиданиях, граф заснул и проснулся рано утром с сильной болью в рубце отрезанной ноги. Он тотчас же послал в лазарет за хлоро-

формом; приложил компресс и, успокоившись немного, лег в халате на диван и послал за детьми. Маши не было: она ушла в лес с Nelly еще до чая; а трое остальных детей тотчас прибежали и сели около него на диван. Федя и Оля давно уже привыкли к нему и беспрестанно требовали рассказов про Казимуллу, про Ермолова, про казаков, грузин и чеченцев, и Федя не раз уже говорил с восторгом: «Эх, папка! Зачем ты у нас не живешь!..» В другие раза, не совещавшись еще с женою, граф ничего не отвечал ему; но теперь, когда он попросил детей переменить себе компресс с хлороформом на ногу и когда дети увидели с ужасом и жалостью толстый обрубок голый ляжки со швом на конце, он сказал им, искренно тоскуя: — Да! больно мне, дети... очень больно! и смерть мне не хочется опять на службу!

— Останься здесь, — сказала Оля, — когда ты будешь болен, я сама тебе буду класть хлороформ. Эта комната хороша; летом прохладна, зимой теплая. Будем в лес далеко за грибами ездить: мы верхами, а ты на линеечке; на реке кататься... Про войну еще расскажешь

нам, я бы сейчас в казачки пошла... Или бы в казаки... Досада такая — зачем я не мальчик!

— Благодарю Бога, что ты девочка! — отвечал граф. — Мужчинам труднее; посмотри, как меня изранили. Когда я был еще первый раз солдатом, меня взяли в плен черкесы и приковали на длинную цепь к очагу. Я нашел пилку, и, когда они уходили из сакли, я пилил все одно и то же кольцо; опилки прятал и мешал их с воском: воск станет серый — я и замажу это место. Они посмотрят на цепь и не заметят: в сакле не так-то светло было. Допилил и ушел ночью, сам не знаю куда; на другой день они с собаками меня отыскали в кустах; собаки ноги мне искусали; потом раздели меня голого и гнали домой ногайками... Потом уж откупили меня.

Дослушав этот рассказ, Федя заплакал и сказал: «мы тебя здесь оставим!» — Мы! — возразил граф, — кто это мы? Разве вы можете здесь командовать? Мать ваша не хочет, чтобы я остался.

Глядя на Федю, и Юша заплакал, а за Юшей — Оля. Потом дети переглянулись и закричали все разом: — Пойдем! Пойдем к ма-

ме! Упросим! Упросим... на колени упадем...
Пойдем...

И с этим криком дети убежали наверх и кинулись в спальню Новосильской, которая еще лежала в постеле.

XXII

Вернувшись из округа, Руднев позавтракал с дядей, который сказал ему, что из Троицкого присылали три раза, и сел на беговые дрожки. Весенний полдень был прекрасен, и Руднев ехал не спеша; на половине дороги увидел он издали Милькеева верхом.

Улыбка на лице доктора успокоила Милькеева.

— Что ж, все кончено? Прорвался нарыв? — сказал он, протягивая ему руку с лошади.

— Прорвался, душа моя, прорвался! Вы ко мне?

— К вам, еще как к вам-то!.. Скорей, скорей в Троицкое... Катерине Николавне опять дурно; судороги и спазмы в горле.

Руднев ударил лошадь, и они помчались. Милькеев второпях рассказал ему, что случи-

лось вчера.

— Граф хочет остаться в Троицком навсегда. Он испортит эту жизнь, развратит детей. Он просил детей; дети плакали и стояли на коленях перед матерью. Она не отвечала ни слова, ушла в свою комнату и с ней сделалось дурно.

Судороги кончились в то время, как приехал Руднев; все уже в доме привыкли, что надо делать и давать в таком случае. И Катерина Николаевна заснула на полчаса.

Милькеев отвел Руднева к себе и запер дверь.

— Да, да, просил детей... Вы знаете ее любовь к детям. К счастью еще, пока только Федя, Юша и Оля упали перед ней на колени и просили, Маша не говорила еще ничего... Тем детям можно сказать: «вы не понимаете еще ничего!», а Маше надо говорить резонно. Что должна сказать мать? «Отец твой с виду только добродушен, но он развратен, он может быть жесток, им и влияние его будет пагубно». Разве она может это сказать?.. Она уже поколебалась; она начинает думать, что это ее долг.

— Вы можете отговорить детей!

— Нельзя, нельзя, друг мой... и без того... граф думает Бог знает что про мое значение в доме... Вся моя надежда на вас... Возьмите на себя. Вы — человек посторонний, непричастный ничему... Скажите прямо Маше, что вы думаете про графа.

— Такая страшная ответственность! — сказал Руднев, — позорить отца... А если его раскаяние искренно?..

— А если наша робость стубит эту благородную жизнь?..

— Вам бы лучше...

— Ну, как хотите... Я беру на себя, — сухо возразил Милькеев.

— Нет, нет, не сердитесь. Дайте мне подумать. Я не отказываюсь. Мне, конечно, ловчее. Дайте, я подумаю...

— Не думайте... Умоляю вас! Для меня, ради Бога, ради нашей дружбы. Скажите прямо... Разве есть что верное на свете? Разве верна ваша медицина? Однако вы полагаетесь на нее и даете самые сильные яды... Отчего? Там никто не судья, кроме другого доктора, который не знает, что вы тут делаете, а

здесь судья всякий?.. Что говорит вам сердце — я прав?.. Избавьте меня от объяснения с Машей...

Руднев тотчас же пошел искать Машу и нашел ее на реке, в лодке, за островом. Она грустила и, тихо шевеля веслом, плавала по ту сторону беседки.

— А, это вы, Василек? — сказала она, увидав Руднева на острове, — не хотите ли покататься со мной?..

Руднев отвечал, что он нарочно для этого искал ее, и сел в лодку.

— Вы что-то грустите, барышня, — сказал он, не зная чем начать.

— Нет, я не морально, я как-то физически грущу.

— Вот как! Так это от весны, барышня: дети и очень молодые люди тоскуют всегда весною.

— Нет, Василек, я всегда буду грустить.

— Вы, Марья Дмитриевна, это отчего? У вас все есть: собой вы будете прелесть, добры, с душой, богаты будете, мать у вас такая, что редко найдешь... Ее умом и благодушием не только дом, да и уезд полон... Вот и я, с ее лег-

кой руки, веселее стал жить, а вы грустить вздумали! Посмотрите, за какого еще гусара или дипломата первой руки выйдете!..

— Я, Василек, замуж никогда не пойду, а я буду жить одна или с матерью... Нет, даже с матерью жить не буду вместе... А где-нибудь недалеко от нее. Выпрошу у нее земли, построю дом в лесу и буду жить одна-одиношенька... Буду жить по Евангелию... Бедным помогать... Пусть другие веселятся.

— А вы?

— У меня свое веселье будет. Буду одна ездить верхом к матери, к братьям...

— К брату... У вас один Федя.

— А Юша? Разве он не брат мне?.. Я его все равно люблю... Еще больше, кажется, чем Федю... Федя всегда будет счастлив... А Юша — слабый, больной мальчик и беднее нас.

— Отчего же, барышня, замуж не хотите?

— Что за счастье? Я не понимаю.. Вот пишут об любви... Мамка теперь не дает мне уж третий год тех книг читать, которые прежде давала. . А я все помню... Вот Печорин, например... Что в нем хорошего? Как можно любить такого человека? Он никого не жалеет... Если

бы у него была жена, он и ее бы не жалел!..

— Печорин человек благородный все-таки и сильный. Женщины особенно таких любят. Да нынче таких чистых Печориных и нет. Если бы Печорин был жив теперь, ему было бы лет сорок пять, и он был бы полезен, например, хоть для крестьян. Поверьте, что он один из первых был бы за свободу крестьян и все бы для них делал... Ну, да Бог с ним... Отчего вы грустите-то, скучаете? Право, это от весны.

— Может быть. Хотите, Василек, я вам по правде скажу? Или уж нет...

И Маша опустила лицо к воде.

«Что за глаза, что за воздушный стан», — думал Руднев, с нежностью старшего брата следя за всеми ее движениями.

— Ну, скажите, барышня!

— Вы скажете мамке... Я сказала раз одну вещь Васе, а он передал мамке.

— Вася — легкомысленный человек, а я не скажу маме ни слова... Я сам, барышня, скрытен... Да уж, хотите, я вас избавлю... Я знаю, о чем вы грустите...

— Не говорите, не говорите, — сказала Ма-

ша, вспыхнув.

— Нет, отчего же! Смотрите-ка! Вы совсем на середину реки въехали.

С этим словом он повернул руль; и Маша молча начала грести к берегу.

— Я скажу вам, отчего вы грустите... Вам жаль отца .. Маша молчала и продолжала править к берегу.

— Вам жаль отца, — продолжал Руднев, — вы видите, что ему хочется остаться здесь, а надо ехать, служить; рана болит... Не правда ли?

Молча Маша слушала Руднева; голос начал изменять ему; однако он продолжал: — Вам жаль отца; жаль, что он должен ехать на службу, что он усталый человек... Только вот что, барышня, я вас от души полюбил и привязан к вашей семье; не сердитесь на меня — не жалейте, то есть, жалейте его, это — чувство доброе!.. Только не потакайте ему ни в чем.

— Ну, ну! — сказала Маша, не глядя на него, и слезы полились у нее из глаз.

— Не плачьте... Ах, барышня, барышня! Знаю я ваше доброе сердце! Да, милая вы моя,

нельзя!.. Ваш отец — человек хитрый. Уж бра-
ните как знаете меня! А это так. Вы не знаете
цены той жизни, которая вас окружает... Ну,
поверьте мне! А этакую жизнь надо беречь,
хранить как святыню... Вот вы и грустите-то
от избытка счастья... Ведь хорошо, барышня,
посмотреть на хорошую картину, на образ Бо-
жией Матери, красивый, хорошо освещен-
ный... Такая жизнь у вас здесь. А отец ваш ис-
портит ее, несмотря на то, что он добродушен
в обращении... Вот вы Печорина не хвалите...
А Печорин того бы не делал, что он делал и
способен был сделать!.. Уж простите, что я
вам говорю. Но что это правда — в этом я вам
божусь.

Маша причалила к берегу; по милому ли-
цее бежали ручьи слез; она вышла из лодки
и, махая рукою Рудневу, чтобы он не следовал
за ней, бросилась бежать в лес и исчезла за
кустами. Руднев гнался за ней и звал ее: —
Маша, голубушка, барышня милая!.., что с ва-
ми... что с вами!..

Наконец она остановилась, посмотрела на
него как нельзя печальнее и сказала том-
но: — Оставьте меня, Василек!.. Я хочу быть

одна, подите... Я ворочусь к обеду... Одной легче...

— Ну, как хотите, — отвечал Руднев и ушел домой, не зная, к добру или ко злу поведет его вмешательство.

До обеда бродила Маша в лесу и, вернувшись, передала Nelly свой разговор с Рудневым и с горьким плачем спросила у нее, что ей делать.

Nelly утешала ее как могла и придумала призвать Федю и Олю и сказать им от себя, чтобы больше мать не просили, что это не их дело, а старших.

— Я, Nelly, сама знаю, — сказала Маша, — что он сердит... Я помню, как он на всех кричал, как он дяденьку Трофима-дворецкого за волосы драл... Я видела сама седые волосы на полу! Зачем это так надо! Nelly! Зачем это так надо!

— Marie, мой ангел, — отвечала Nelly, — без горя жизнь не проходит. Всякий должен быть на это готов! Я от себя скажу детям... Уедет ваш отец, хоть и жалко тебе, и тогда опять наша жизнь пойдет по-старому!..

Призвали Федю и Олю и сказали им так,

как собирались, что это не их дело.

— Как не наше дело? — возразила Оля сердито своей наставнице, — разве ты своего отца не жалеешь? Небось жалеешь и другим дай жалеть! Ишь ты какая!

— Не видала ты его ноги, — сказал Федя и опять заплакал.

Nelly и Маша обе были бледны от волнения. Маша молчала, а Nelly разными уловками постаралась убедить детей, чтобы они больше не упоминали об этом; что отец, может быть, шутит; что он хотел только испытать их, и просила их не говорить ни слова Юше об этом разговоре.

Но Юша, уже обиженный тем, что Федя и Оля пошли на какое-то секретное совещание, а его не пригласили, разгоревшись любопытством и завистью, так неотступно просил Федю, что Федя все ему передал.

— Ах ты немка, француженка проклятая! — воскликнул Юша, сверкая глазами. — Пойду, все скажу отцу!

Пошел и сказал; а Федя хотел было притаться, но откровенная душа его страдала, и он, с своей стороны, вернулся к Nelly и Маше

и признался им в своей слабости.

Обе молодые девушки с беспокойством ожидали, что из этого выйдет; однако граф пришел в залу очень веселый и, пошутивши с детьми, попросил у жены коляску, чтобы съездить к Самбикину. Но веселость эта была не искренняя.

Когда Юша передал ему, что Маша и особенно Nelly уговаривали Федю и Олю не хлопотать за него, отец отвечал ему, что это очень хорошо, что он в самом деле хотел только испытать их любовь.

— Я думаю, — прибавил он, — это Милькеев подал этот совет Nelly? Милькеев дружен с нею и очень умный человек. Я бы желал, чтобы он долго был вашим учителем.

— Да, он с девчонками этими большой приятель, — отвечал Юша. — Он жених Маше.

— Как? жених Маше? Это вы сами с Федей сочинили или ты слышал что-нибудь?

— Мы его так зовем и при мамке и при всех, — сказал Юша, — а мамка сказала раз: «Что ж, я бы отдала за Васю дочь».

— Вот как! Она его очень любит?

— У, у! беда! Всегда его Васей зовет, жить без него не может.

— Вот как! Я не слышал! Может быть, и целует его даже.

— Ну, нет! На Пасхе разве; да раз в лоб поцаловала прошлого года; мы с капитаном с балкона в окно видели.

— С каким капитаном?

— Капитан Балагуев. Солдафон-идиот. Он здесь будет на днях. Как узнает, где будет обед большой или ужин, сейчас притащится... Тут как тут! Васю Милькеева ненавидит — страх!

— За что?

— Не любит: почему я знаю, за что!

— Ну, ступай, — сказал граф, целуя сына, — если ты никому не будешь болтать о том, что я у тебя спрашивал, я тебе этот маленький пистолет подарю.

Юша просил пистолет сейчас же; отец уступил, и Юша убежал хвастаться пистолетом к Феде, но не сказал ему ни слова о своем разговоре с отцом.

У Самбикина граф тоже расспрашивал о троицкой жизни, делал намеки на жену и Милькеева; но Самбикин не догадался, свел

речь на Любашу и по старому знакомству жаловался, подобно Баумгартену, на Милькеева. Но-восильский еще больше раздражил его приятельскими насмешками и заехал нарочно с визитом в Чемоданово, чтобы видеть Любашу.

Авдотья Андреевна приняла его, конечно, как нельзя лучше; но когда Новосильский упомянул о вечере, она отвечала: — Не знаю, граф, не знаю! Аша, моя дочь, больна; я стара; отец Любаши, сын мой, Максим Петрович, тоже нездоров... Не ручаюсь, хотя нам внимание ваше очень лестно и милую графиню мы все очень любим.

Возвратившись в Троицкое и рассказывая при Милькееве о Самбикиных и Чемоданове, Новосильский расхвалил Любашу.

— Жаль, если она не будет! — сказал он. — Бедный Самбикин хотел, кажется, на ней жениться... но вы, m-er Милькеев, я вижу, решительно крушитель здешних сердец.

— Последний из ловеласов! — прибавил он и затрясся всем толстым телом от смеха.

— Разумеется, чтобы быть ловеласом вполне из первых, надо быть больше подлецом,

чем я, — отвечал Милькеев, краснея.

Граф тоже покраснел, и оба они вышли в разные двери. Милькеев тотчас же уехал к Лихачеву; а Новосильский, взбешенный его ответом и не сомневаясь, что он знает все его прошедшее, сторяча хотел было переменить тактику и пострацать жену, что он опять увезет детей или возьмет себе гражданскую должность в их губернии и не даст ей покоя. Но потом остыл, вспомнив, что этим он все-таки не добьется того правильного, барского житья, которое его так соблазняло в Троицком. Гнев свой он сорвал на миль-кеевском друге, Рудневе: увидав, что доктор в зале держит у себя на коленях Олю, Новосильский мимоходом закричал на нее: «Сойди, Оля! Что ты у доктора на коленях сидишь! Это грязно. Надо знать, у кого сидеть!» Все дети, Баумгартен, Nelly и Руднев с удивлением переглянулись.

В Чемоданове бабушка и тетка решилась не пускать Любашу на вечер. Еще до визита Новосильского у них был разговор об этом с слугой, который накануне провожал Любашу к Полине.

— Иринашка! — сказала Авдотья Андреевна, — кто был вчера у Протопоповых?

Иринашка сказал, что лекарь Руднев был.

— Что же он делал?

— С барышней сидели. Барышня на фортепьянах играли; а доктор около них сидели. В саду гуляли, на качелях качались.

— Все одни? Полина не ходила с ними?

— Не ходили.

Иринашку отпустили, и Авдотья Андреевна сказала дочери: — Одно из двух — или сам Руднев за ней волочится, или записки от Милькеева ей передает. Пелагея-то Васильевна с какой стати в сводни записалась? Видно, Максим правду про нее говорит, что она брата холостяком уморить хочет!

— Не надо ее и к Полине пускать, — сказала Анна Михайловна. — А в Троицкое ни за какие миллионы!

Но Максим Петрович, который стал опять мрачен и сердит с того самого времени, как последний раз объяснился с Рудневым, узнал от горничных, что Иринашка доносит все барыне, дал Иринашке несколько добрых оплеух, показал сестре кулак, а матери объявил,

что сам повезет дочь в Троицкое с утра.

Авдотья Андреевна сразу не противоречила ему, но накануне назначенного дня объявила, что у нее две лошади нездоровы. Максим Петрович тотчас же написал записку к Полине, и Полина прислала ему фаэтон четверней, извиняясь, что не карету — потому что в карете она поедет сама.

Что было делать старухам? Сердить еще больше Максима Петровича было опасно в такое время; призвали Лю-башу и советовали ей отговорить отца.

— Он там скандал, ужасный скандал сделает! ты увидишь! — воскликнула тетка. — Он теперь не в своем уме...

— Он меня не слушает, — отвечала Лю-баша, — что мне делать, я не знаю!

— Не финти! — сказала бабушка, — сама умираешь по Троицком!., я очень буду рада, как он тебя там осрамит... Убирайся с глаз моих поскорей...

Дорогой Любаша от радости беспрестанно заговаривала с отцом; но старик молча, казалось, обдумывал что-то. Во все время он сделал только один вопрос: «А что, старый Руд-

нев — Владимирф Алексеич, бывает на этих вечерах или нет?» — Всегда, — отвечала Любаша.

— Гм... хорошо! — сказал отец, и по лицу пробежал минутный блеск.

— На что вам? — спросила дочь.

— Так, матушка. Давно не видались, — отвечал Максим Петрович и до самого Троицкого не сказал уже ни слова.

XXIII

В Троицком праздновали день рождения Феде. Любаша с утра приехала с отцом. Другие гости съехались к обеду.

Снег почти стаял; лежал еще только в тени за деревьями и в глубоких ямах. В саду расцвело множество голубых подснежников.

Перед обедом Любаша, Милькеев, дети и Nelly поехали верхом, мимо реки и больницы. Nelly ехала впереди с Машей и берейтором; за ними дети; Милькеев остался сзади с Любашей. Баумгартен был покоен: он видел, что Милькеев занялся Любашей, и остался помогать Катерине Николаевне в приготовлениях. Руднев был занят с больными. С каким насла-

ждением работал он в этот день!.. Его ампутированный шел отлично; две женщины с застарелыми сыпями, которым он в первый раз решился дать мышьяку, тоже скоро должны были выйти; одна чахоточная была слаба, но против этого он не мог уже ничего, и совесть его была покойна. Он не мог ехать кататься потому, что с утра приходящих собралось много и едва к обеду он надеялся с ними управиться... Он перевязывал одну разрубленную топором ногу, когда кавалькада проехала мимо окон больницы... С сладким вздохом взглянул он туда и опять обратился к крестьянину, который грустно смотрел на свою окровавленную ступню. Усталый и бодрый, вышел он на воздух из больницы...

Милькеев поднимался по лестнице из цветника к нему навстречу.

Руднев остановился перед ним и тихо произнес, поднимая руки к небу: — Как я счастлив, душа моя, ах! как я счастлив! Ну, не думал, никогда не думал!.. Спасибо вам, спасибо...

— За что? — с удивлением спросил Милькеев.

— Помните стихи: Кинься в море, бросься смело! Весл в замену две руки.

— Помню.

— Понимаете теперь?..

— Понимаю.

— Ну, и довольно. Смотрите, весна везде... одуванчики желтеют... подснежники цветут... Я думаю, подснежники будут идти к Любаше. Она ведь будет в голубом платье сегодня...

— Да! — отвечал рассеянно Милькеев, — только они скоро завянут. Пойдемте, пожалуйста, соберем и сделаем ей венок. Оля и Маша сплетут...

Руднев спросил у него, отчего он так грустен.

— От многого! — сказал Милькеев. — Мне бы хотелось, чтоб случилось что-нибудь необыкновенное сегодня; я сам не свой!

Обед был шумный; играла музыка; утренняя грусть Милькеева прошла и сменилась раздражительной веселостью. Любаша, как другу, открылась ему, что давно любит Руднева, но что и его никогда не забудет, дала ему тайком поцеловать руку, и сама пригласила его на мазурку.

Милькеев признался ей, что на днях уедет, но не сказал куда и зачем.

После обеда Любаша, немножко разгоряченная длинным обедом, упоенная весной, музыкой, видом зелени, которая глядела во все окна и двери, увела своего жениха в беседку, покаялась ему в том, что дала Милькееву поцаловать руку, обнимала и целовала его долго и наконец *сказала*: — Ты видишь, как я тебя люблю! Позволь мне сегодня пожить, как говорит Милькеев... Ты мало танцуешь... а мне хочется веселиться... Позволь, я тебя прошу...

— Живи, живи! мое божество! — отвечал Руднев. — Живи! только изредка взгляни на меня издали, и тем я буду доволен!

Уже танцы были в полном разгаре; граф и графиня сидели рядом в кресле, как согласные супруги, и смотрели. Новосильский старался быть любезным, но не мог; он с нетерпением ждал случая остаться наедине с женою и с негодованием осмеять ее лицемерие. Теперь он был убежден, что не его пороки мешают ему остаться в Троицком, а ее собственные слабости. После обеда он отыскал того ка-

питана Балагуева, о котором говорил ему Юша, взял его за руку и сказал ему: «Что вы так редко бываете здесь? Я люблю всех военных, как старый товарищ!» Потом расспрашивал о его житье-бытье, о походах, о том, как и за что он был произведен в офицеры, и капитан от восторга не знал, куда стать и сесть; грубо смеялся, садился на конец стула, вставал, опять садился и, наконец, когда граф навел его на троицкую жизнь и Милькеева, капитан сказал: — Прежде их сиятельство, Катерина Николавна, меня любили. Я стоял на деревне, в дом меня взяли; Олиньку я учил арифметике и закону Божию. А после уж!..

Капитан махнул рукой.

— Что же вы?., говорите, — сказал Новосильский, — после вы поссорились с моей женой?

— Ссориться с Катериной Николавной я не могу-с; а наговорили на меня им — это так! Нянюшка, эта ехиднинская душа, Анна Петровна передала, будто я на учителей детям наговариваю. А вы, ваше сиятельство, посудите сами, разве хорошо видеть, как Милькеев-про-хвост, прости Господи! какой-нибудь,

да Руднев-живодер графских деточек учат стерву-падаль трогать... Вот хоть бы Юша, положим, хоть и незаконнорожденный, а все-таки графский сын. — Тацит, бедняжка, на ремешке коровий череп: «вот тебе, говорит, Вася!» С доктором вместе начнут поросят при барышнях потрошить. Не вытерпел я, признаться, и сказал детям, что доктора никогда в царствии небесном не будут! Ну, и барышням вашим в акушерки не резон идти... И Миль-кеева таки ругнул, а Катерина Николавна на меня за это взъелись...

Новосильский увел его в свою комнату, угостил вином и, продолжая разговор, спросил: — Жена моя, кажется, слабенька к Миль-кееву? Кабы я здесь, капитан, остался да выгнал бы этого негодяя... я бы вас сделал своим управляющим. Вы, должно быть, человек умный, честный... Как вы думаете насчет жениной слабости к Милькееву?

— Что уж и говорить! — отвечал капитан, улыбаясь и отвертываясь стыдливо от графа.

— А что?

— Все знают. По ночам вдвоем чуть не до рассвету сидят; с балкона я сам видел, как она

обнималась, да и прошлого года в лесу сраму не мало было. Ездили мы в монастырь все и в лесу ночевали... Так графиня всю ночь не спали с ним, по роще гуляли в одной блузе...

— При детях, при людях? — спросил с удивлением Новосильский.

Капитан опять махнул рукой. Граф подарил ему пять фунтов лучшего турецкого табаку, черкесский кинжал и довольно новый вицмундир для перешивки и пошел в залу сидеть около жены и ждать удобной минуты для объяснения. Между тем, Максим Петрович возобновил знакомство с старым Рудневым и сказал ему, глядя на танцующих: «Молодежь наша пляшет... вон Федор Новосильский какого трепака погибает! Лихой мальчик будет! А ваш не так-то охоч».

— Серьезен. Не по годам серьезен, — отвечал Влади-мир Алексеевич. — Любовь Максимовна зато танцорка. А сколько будет им лет?

— Любе? Девятнадцати еще нет, — отвечал Максим Петрович.

— Ну, это только начало живота! — с радостью воскликнул Владимир Алексеевич. — Это только начало живота... Одно начало живота!

Максим Петрович взял его под руку и увел на заднюю террасу.

— Пусть их пляшут; а мы здесь посидим в холодке.

— Посидим у моря да подождем погодки, — намекнул хитрый Руднев, который все уже знал от племянника.

— Да что ждатель-то! — возразил Максим Петрович. — Эка невидаль ждатель... А вот, как бы не ждавши сделать дело?

— Да! как бы не ждавши сделать его? — повторил Владимир Алексеевич.

— Небось рублей восемьсот имеет Вася-то ваш в год?

— Нет, — отвечал старый Руднев, — до шестисот доходит и даже может при случае переступить за эту черту. Однако надо ждать улучшения от освобождения крестьян.

— Да! ведь у вас земли-то в Деревягине не так-то мало?

— Не по душам, не по душам, — отвечал Владимир Алексеевич, — если бы капиталец небольшой — можно бы хорошо пустить в обработку... и крестьян все-таки числом тридцать три души по последней ревизии...

— Ну! крестьяне-то отойдут скоро к дьяволу! — заметил Максим Петрович.

— Положим, так; но оброк, по всем вероятностям, они будут платить еще долго. Поэтому — они еще пока мерило!

— И то! и то! Я не подумал об этом.

— Как же! они еще мерило! — весело затвердил Руднев, — все-таки еще мерило... Мерило!

Оба помолчали, повздыхали, послушали музыку и шум фонтанов в темном саду, и, наконец, Владимир Алексеевич сказал: — Признаюсь вам, я крайне жду этого переворота... без этого переворота мне неудобно. Вася крестьянами владеть не может. А при этой реформе я ему все отдам. До этой реформы одна моя надежда — на брак...

— Что ж! — отвечал отец Любаши. — Брак — так брак... Попробуем счастья, коли Люба моя ему по душе.

— По душе! — с улыбкой воскликнул дядя Руднева, — я давно говорю: наш доктор сердце потерял! Ловите, девушки, ловите!

В эту минуту на террасу вышли: Новосильский, князь Самбикин, младший Лихачев и

Милькеев. Тяжело скрипя костылями, Новосильский шел впереди всех и говорил громко и сердито: — Где это видано?! Что это такое за кадрили-экстра?! В каком это обществе делают?

— В уездном нашем городе на Святках пешотные офицеры так делали... И я у них выучился. Спросите у капитана Балагуева, — отвечал Милькеев с улыбкой.

— Хороша школа вежливости и приличий! — воскликнул граф.

— Хорошее — везде хорошо, — отвечал Милькеев.

— Это грубо! это низко!.. — дрожащим голосом сказал Самбикин.

— Князь слишком мягок и добр, — прибавил граф, — в другой раз вы можете дорого поплатиться за это, мсьё Милькеев.

— Я готов платить и теперь — и вам, и господину Самбикину! — отвечал Милькеев.

— Я не хочу заводить истории в доме, который уважаю! — сказал Самбикин.

— Это очень похоже на то, что всей казенной капусты нельзя в солдатские щи класть оттого, что будет слишком густо! — возразил

Милькеев.

Лихачев схватил его сзади за локоть, чтобы удержать, но было уже поздно.

Раздраженный холодностью Любаши, возбужденный дружескими насмешками и подстреканиями графа, Самбикин вышел из себя.

— Повторите... повторите, — закричал он.

— Тише! — сказал Лихачев, — все услышат. Зачем повторять?.. Это он так только...

— Нет! нет! — твердил Самбикин. — Нет, я этого не спущу... Ни за что! Нет! Ни за что!

Владимир Алексеевич взял за руку Лихачева и спросил у него тихо, в чем дело.

— Из-за Любаши вышло, — отвечал Лихачов. — Милькееву непременно хотелось танцевать с ней кадрили, а все были разобраны; вместо третьей он и вздумал эту экстру... Все мы согласились... А об князе и забыли; забыли его предупредить. Эту самую кадрили он должен был танцевать с Любашей же. Вот и все! пустяки, и надо это все покончить.

— Надо! — сказал Максим Петрович, которого Лихачов и не заметил. — Пойду, Катерине Николаевне все скажу.

Пошел и сказал. Катерина Николаевна ста-

ралась обратить все это в шутку, призвала молодых людей, уговаривала их, сказала, что она, как старая комендантша в «Капитанской дочке», велит девке спрятать их оружие в чулан; потребовала другую такую же кадрили-экстра, чтобы вознаградить Самбикина; наедине стыдила Милькеева за то, что он связался с таким ничтожным человеком, и умоляла его извиниться с высоты своего величия.

Милькеев вывел опять Новосильского и Самбикина на террасу и сказал: — Я думаю, князь, не бросить ли нам все это дело? Катерина Николаевна беспокоится. Обидеть я вас не желал... Я просто забыл об вас — вот вся моя вина!

Но граф перед этим уже успел еще подлить яду в душу Самбикина, не надеясь на его собственную стойкость.

— Ему надо дать добрый урок! *Quelle saignée!* Экстра-кадриль... Где и когда это видано? Хороши у вас кавалеры! Экстра-кадриль!.. Тошно произнести даже! Какая наглая, смелая гадина!

И Самбикин, как ни хотелось ему помириться, отвечал, однако, Милькееву, что он не

забыл ни его слов, ни его поведения и посчитается с ним на следующее же утро.

— Как хотите! Я очень рад! — отвечал Милькеев и предупредил Руднева и младшего Лихачева, чтобы они не ложились спать после танцев, а были бы готовы ехать на рассвете в лес.

— А если он сдуру да убьет тебя — спросил Лихачев.

— Вот вздор! — отвечал Милькеев. — Я еще ничего не успел сделать — а он убьет меня? Никогда не поверю!

— А если вы его убьете — не жалко разве? — спросил Руднев.

— Если он будет убит или ранен — ему же лучше. Хоть немножко интереснее станет; таким людям остается один ресурс — быть жертвой.

— Удобная теория, — сказал Руднев и пошел заранее тайком приготовить инструменты и корпию.

— Что ж, помирились вы? — спросила Катерина Николаевна после ужина у Милькеева.

— Помирились, — отвечал он.

— И слава Богу! — сказала Новосильская. — А меня музыка эта навела на математические расчеты. Сидела я, сидела и рассчитывала, буду ли я в средствах положить на имя Юши тысяч десять серебром. Хочу предложить завтра мужу, что я сделаю это для его сына и даже больше, если можно, только чтобы он уехал отсюда. Он его очень любит.

— И это, верно, **еще очень** трогает? — **спросил** Милькеев.

Катерина Николаевна улыбнулась и покраснела.

— Один Бог знает, как мне самой его жалко... Сколько раз я готова была согласиться... Спасибо вам, что вы поддержали меня... Дайте руку... Вы и доктор поддержали меня. Мне Nelly все сказала. А я начала уж таять... Правда, что сахар-медович! Он уже успел Федю выучить какую-то грязную песенку петь. Верно, он согласится на мое предложение. Уедет, и я опять отдохну!

— Скоро-скоро мы все отдохнем! — сказал Милькеев и поцаловал ее руку.

Милькеев с князем стрелялись рано утром в большом лесу. Они выстрелили почти разом оба, и оба были ранены: Милькеев в правую руку, а Самбикин в грудь. Когда князь упал, Лихачев и Руднев подняли его, позвали коляску и повезли его скорей прямо в лазарет, чтобы иметь скорей все под рукою и не напугать никого в доме. Новосильский поспешил за ними в линейке, и Милькеева все забыли.

Оставшись один, он отыскал знакомое болотцо, обмыл рану холодной водой и дрожащей рукой и зубами перевязал себе больное место платком. Ему казалось, что он слышал под пальцами пулю неглубоко в теле... Он посмотрел с благодарностью на небо и пошел домой. На крыльце он никого не встретил, в залу не хотел идти и, запершись у себя в комнате, до тех пор тер себе больную руку, пока пуля выпала сама. Немного погодя, постучался фельдшер и сказал, что доктор прислал перевязать его.

— Что князь? — спросил Милькеев.

Фельдшер отвечал, что «трудны, но Василий Владимирович ласкают себя надеждой»

на выздоровление».

Вслед за фельдшером и сам Руднев пришел усталый, бледный и, обнявши раненого друга, сказал ему: — Как подумаю, что вы живы, не знаю — верить ли или нет от радости! Вы — вертопрах, и понять не в силах, как я вами дорожу!

За Рудневым пришел младший Лихачев, потом ворвались дети, пришла почти бегом сама Новосильская. Они все только что узнали, только что проснулись... все обнимали Милькеева, поздравляли, кричали, бранили, ласкали его... Но он только теперь почувствовал усталость от бессонной ночи и сильных ощущений, просил всех уйти, заперся и заснул.

Руднев поспешил опять к Самбикину, совещаясь дорогой с Катериной Николаевной и Новосильским, как бы его поспокойнее перенести в дом. Самбикин просился к матери или, по крайней мере, к сестре, которая ближе; но Руднев решительно восстал против этого. И князя перенесли осторожно в нижний этаж. Часа через два приехали сестра его и зять, а к обеду и сама княгиня.

Княгиня, как вошла, так и упала со всех ног у его кровати. Напрасно Новосильский и Руднев уговаривали ее, успокоивали. Она плакала, называя его самыми нежными именами.

Наконец Руднев сказал ей, что вопли ее могут усилить страдания сына и даже опасны для него.

Это отрезвило княгиню, и она вышла, утирая слезы, в соседнюю комнату.

— Будет он жив, будет он жив, доктор? — твердила она, умоляя Руднева. — Все вам отдам, не надо ли за другим послать?..

— Князь сам не желает другого, — отвечал Руднев, — кроме Воробьева, поблизости нет никого; а на скрытность Воробьева нельзя надеяться. Князь не хочет ни себя, ни других подвергать опасности.

Княгиня наконец успокоилась и пошла наверх к Катерине Николаевне, которая не могла удержаться от слез при виде убитой матери; франтиха-старуха была растрепана, и глаза ее опухли. Она обняла Новосильскую и благодарилась за уход...

Катерина Николаевна усадила ее, успокои-

ла и начала уверять, что Руднев ручается за рану, что муж ее — знаток в этом деле и не боится за ее сына... рассказала сначала, по желанию княгини, самые мелкие обстоятельства, как вышла ссора, старалась оставить Любашу в стороне, но это было невозможно, и княгиня начала бранить ее.

— С этих лет девушка, с этих лет девушка!..

Вдруг растворилась дверь с балкона, и Любаша вошла. Лицо ее было не так румяно, как всегда... За нею шла Nelly, тоже угрюмая и усталая.

Едва успели они поклониться, как княгиня, взглядевшись пристально в Любашу, вскочила и, приседая, закричала: — А, это вы-с, это вы-с... Благодарю, благодарю, милая, благодарю... Дайте, я вам в ножки поклонюсь за то удовольствие, которое вы мне доставили на старость! Мерсі, мерсі, моя милая.

Старуха опять приседала и делала ручкой Любаше...

— Я, кажется, ничем тут не виновата... Василий Николаич звал меня на кадрили...

— Ну-с, ну-с... милая, говорите...

Княгиня прищурилась и ядовито смотрела

на смущенную девушку.

Катерина Николаевна давала Любаше знаки, чтобы она удалилась, махая ей рукой, но Любаше хотелось оправдаться.

— Василий Николаич, — продолжала она...

— Кто это Василий Николаич? — спросила княгиня.

— Это наш Милькеев, — сказала Катерина Николаевна.

— А! Господин учитель, — значительно склоняясь перед этим именем, промолвила княгиня. — После этого я молчу! Если Василий Николаич вас пригласил, что же после этого остается делать?

Княгиня посмотрела еще раз на Любашу пристально и прибавила: — Стыдитесь, стыдитесь, Любовь Максимовна!..

— Любовь Максимовна ни в чем не виновата, — заметила Катерина Николаевна. — Уж вы, княгиня, и без того огорчены...

— Не буду, Катерина Николаевна! не буду плакать я!.. Извольте, не буду! Вам легко, не ваш сын...

В эту минуту в дверях балкона показалась седая борода Максима Петровича. Он искал

дочь, чтобы звать ее домой. Он тоже уже знал об дуэли.

— А-а! — воскликнул он, увидав княгиню, — это вы, ваше сиятельство!

Княгиня гордо и холодно поклонилась.

— Вы никак мою Любовь грызете тут, — продолжал старик, — ну! это дело! Не проказь. Я вчера видел проказы ее.

— Зачем же вы допустили вашу дочь до этого?

— Зачем? Молода. Вот зачем — пусть побалуется. Я уважаю вашу грусть, княгиня, вполне уважаю. Только Любу-то оставьте. Пусть балуется.

Катерина Николаевна не знала, что сделать, чтобы предупредить как-нибудь ссору между огорченной матерью и полоумным отцом.

— Баловство это убьет сына моего! — воскликнула княгиня, — слышите вы — сумасшедший вы изверг! Зачем она прежде кокетничала с ним, сидела по садам, улыбалась, кривлялась... Девка! И кто этот Милькеев... Что это такое — чтобы предпочесть его моему сыну... Кто это? Что это?

— Вы ошибаетесь, ваше сиятельство! Конечно, вы — мать... А я — отец... вот и все.

Княгиня продолжала: — Не надо было обманывать человека! Платить злом за добро. За мое расположение, за мою вежливость...

— Бог с ним с вашим расположением, княгиня, — перебил Максим Петрович. — И вежливости мы от вас никакой особенной не видали. Все гневаетесь.

— Напрасно я с вами говорю, Максим Петрович: вы — не человек. Вы, сударыня, Любовь Максимовна, вы зачем не пожалели меня?.. И что это, что это за фигура г. Милькеев!

— Позвольте, ваше сиятельство, — настаивал старик, — позвольте: вы ошибаетесь! Мимо Сидора да в стену. Нам с Любовью и Милькеев и ваш сын нипочем. Мы их и знать не хотим! У нас есть другой жених. Вот Катерина Николавна поможет нам свадебку сыграть. Все заживем! Я в Чемоданово ни ногой, Анна Михайловна скоро умрет; ваш Александр Васильич поправится. Уж мой зять об нем похлопочет. На что моя болезнь застарелая — и то пособил! Ведь меня в сумасшедший дом хотели отправить! Ей-Богу!

Он засмеялся и взглянул на всех. Все молчали. Люба-ша стояла спиной ко всем, припав лицом к окну; старик медленно продолжал: — Что ж! По-моему, это вовсе недурно! Человек он молодой, солидный, служит хорошо, доброй души, доктор хороший. Своего состояния нет; да вот у дяди, авось, земля очистится: он ему всю тогда припишет. 200 десятин, да служба, да практика, да за ней, может быть, бабушка и даст что-нибудь — будут жить хорошо. И собой он, по-моему, недурен. Женоподобен, это правда! да не всем же и силачами быть. Всякая женщина знает, кто ей как приходится! Читал я раз в книжке прошлого года... Так, оборванная книжка валялась... Два грека были: один был Менелай, а другой Парис... Менелай было Париса раз ловко вздул; сильнее был — куда! А жена Менелая, однако, с Парисом ушла. Земли, я говорю, десятин 200 у него будет. Владим!-ру Алексеичу некому их отдать. Лишь бы эманципации дожждаться. Что ж, это правда, человек должен быть свободен. Теперь взять хоть бы меня. Я вчера пошел против матери, приехал сюда; а будь я не сын ей, а крепостной — она меня бы

высекла. Княгиня и подобрее матушки, да тоже в застенок их посылает. Да что! Я-то мало их луцил? И не говорите! Луцишь, луцишь — ажио самому тошно станет!

Говоря это, он заложил руки за спину и, став перед Катериной Николаевной, загородил собой княгиню; Ново-сильская с упреком головой указала ему в ту сторону.

Старик обернулся к бедной матери, которая, склонясь на ручку кресел, кротко плакала, и сказал ей: — Ну, Марья Никитишна! Не убивайтесь. Сын ваш — человек еще свежий; вынесет рану. Эх! у кого, Марья Никитишна, нет змеи в душе! Живешь-живешь — как в комнате душной бродишь! В окнах сад виден хороший. Увидишь садик из окна, и хорошо будто; шевельнулся — опять жолтый простенок... Ну! а за простенком — опять весело! — прибавил он, вдруг бодро возвышая голос.

Никто ему не отвечал; он походил, повздыхал, взял фуражку и предложил дочери ехать домой... Люба даже не простилась с своим женихом; и если бы у нее спросили теперь, кого она любит: Руднева, который так предан ей, или князя, который, быть может, отдал

жизнь за нее — она бы не знала, что сказать: и того жаль, и того жаль. И тот добр, и тот мил! И князь на краю гроба, и Руднев не виноват, что не ему пришлось быть на месте князя!

О Милькееве все забыли в этот день. Проснувшись около сумерек, он было пошел наверх, но в передней подбежал к нему дворецкий и жалостливо шепнул: — Княгиня там, Василий Николаич... маменька князя. Хорошо ли будет?

— И то правда! — сказал Милькеев, краснея. — Велите-ка мне лошадь оседлать.

И уехал к Лихачевым.

— Испортил ты все дело! — сказал младший Лихачев, — да что делать! Хуже-то будет не тебе, а мне и Богоявленскому. Богоявленскому революцию хочется видеть, а мне Италию во время революции. А тебе весь риск в том, если князь умрет, что на Кавказ пошлют те самые щи хлебать, из-за которых вы вчера оба показали столько мужества. Недоставало бы только, чтобы он из мести опять в комиссариат поступил. Как бы это устроить? А для тебя, я думаю, все равно, — лишь бы ооще-

ния? На Кавказе есть и горы, и море, и «по камням струится Терек».

— Ну, нет! — отвечал Милькеев, — я не знаю, что мне делать?! Кавказ — не Италия. Я тогда буду с особенной охотой драться за Россию, когда в ней будет много знатных дам вроде Новосильской, много докторов вроде Руднева, много крестьянок вроде его покойной матери, много дельцов вроде твоего брата и много лихих помещиков вроде тебя!.. А пока Кавказ, брат, не Италия! Не уехать ли уж нам поскорее, пока все еще шито и крыто! Я заеду сейчас к Богоявленскому и потом в Троицкое, прощусь с ней, и будь готов дня через два в путь.

Но в Троицком его успокоил сам граф. Он уже помирился с мыслью возвратиться на службу, согласился на предложение жены и даже полюбил немного Милькеева после дуэли.

— Vous vous ktes conduit en brave! — сказал он, дружески сжимая ему руки. — Теперь надо подумать о последствиях. Как только Самбикину будет лучше, я поеду и, если это дойдет до губернатора, заеду к нему: он мне ста-

рый приятель. Я знаю, он оставит это так. Лишь бы князь был жив до тех пор. Я знаю даже наперед его мнение; он часто говорит: есть добрые суеверия и доблестные предрассудки; не надо их уничтожать!

Дня через два Руднев сказал, что Самбикину немного легче, что он приходит в память, и жар начинает упадать, и граф собрался в путь. Простился со всеми, поплакал, обнимая Юшу и других детей, сел в карету и умчался за Пьяну, долго махая платком из окна. Вся семья и слуги смотрели на карету, пока было можно видеть, и молча разошлись с крыльца в разные стороны.

XXV

- Едет, едет наш Вася далеко! — говорили дети. Куда, — они не знали!

Огромная туча двигалась с востока и заняла уже половину неба; по широкой маркизе пробежал трепет, и в темном саду видно было только светлое платье Маши, которая запирала фонтаны перед бурной ночью.

Слабыми шагами спустился Милькеев с балкона в сад; Маша увидала его издали, по-

дошла к нему и, обняв его, сказала: — Ах! Вася, Вася... Зачем это не придумали тебе лучше имени... Что это за злой Василиск... Я бы желала тебя иначе назвать... Как бы?., не знаешь ли, Вася, — я уж не чувствую ничего, когда я тебя назову просто Вася. Придумай нам на прощанье...

Наверху террасы нашли они мать, которая позволила Маше еще погулять в саду одной, без других детей и присмотра.

Милькеев сел около Катерины Николаевны и взял ее руку.

— Ну, что, как вы себя чувствуете? — спросил он, — не холодно вам в этой мантилье?.. Подушку вам принести?

— Нет, — отвечала она, — это все вздор... А то вы не раздумали?..

— Нет!

— Скажите, что это вас все подбивает на какую-нибудь штуку? Для чего это вы...

Милькеев не отвечал, но поднес ее руку к губам и поцаловал эту руку с благоговением сына и нежностью брата.

— Поздно, поздно я вас встретил! — отвечал он ей, — лучше бы раньше!..

— Отчего вы не хотите раздумать, — продолжала она, — вы любите свободу, жалеете народ, — вы добры и смелы... Крестьяне скоро будут вольные, будут новые должности... Я ведь могу много для вас здесь сделать. Да это и не для вас, а для других! ведь вы могли бы сколько пользы здесь сделать, сколько добра. Сколько здесь нужно будет добродушия и терпенья с крестьянами, а с помещиками занадобится справедливость, дар слова и либеральность. Ведь это все нашлось бы у вас? Николай Лихачев вас уважает, друзья вам здесь все... Подумайте-ка... Что это *будет*? Борьбы вы не боитесь, вы хотите ее... Свекуйте у нас!..

В это время из-за кустов опять показалась белая тень Маши, и Катерина Николаевна загляделась на нее... По-молчав с минуту, она опять обратилась к нему: — Видите вы, кто там в саду?..

— Вижу...

— Вот вам. Вы сказали, что меня вы встретили поздно... и это жаль... Вот она подрастет для вас, если хотите... Милый мой! останьтесь... прошу вас... Ведь вы понимаете ли, что за отрада была бы мне видеть вас и богатым,

и счастливым и доставить вам известность здесь, имя громкое на весь округ, если не на всю Россию. Друг мой! останьтесь... Видите, я плачу об вас, Вася; вы мой, мой уж стали. Я ни с кем так не была, как с вами... И разве моя Маша плоха?.. Разве она не симпатична?.. И какая бы мне радость была, если бы я могла сказать: «вот какого мужа я достала своей фаворитке». Ведь она не бедная; она не стеснит вас. А люди, люди-то как бы вас любили...

Последний фонтан вдруг замолк вдали; Маша закрыла его; дождь начинал уже капать крупными каплями; небесная, задумчивая отроковица вошла на террасу, села около своего друга, нежно припала к нему и положила ему на плечо свою головку, и душистую, и свежую от дождя.

Все они трое молчали долго; он держал руку матери одной рукой, другой рукой обнимал Машу. Когда Маша ушла, Катерина Николаевна спросила: обдумал ли он и останется ли?

— Нет, не останусь, — отвечал он, — разве я не знаю, какие это будут и важные и почтенные должности и сколько чести быть та-

ким судьей... Да вот, как бы вам это сказать, постоит, — вот вы теперь любите раскладывать гран-пасьянс?

— Опять сравнение! Оставьте это...

— Пойдите! Любите? А ведь смолоду, верно, не любили. Так позвольте же и мне теперь поиграть в штосе, хоть это, может быть, и не так честно. А уж для гранпасьянса время найдется и после! А вот, что вы сказали про Машу — _это хорошо, только ведь я стар для нее. Вы родились рано, она — слишком поздно!

— Это уж ваше и ее дело... Я говорю, что я готова и это, я бы не побоялась этого и хоть семнадцати лет за вас ее отдам, — другому нет, рано не отдам. А там что будет! Ах! что будет, мы не знаем!..

Она давно уже слышала капли слез, которыми обливал ее руку благодарный избранник ее дружбы. Когда этот долгий источник долго сдерживаемых слез иссяк, она по — целовала его кудри и оставила его одного на террасе, в которую уже давно бил проливной дождь.

Несколько недель после отъезда Милькеева в Троицком все чувствовали большую пустоту; увеселения не ладились уж так, как прежде. «Без Васи плохо идет дело», — говорили дети. «Да! все как-то не то», — отвечала мать. — «Oh! Quant a sa, il йtait bien amusant, — говорил Баумгартен, — только я бы не желал иметь такую репутацию...» — «Это не мешает ему быть и в серьезном выше скучных людей», — возразила Nelly.

Менее всех чувствовал его отсутствие Руднев; он был занят и князем и Любашей. Князь уже поправлялся и гулял; старая княгиня сама водила его под руку и каталась с ним в коляске. Руднева она до такой степени полюбила за это время, что не иначе звала его, как «мой второй сын», «мой блондин» — в контраст князю, который был «мой брюнет». Руднев, который от души жалел княгиню, но не мог никак заставить себя любить ее, иногда это мучило и на сентиментальные слова старухи отвечал молчанием.

Однажды князь поехал с матерью прокатиться к своему «chalet»; осторожно и с розды-

хами вошли они на горку и сели под дубками на скамье.

— Доктор говорит, — начал князь, — что мне надо ехать в Ниццу, матушка... пережить эту зиму в тепле. Не продать ли мне этот дом, и со всем местом — с лесом и службами... Не купят ли Лихачевы, — они все хвалят... Мать помолчала.

— Что ж, мой голубчик, — сказала она, подумавши, — если доктор говорит, надо ехать... Только дом...

И, не кончив слов своих, она заплакала.

— Так я без тебя и умру... — сказала она наконец.

— Вы, матушка, молоды еще, не стары. Посмотрите на Авдотью Андревну!.. Увидимся! — отвечал дрожащим голосом сын...

— Ничего, ничего, — прошептала княгиня, — это нервы!

Она продолжала плакать, а князь не старался ее утешать пустыми фразами.

Они осмотрели дом, полюбовались на кабинет; развернули дорогие обои с прекрасными изображениями лесов и охоты, которыми он хотел отделать угловую, и сели опять в ко-

ляску.

— Зачем ты взял с собою эти обои? — спросила мать.

— Хочу Рудневу подарить. На что они нам? Некому ведь здесь будет жить...

— А! Рудневу... Ну, хорошо. Я бы не только обои, я бы себя ему, кажется, теперь подарил... Поверишь ли, Alexandre, я вся дрожу, когда он входит!..

— Знаете ли что, матушка... Знаете, что бы я вам посоветывал насчет Руднева?

— Что же, Alexandre? говори, голубчик...

— Да! знаете что... Я ведь, вы знаете... теперь я не думаю о том, что было... Мне нужен покой... Я уеду... Вы бы с Авдотьей Андревной поговорили...

— Насчет чего?

— Насчет денег.

— Насчет каких денег?

— Ну, да как же вы не догадаетесь!.. Конечно, я еду; мне, может быть, и больно было... Да ведь кто же знал.

— А! насчет этой негодницы! Подлая девочка! Пожалуйста, не говори ты об ней... У меня вся внутренность перевертывается. Я бы

ее в угол затолкала да била бы головой об стену... И что в ней находят! Кормилица, ражая русская девка, по-французски двух слов связать не умеет!..

— Не сердитесь, тапан, — сказал князь, цалуя ее руку. — Тем лучше, что это так вышло... Мне она самому так опротивела через все эти страдания, что я вам пересказать не могу. И Бог с ней... А Руднева мы можем сделать счастливым... Полина говорит, что Авдотья Андревна даст приданое за ней если вы попросите...

— А какое мне дело в это мешаться! — отвечала княгиня сердито. — Что я им за сваха! *Que tous ces diables et diablesses crivent, je m'en soucie fort peu!*

Осторожный князь не продолжал в этот раз разговора, боясь рассердить мать и еще более опасаясь расстроить себя. — Но возобновлял потом внушения не раз, и такая любящая мать не могла не уступить.

— А что ты думаешь, *сhère amie*, о Рудневе? — спросила княгиня Авдотью Андреевну.

— Милый и солидный молодой человек! — отвечала с тонкостью Авдотья Андреевна, —

Отчего ты, сшиге аміе, не отдаешь за него твою внучку? (Княгиня после поединка сына с Милькеевым никогда не называла ее Любашей.) — Да разве он сватался за нее? — с приторным удивлением спросила Авдотья Андреевна.

— Говорят все, что они влюблены друг в друга! Ты разве этого не знаешь? Твой юродивый при всех это объявил.

— Ну, что же значит, та сшиге, его слово! Кто его слушает! Ведь князю теперь гораздо лучше...

— Кому это, сыну моему? — вспыхнув, спросила княгиня. — Сын мой едет в Ниццу, и я с ним поеду, может быть; мы даже chalet свой продаем... После этой несчастной истории нам здесь слишком тяжело... Вернемся, когда все позабудем немного... К тому же, сыну моему, согласитесь, не к лицу быть несчастным искателем невест!

— Дружок-княгиня, за что же ты рассердилась? — сказала ласково Авдотья Андреевна, — ты меня не поняла; я говорю: если князю Александру Васильичу лучше, так что он может уже ехать за границу, так тебе бояться

нечего старой истории...

— Какой это старой истории?..

— Дружок-княгиня, пожалуйста, не сердись: Александр Васильич влюблен был в Любу, Люба тоже. Не поверю я, чтобы она могла предпочесть Руднева Александру Васильичу. Но я понимаю, княгиня-голубчик, как тебе было бы больно, если бы это опять все возобновилось. Люба тебе опротивела... после этого... Я понимаю это. Так о чем же ты хлопочешь за Руднева?

— Авдотья Андревна, Авдотья Андревна! Отчего ты меня такой интриганткой и эгоисткой считаешь, что я только для себя и хлопотать буду, — чтобы всякий соблазн от сына отдалить... Я знаю, что Руднев твою внучку любит, и она его. Пошли за ней, спроси у нее...

— Не забудь, княгиня, что он не дворянин...

— Ну, что говорить о дворянстве, когда у нас главное отнимают... Чем я теперь от своей вольноотпущенной мещанки отличаюсь?.. Пообразованнее немного? Да и земля-то у старого Руднева вся на имя племянника переведется, как только отпустят на волю этих зве-

рей — мужиков...

— Я подумаю, — сказала Авдотья Андреевна.

К вечеру все было кончено. Авдотья Андреевна давно уже думала о Рудневе и очень хорошо видела, что все: Полина, Максим Петрович, Платон Михайлович, сама Любаша и даже Сережа желали этого брака; Анна Михайловна ничего не имела против него. Авдотья Андреевна все еще ждала, что князь поправится и опять посватается, а Любаша образумится и уступит с радостью. К тому же Любаша так часто плакала вначале о князе, так беспокоилась об его здоровье, что легко было всякому понадеяться.

Но Любаша плакала от одной жалости и муки, что она причиною всему; а изменить Рудневу не подумала ни на миг.

Авдотья Андреевна вошла вдруг в столовую во время чая и сказала: — Ну-с, господа! Честь имею объявить, что я за Любовь Максимовной даю семь тысяч приданого. Максим Петрович, что ты на это скажешь?

— Я, матушка, что скажу?

— Да, ты что скажешь...

— А что я вам скажу? Умнеете вы день ото дня к старости — вот что я вам скажу...

— Седой дуралей! — весело сказала старуха... — Ашенька, дай ему подзатыльника...

Анна Михайловна, разумеется, не осмелилась пошутить с братом, а Максим Петрович встал и пошел в свою комнату.

— Сергей! — закричал он, уходя, — принеси чернил свежих; у меня яко кладезь в пустыне!

— Благодари, Любаша, княгиню, что твое желание исполнилось, — сказала старуха.

Любаша хотела подойти к руке княгини, но оскорбленная мать отодвинулась от нее и, сценически отстраняя ее рукой, сказала: — Об одном прошу, Любовь Максимовна, не прикасайтесь, не прикасайтесь ко мне... И не думайте, что я для вас что-нибудь захочу сделать... Я, конечно, сделала это для Василия Владимыча, которого вы не стоите... Прочь, прочь, ради Бога! вы все в крови... Бесстыдница!..

Княгиня побагровела и велела, задыхаясь, подать свой экипаж. Авдотья Андреевна не уговаривала ее остаться, зная, что вспышка

эта сама собой утихнет дорогой, и княгиня будет ей опять друг. Трудно и было им удаляться друг от друга: только друг с другом и с Анной Михайловной чувствовали они себя дома между всем этим новым и чужим народом.

На следующее утро Руднев получил от Максима Петровича записку: «Радуйся и веселися, угодниче дамский Василье! Радуйся бессеребрениче! Любовь твоя увенчана, и моя Лю — бовь с тобой скоро будет обвенчана. Дамы устроили все! Дамы, как ты знаешь, цветы, и требуют ухода; ты им потрафил еси; сыночек мой будущий и прошедший мой докторище!

Старичку Рудневу чемодановский старицище шлет низкий поклон».

Свадьба была отложена до июля, когда князь с матерью уедет в Ниццу. Прощаясь с Рудневым, Самбикин развернул перед ним полосу обоев с кабаньей травлей и предложил оклеить ими столовую в новом доме, который уже строился в Деревягине.

— У вас домик будет маленький, так я вам советую оклеить угловую с видом на нашу Пьяну; в ней вы можете и обедать, и потанцо-

вать иногда. И сделайте готические окна... с разноцветными стеклами. Вам по размеру уже нельзя иметь правильного распределения комнат; так пускай это будет этакая *fantaisie*... Впрочем, вы сами лучше знаете...

— Напротив, Александр Васильич, — сказал Руднев, — у вас так много вкуса...

— Да мало счастья! — отвечал, качая головой, бедный князь.

— Славная будет горенка! — прибавил он, любуясь на разостланную картину и вдруг, вспомнив о той утренней охоте, после бала, на которой в первый раз зашевелилась ошибочная ревность в его душе, подумал: «пусть и она вспоминает иногда, глядя на эти обои!» «Пусть вспоминает иногда!» — подумал и Руднев, принимая обои.

Довольно щедро одарив доктора, княгиня уехала с своим любимцем в Италию, а в Троицком отпраздновали свадьбу тихую и малолюдную.

Не раз многим вздохнулось, что Лихачев и Милькеев далеко; не раз и громко об них потужили; но молодые были тихи и счастливы, и всем было не то, чтобы весело, а сладко на

них смотреть. Катерина Николаевна заплакала, обнимая их, и думала: «О! если бы на месте его был *тот*, а на ее месте — моя Маша! Что за восторг! Что за радость была бы тогда! Да, быть может, успокоится опять он в Италии и вернется к нам!» — Еще до свадьбы она предложила новобрачным весь нижний этаж своего дома, пока достроится их домик, но они желали быть одни и уехали вдвоем верхом в Деревягино. (Любаша, не снимая белого кисейного платья, в котором венчалась, надела на него только юбку от амазонки.) Никто не провожал их... Родные Любаши все вернулись в Чемоданово; вечер был жаркий и грозный; дождь еще не шел, но молнии сверкали, и молодые доехали рука-в-руку рядом и не говоря ни слова.

XXVII

Через два дня после свадьбы за Рудневым прислал лошадей Сарданапал. Варя была больна. Едва только узнала она, что Лихачев уезжает за границу с Милькеевым, тотчас же приехала к нему, плакала и жаловалась, потом утихла и сказала: — Нет, нет! поезжай!

Слава Богу! мне без тебя просторнее будет... И Алексея Семеныча увезите, мне лучше так, я отдохну!

— Выйдешь замуж, — сказал Лихачев, — приданое у тебя хорошее для деревенской жизни... Женихи найдутся.

— Выйду, выйду, — отвечала Варя задумчиво, — только ты уж, пожалуйста, не упрекай себя. Через тебя я пожила! Эх! помнишь, как мы с тобой ночью в роще гуляли под Духов день!.. Ландышей, ландышей сколько было! Без этого что бы я была? Вышла бы замуж дура-дурой. Нарожала бы дюжины две детей — без толку... Этакая скука и гадость!..

Они обнялись и простились дружески, и Варя ушла пешком. Весенняя грязь еще стояла кой-где по вершинкам; дул холодный ветер; в поле не было никого. Варя разулась и долго ходила по лужам, распевая песни. Она думала, что завтра сляжет, но сухой кашель ее только усилился, поболела опять грудь — и только... Что делать! Несколько раз еще мочила она ноги, лажала на росе, садилась после прогулки или верховой езды на сквозной ветер и к июню насилу добилась того, чего же-

лала — начала кашлять кровью, слабеть... И с этой слабостью, с этим кашлем вернулась надежда и проснулся страх. Она призналась Рудневу, что сама виновата, говорила себе: «ведь он вернется! Побыв в чужом краю, дома все опять ему будет ново и хорошо... Не теперь, так позднее, быть может, опять скажет: "Варя, мне с тобой никогда не скучно!» Но Руднев видел, что надежды нет! Она уже ходила плохо; зябла и горела под вечер, хотя все еще бодрилась и говорила ему: «Никогда не поверю, что у меня в самом деле чахотка! Слишком нежно, интересно уж! Совсем ко мне нейдет!» Комнаты братниного дома и сам брат стали ей ненавистны, и Катерина Николаевна перевезла ее к себе. Здесь Варя дожила последний месяц в тоскливом покое, доходившем иногда до блаженства. С утра выносили ей кресло на садовую террасу и ставили около нее чай. Иногда по два, по три часа сидела она одна и смотрела в сад. Вдали Катерина Николаевна играла на рояле; с другой стороны слышны были голоса детей из классной; фонтаны торжественно шумели, и сквозь деревья парка блистала река; по скошенным лугам за Пья-

ной чернелись телеги и люди. Варя уже ничего не желала, ничего не ждала... Слушала, смотрела, думала о том, как перед террасой идут в цветнике цветы: сперва полоса каких-то белых больших колокольчиков извивается, а за ней красные мелкие цветы. Вот, вот куда пошли!

— Хорошо вам, доктор, на свете жить? — спрашивала она Руднева.

— Недурно.

— Любаша вас как цалует?

— Как? обыкновенно, как...

— Куда! я хотела сказать...

— Что за вопрос!..

— Везде, я думаю — вы недурны, — замечала Варя, рассматривая его лицо, и прибавила, — хорошо видеть счастливых!

— Хорошо тебе, Федя, на свете жить? — спрашивала она в другой раз.

— Не так-то, Варвара Ильинишна! Глаголы французские одолели, да еще вот Стрелка больна... Боюсь я за нее; лошадка славная! А вам, Варвара Ильинишна, хорошо?

— Здесь хорошо! — отвечала Варя.

Тот же вопрос делала она и другим детям,

и Nelly, и самой Новосильской.

— Тоскуете вы об Милькееве? — спросила она вдруг Nelly, когда та сказала ей, что часто грустит.

Nelly смутилась немного и отвечала: — Я тосковала и при нем.

Глаза Вари засверкали на миг, и она сказала помолчав: — Неужто! вот как! Впрочем, вас не поймешь, вы все изворотами говорите! А по-моему, он хоть и видный был, да не вкусный...

Варя для этой мысли не нашла французского выражения, но Nelly понимала русское слово «вкусный» и удивилась, как можно так говорить про мужчину.

— Вы сами то же думаете, не говорите только. Все это думают, — сказала Варя.

— О! нет, — отвечала Nelly, — Лихачев наружностью мне больше нравился... Но без Милькеева как будто скучнее все.

— Нравился вам Лихачев? Нравился? — спросила Варя.

— Иногда, — сказала Nelly с испугом, думая, что растревожила ее.

— Ничего, это хорошо!.. Дай вам Бог!.. Дай

вам Бог... — воскликнула Варя и заплакала.

Скоро она уже и плакать, и говорить перестала, даже кашляла мало, а лежала прозрачная и немая на кровати.

В полдень ее выносили на складной кровати в сад под липы. Катерина Николаевна сама обмахивала ей мух и служила ей.

— Добрая ты, добрая! — прошептала ей раз Варя, — сшей ты мне сарафан красный, и кисейные рукава, и платок парчовый купи... пусть лежат около меня тут... Я буду на них смотреть. И похорони меня в этом... Хоть в гробу буду покрасивее... Я была на Святках наряженная так — он меня и полюбил... А когда придет без меня, скажите ему все от меня, пусть не жалеет и пусть ее возьмет... Тихая она такая, умная!.. Все ему скажите так, голубчики мои! Как у вас умирать хорошо здесь!..

Катерина Николаевна сшила и купила ей все, что она просила, и через две недели ее похоронили в Троицком, недалеко от матери Руднева.

Баумгартен написал ей эпитафию: *La feuille verte et pleine encore de sive Pvlit, frissonne et tombe au grй des vents; Tout passe*

ainsi, tout passe comme un rкve, Comme un soupir, comme un dйsir brulant! Ah! priez Dieu qu'il vous donne en grвce Que vos beaux jours ne disparaissent pas, Ainsi qu'un songe et sans laisser de trace, Priez le Dieu qui veille sur vos pas!

В стихах этих все нашли больше чувства, чем можно было ожидать от Баумгартена; но высечь французскую эпитафию на русском кладбище показалось Новосильской неловким, и Nelly утешила доброго француза тем, что списала эти стихи себе в альбом.

XXVIII

А слухов все еще не было от волонтеров. Только в августе получил предводитель от брата письмо из Тифлиса, в котором Лихачев писал: «И мы не без патриотизма! Как ни хотелось ехать в Италию, но сами отказались. Набралось нас, молодых людей, человек до двадцати: пять поляков; один отставной артиллерист; два гусара отставных; один грек какой-то; остальные Бог знает кто. Все Милькеев через этого грека вербовал, да грек похвалился перед своей сестрой, та матери пе-

редала, а мать довела куда следует, и дело расстроилось. Богоявленскому не на что было ехать одному, потому что он весь тот капитал, который в Чемода-нове скопил невозможными средствами, издержал в дороге, из гордости не желая обязываться нам. Однако пришлось ему, хочешь не хочешь, ехать на счет Милькеева в Петербург. Милькеев, сколько я его ни уговаривал к нам вернуться, твердил одно: "Разогретое кушанье не годится! Я у вас отслужил свою службу!" Он и бледный отрицатель отправились с своими тенденциями в Петербург, а я решился проездить деньги на Кавказе и надеюсь быть в сентябре домой».

Предводитель привез это письмо в Троицкое; все были рады, что Лихачев скоро вернется, но Катерина Николаевна боялась сообщества Милькеева с Богоявленским.

— Я боюсь, — сказала она, — чтобы он куда-нибудь не увлекся еще!.. Что это за несчастное свойство — портить себе жизнь. Оно высоко, может быть, я понимаю, да все-таки страшно мне-то за него!

— Всякое честное направление, не выходя-

щее за пределы национальности, нужно! — возразил предводитель.

— Не знаю, честно ли это — все ставить вверх дном, — отвечала Новосильская. — У Богоявленского, я понимаю, это может быть искренно, потому что он мало смыслит и ничего не любит; а у Милькеева это разве не натяжки! И что они могут! Что они могут сделать!

— Личное творчество! — насмешливо сказал предводитель.

— Вам смешно, а мне вовсе нет! — **отвечала** Катерина Николаевна.

Предводитель немного погодя прибавил: — Да, худо то, что он сюда не заехал на минутку и не хотел слушаться меня... Впрочем, еще лучше, как обожжется в Петербурге, так тогда и меня вспомнит... Я напишу ему нарочно еще, чтобы он рано не ездил сюда. Если вы ему мать по сердцу, так не сбивайте его с пути движения и той ажитации, в которой он как сыр в масле катается.

В душе, конечно, предводитель был рад-радешенек, что Милькеев не заехал; желания его скоро все исполнились. Брат через полго-

да какие-нибудь... не более, читал уже крестьянам «Положение» на троицком крыльце; а предводитель смотрел в окно, краснея от волнения и кусая себе усы. В этот день в Троицком, в Деревягине и в Курееве господа были гораздо веселее самих крестьян, слишком покойных и еще нехорошо вошедших во вкус свободы. Все знали, конечно, что Владимир Алексеевич Руднев радовался не торжеству принципа, а тому, что кусты и луга на Пьяне и вся пахатная земля за овинами отойдет теперь к Васе и Любаше, а родные съедят гриб... да еще разом два: и без деревягинской земли, и без работников!..

Баумгартен еще до зимы, измученный холодностью Nelly, уехал в другую губернию развивать рассудок, чувство и волю других детей по всем правилам французского министерства народного просвещения!

Но Nelly не осталась без поклонников: теперь ей предстоял выбор между молодым Лихачевым, который уже купил chalet Самбикина, и одним женевцем, m-г Трасу, который приехал получить наследство после умершей жены своей, русской помещицы.

Глубоко проникнутый просвещенным демократизмом Европы, m-г Тгасу вполне сознавал свое достоинство, как швейцарский гражданин и муж русской дворянки; с твердостью, приличной члену свободного государства, застав — лял он, сидя на крыльце в шубе, стоять перед собой наших седых и лысых стариков и ни за что не хотел позвать их в дом до тех пор, пока посредник Лихачов не отворил дверей в прихожую и, сдерживая в себе сильный гнев, не впустил мужиков, не спросясь демагога, в залу.

— Если бы я был в Европе, monsieur! — сказал ему Тгасу, задыхаясь, когда мужики ушли.

— Народ бы с вами поступил иначе! — докончил за него Лихачов.

Они были одни; посмотрели друг на друга в глаза; Тгасу спросил: «следует ли так отвечать; это ли речь d'un juge de paix!..» Но не вызвал Лихачева, ему было не до вызовов — он становился владельцем прекрасной и большой земли чуть не с полкантона — написал только в губернское присутствие, что г. посредник бунтует против него крестьян и пьет чай с волостным старшиною.

Продав свою землю и отряхнув с негодованием варварский прах с своих цивилизованных сапог, Тгасу приехал в Троицкое и сделал предложение Nelly, которая ему сразу очень понравилась и с которой он всю зиму толковал про русскую скуку и отсталость. Nelly отказала и объяснила Катерине Николаевне, что он сам и груб, и скучен, гораздо грубее и скучнее, чем «*ces bons mougiks, que j'aime maintenant beaucoup et qui sont si pittoresques et si drôles!*» Руднев в это время был в Москве и выдержал экзамен на доктора, а Любаша, чтобы не мешать ему и повеселиться самой, танцевала в Варшаве у дяди. Она было посоветовалась сначала ехать (муж так трудится, а она пляшет и рядится в генеральском доме в Польше!), но Руднев рассердился и сказал ей: «надо жить; надо жить, пока молода!» Они возвратились вместе в Деревягино и по этому поводу дали вечеринку, на которой танцевали в угловой комнате, отделанной по совету князя. Александр Лихачов, проездивший весь день по соседней волости, не хотел танцевать и сел с Nelly в укромном уголку; взял со стола яблоко, откусил и не доел его. Nelly взяла его

и хотела закончить.

— Что вы делаете? — спросил он вставая, — я принесу вам целое.

— Не надо, — сказала она. Лихачев покраснел немного и спросил: — А очень нравится вам мой chalet? Я слышал, он вам очень по сердцу.

— Я думаю! — сказала она. — Я бы согласна в нем век прожить.

— Это, конечно, зависит от вас, — сказал Лихачев.

— От меня?..

— Будто вы не знаете? К чему это притворство?

— Если бы вы не сказали теперь, я бы не ожидала никогда.

— Разве только страсть дает на это право?

— О! нет, зачем *страсть*... и без нее можно быть очень счастливыми... Я, скажу вам от всего сердца, рада быть вашей женою... Только вы... Я уже любила, и от этого человека зависело... как бы это вам сказать...

— Загородить вам раз навсегда всех других?

— Да! в этом роде... Но и тогда вы мне нра-

вились... И теперь я больше уважаю вас, чем тогда. А он не хотел... я ему не нравилась... он не хотел увести меня далеко... Я бы дошла далеко тогда... Но... он не хотел сам... И я осталась свободна... Я только спрашиваю, что вам за охота есть вот такое яблоко... обкусанное другим?

— Надо знать, кто его касался, — отвечал Лихачев весело, — вы знаете, что вишни вкуснее, когда их тронут птицы... Сношения с Милькеевым, особенно такие невинные, какие были у вас, только могут развить женщину... Он никого не испортит!..

Сыграли и эту свадьбу, гораздо *наряднее* и шумнее. Дубки вокруг швейцарского домика все горели разно — цветными фонарями, смоляные бочки освещали двор. Крыльцо и столовая были убраны цветами и коврами. Новая молодая чета украсила окрестности. А Милькеев все не писал!

Однажды Катерина Николаевна, немного больная, лежала на диване, а дети учились у нового учителя в классе; приехал предводитель, очень расстроенный. Катерина Николаевна не слишком удивилась, потому что неза-

долго перед тем он лишился своей выгодной и почетной должности за то, что не хотел поддерживать дворян во всех их проделках, и служил в другом участке, точно так же, как брат, простым посредником, и хотя он с пяти тысяч перешел без ропота на тысячу пятьсот, но положение его было гораздо запутаннее и тяжелее прежнего; при его народно-демократических взглядах он не находил пока в алчных и еще более, чем помещики, придирчивых крестьянах того утешения, которого бы ему хотелось найти.

— Что, Николай Николаич, — спросила Новосильская, — опять сечь надо, как на той неделе. Это ведь ужасно!

— Лучше бы сечь... А тут хуже. Только вы посмотрите... Эх! уж эти спазмы... Вот вам письмо, читайте... А я за проклятыми каплями схожу...

Письмо было от Богоявленского к младшему Лихачеву.

«Пишу к вам по просьбе общего друга нашего, Василия Николаевича. Ему самому не хотелось, он посылает только два слова на записке! Скоро из газет вы узнаете, что с ним

случилось. Как *нам* всем жаль его, выразить трудно! Даже люди совершенно других взглядов и крайне отсталые сочли себя обязанными сделать все что можно для его вещественного успокоения».

За этим следовали подробности о судьбе Милькеева и ряд, по-видимому, искренних и самых жолчных проклятий.

Задыхаясь от слез, Новосильская схватила ключок, на котором рукою ее избранного сына были набросаны слишком знакомые слова: «Горевать нечего. Не навек! А факт этот сам по себе ничего!.. Пожалуйста, чтобы у вас все было по-старому. У вас прогресса не надо!» Послали за Рудневым И на дубовой горке муж целый день молчал, а Nelly твердила: «О! Боже мой, о, Боже!» — Духом бы не падал, — отвечал ей мрачно старший Лихачев, — поехать опять к этой Катерине Николавне, она лежит ведь теперь. Чертовщина какая! Брат! если ко мне от волостного старшины кто будет, пришли туда... Целый день рыщу, а сегодня пусть не прогневаются и подождут хоть до вечера; хоть мужик, хоть барин — все пусть ждут. Пусть не прогневаются... Я ведь

тоже живой человек!

Не болезнь Катерины Николаевны его смущала — он знал, что это скоро пройдет — но мучила совесть. Врожденная доброта шептала ему, что он толкнул Милькеева отсюда, когда тот еще колебался, хотя здравый смысл и отвечал, что и без этого толчка Милькеев бы уехал. И, наконец, если бы он остался, то, может быть, не видел бы брата счастливым, добрым и трезвым гражданином, не плавал бы сам в блаженстве отдыха после разъездов, споров и служебных огорчений в игрушечном домике, где встречала его румяная Nelly и говорила, простирая ему объятия: «Ah! voilà, votre gros frige!.. Вот наша толстая брат!

С Катериной Николаевной избегали долго об этом говорить, но раз она сама приехала к ним в гости, довольно свежая и спокойная, и сказала ему: — Хуже всего в этом деле то, Николай Николаич, что я не могу не осуждать его... Посудите сами, не пустая ли это лихорадка... В этом есть что-то болезненное и ложное. Народ этому не сочувствует. И может ли он сочувствовать?

Николай Николаевич взял со стола газету

и, ударив по ней рукой, сказал: — Ведь я то же самое твердил другими словами... Не заехал — вот беда! Я бы его поворотил куда следу — ет... Не знает он ничего... Я говорил ему ехать в Герцеговину.

— Где это Герцеговина? что это такое? — спросила Новосильская.

Николай Николаевич покачал головою.

— Вот посмотрите газету, — сказал он, — прочтите, как перед домом паши были недавно разбросаны отрубленные уши восставших славян! Чего ж бы лучше!

Что же касается до Боявленского, то он сохранил себя для всемирной отчизны своей. Он пишет в Петербурге больно злые статьи отрицательного направления; женился на купчихе; взял за ней хорошее приданое, оправдывая себя тем, что «при современном ужасном состоянии общества надо быть обеспеченным, чтобы приносить пользу людям»; заказывает платье у лучших портных на Невском и сердится больше по старой памяти. Мнения об нем очень разнообразны.

— Что за диалектика! — говорят люди одного учения с ним. — Кого побьет — тот уж не

встанет! — «Он все еще пишет?» — спрашивает человек других взглядов. — «У него нет ничего своего. — Он подражает другому публицисту... Но у того брань была орудием идей, а у этого брань и грязь для брани и грязи!» — «Про кого это вы говорите? — спрашивает третий, равнодушный к общественным вопросам, — не про Богоявленского ли? Я его вчера встретил на Невском. Идет под руку с женой, и клочок белых волос торчит через воротник пальто... Терпеть не могу семинаристов!» Однако статьи его небесполезны. Новосильская недавно прочла одну, и ей стало вдруг так стыдно; она сама себе показалась такой ничтожной и ленивой, что энергия добра пробудилась в ней с новой силой, и она тотчас же завела для крестьян прекрасную школу, о которой прежде только раздумывала.

XXIX

На счастье Руднева и Любаши радовалась не одна умирающая Варя. Дети троицкие кричали им навстречу: «Василек и махровая роза!» Максим Петрович нарочно переехал в Де-

ревягино, чтобы видеть это счастье. Он живет ладно с Владимиром Алексеевичем и только изредка подтрунивает над ним.

— Что это у вас, Владимир Алексеич, за насмешливое лицо? Пряедовитая, я вам скажу, у вас улыбка. Все смотрю я на себя — не замарался ли я где? Чищу, чищу, а вы все улыбаетесь?

— Напрасно! — отвечает немного обиженный Влади-мир Алексеевич. — Корень того, что вы называете моей улыбкой, вам хорошо известен. Архитектурной постройки у меня на лице нет, архитектурной постройки нет!

Катерина Николаевна сохранила лазарет для вольных троицких крестьян, не считая нужным лечить их только для себя, как домашних животных. Но сверх троицкой больницы у Руднева есть теперь другая — своя.

Лихачевы долго советовали крестьянам устроить волостной госпиталь; человек десять после этого заходили к Рудневу и предлагали ему заняться им.

Руднев с радостью согласился; но другие крестьяне не шли на это: один говорил, что и без того расходов много; другой — что он все-

гда здоров.

Тогда Руднев решился приступить к делу сам: поставил у себя два просторных сруба с большими сенями; предложил за умеренную плату ложиться всем тем, кто не в силах лечиться на ногах, а для неимущих уговорил ходить с кружкой одного почтенного и набожного старика и положил сам для примера большие деньги. Мало-помалу и здесь создался небольшой мірок, с привычками и сердечной теплотой. Одна из троицких сиделок, черноглазая, старательная Лукерья, у которой доктор крестил каждый год незаконных детей, перешла к нему, и с ней постоянный любовник кузнец. Кузнец в свободные часы рубит для больницы дрова, носит воду и железной рукой держит больных, когда нужно держать; дочка их, Настя, везде бегает за «крестным» и смотрит без страха на все операции и перевязки, изредка только вскрикивая: «бьяка! мама! бьяка!», когда рана уже слишком велика или зловонна; выходили больные черного котенка, и он спит теперь всегда на банке с пивками на окне... Зажглись лампадки по углам; божественных картинок все больше и

больше на стенах; смертные грехи, согбенный пустынный Серафим, путешествие души по мытарствам. И в троицкой больнице, и в своей он убеждался день ото дня, что народ наш не так дурен, как его хотят представить, с одной стороны, Авдотьи Андреевны, а с другой Богоявленские; он нашел в нем много добродушия, терпимости, родственных, родительских и сыновних добрых чувств и даже правды!

Если ему неприятно было видеть, что пятидесятилетний красавец-староста, на которого он столько раз любовался и от которого слышал такие умные речи, приходил потом к нему с малиновым лицом и пунцовыми глазами, потому что в кабаке его кто-то ударил поленом, — зато этот самый староста с радостью платил пять рублей в месяц за себя и не роптал, что рядом с ним лежит даром сирота-мордвин и что на этого мордвина Руднев тратит по роду болезни впятеро больше, чем на всех остальных.

Руднев убедился также, что неуместно в деревне гнаться вдруг за госпитальной художественностью: не спешил сначала издержи-

ваться на лоск и образцовую чистоту, на белье, халаты и туфли. Больные, как дома, до сих пор у него лежат на лавках, на нарах и на печке, часто в тулупах, кичках и лаптях. Казалось, подойдя к другой полной женщине, что ей неудобно и тяжело без кофточки или халата, что в таком не клиническом виде не возьмет никакое лекарство; однако дорогое лекарство, купленное издалека, ценою внешнего беспорядка — делало свое дело, и статис — тические списки Руднева, благодаря свежести этих людей и хорошему воздуху, были нередко гораздо отраднее, чем у знаменитых врачей в больших городах.

Счастлив, кто вошел в жизнь без веры и очарований, но с потребностью веры и любви; кто вначале, как Руднев, терпел нужду, обиды и болезни! Каждую новую ступень к покою и гордости, каждую жилку позднего сознательного веселья он будет благословлять!

Набегали иногда на его жизнь прежние и новые тени: крестьяне не слушали его предписаний, не долечившись уходили из больниц; врывался грубый муж и силой уводил с койки изнуренную жену на работу; Любаша

бывала нездоровая, как всякий бывает нездоров; не понимала что-нибудь такого, что для него было ясно... Но что значат эти тени для человека занятого, согретого верой и окруженного друзьями и благодарными людьми в любимом краю, где даже простая смена времен года доставляет ему наслаждение!

Недавно Руднев начал не спеша введение к ученому труду, которым он хотел составить себе со временем имя в столице, как роскошь посреди деревенских занятий.

Между прочим, там было следующее замечание: «Я показывал одной молодой ученице моей большой мозг свиньи, полушария которого покрыты, как известно, более сложными извилинами, чем полушария собаки и других соседних с ней плотоядных, хотя непосредственное наблюдение этих животных при жизни доказывает, что собака, лисица и т. п. гораздо умнее и живее свиньи. Молодая девушка выразилась по этому поводу хотя не научно, но весьма удачно: «Может быть, свинья и не глупа, но у нее такие грубые манеры, что ничего нельзя разобрать!» Действительно, если мы будем изучать мозг без связи с

орудиями чувства и движения, с утонченностью и стройностью всего организма, с законами, определяющими характер линий тела, мы можем впасть в большие ошибки.

Вопросы же эти важны не для одной физиологии живых тел, но и для физиологии обществ. Какого бы мы ни были гражданского мнения о будущем человечества — думаем ли мы равнодушно, вместе с Бастиа, что "человечество должно прийти со временем к одному общему уровню — экономическому, умственному и нравственному»; или, сообразуясь более с самой природой, которая не выносит долго однообразия и нарушает его неожиданными побочными путями, желаем, чтобы люди, неизбежно стремясь к космополитизму, старались вознаградить себя новыми условиями разнообразия... во всяком случае, мы должны изучить внимательно так называемую "натуру», одно из главных условий разнообразия жизни в прошедшем и настоящем, то есть, должны изучить мозг, внешние контуры и характер движений человеческого тела параллельно с психологическими чертами».

Влияние Милькеева было заметно и в этом беспристрастном, осторожном сочинении, не только во всем остальном — Руднев охотно признавал это. Он признавал, что с прежними взглядами он должен был считать все чужое, не подходящее на его собственную дорогу, уродливым и вредным; а принимая, как всемирный идеал — идеал Милькеева, он учился ценить чужое, не переставая ревностно служить тем узким и безукоризненным целям, к которым влекли его избранное ремесло и первые привычки. И самая вражда религии с математическими выводами, которая так терзала его прежде, прекращалась от мысли, что вся наша наука — только раздутый уголек во мраке бесконечности; и за этим углем, раздутым сначала могучим личным творчеством и только в последнее время доставшимся в руки бездарности, остается бездна, преданная Творцом тоже личному творчеству, но требующая высшего разбора, новой аристократии ума, чтобы из мнений отрывочных и тайно рассеянных по сердцам создать прекрасное целое. И не одному Милькееву он был обязан. Всей этой сложной жизни,

которой он так боялся когда-то, он был теперь благодарен.

Погружаясь иногда по-старому в одинокую умственную работу, он видел, что и для научных взглядов эта жизнь и эти встречи прошли не без следа. Не говоря уже об известности и общественном весе, которым так способствовала близость с Новосильской и Лихачевыми, он отыскивал тонкие нити, которые протянулись к нему от них; чувствовал, что, благодаря братьям Лихачевым, он выучился свободнее и смелее обращаться с крестьянами, реже боялся обидеть их какой-нибудь непонятной для них обидой, брал от них изредка подарки и дождался, наконец, что про него говорили: «отец, а не доктор!» С детьми Новосильской он не имел уже времени заниматься как учитель; но они сами находили случай служить его кабинетным занятиям. Замечание Маши он, как мы видели, решился поместить в начале любимой книги своей; Федя и Юша носили ему с охоты всяких животных и птиц; Оля помогала ему с неутомимым прилежанием вычислять сантиметры при изменении черепов и довольно верно

срисовывала ему с природы мозги в разных положениях и разрезах. Даже психологические наблюдения над этими детьми, ничуть друг на друга не похожими при одинаковом воспитании, принесли ему много задач и кой-какие решения, полные осязательности.

Однажды он вместе с Любашей обедал у Лихачевых, и разговор зашел о троицких детях и матери, здоровье которой все больше и больше слабело.

— Дай Бог, чтоб она как можно дольше жила; без нее наша сторона будет совсем नेता! — сказала Nelly.

— По крайней мере, до тех пор, пока дети будут в силах заменить ее, — прибавил младший Лихачев, — что за дети! И что за люди выйдут из них!

— Счастливые дети! — сказала Любаша. Руднев обратился к ней и спросил: — В каком смысле ты считаешь их счастливыми?

— Богаты, все красивы, все здоровы, все их любят, — отвечала Любаша.

— Это теперь, — сказал Руднев, — но ручаться вперед нельзя. Маша мечтательна и будет болезненна, как мать; Федя слишком

чувствителен и страстен, чтобы прожить без сильного горя; Юша самолюбив, беднее тех детей и сложения плохого; Оля страстна, как Федя, но упорна и скрытна. Все это — залогов страданий... Да и мало ли какие тучи впереди! Я вижу их счастье не в вечной веселости, а в другом...

— Они счастливы тем, что они таковы — каковы есть! — закончил Лихачев.

Примечания

Впервые: Отечественные Записки. 1864. Т. CLIV. Кн. 5. С. 1-105. Кн. 6. С. 475-560. Т. CLV. Кн. 7. С. 28-119. Здесь по: К.Н. Леонтьев. Полное собрание сочинений и писем. Т. 2. СПб.: «Владимир Даль». 2000.

[^^^]